

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 10 (681) • 2012

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: unost-contact@mail.ru
<http://unost.org>

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Анатолий АЛЕКСИН

Лев АННИНСКИЙ

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ

Валерий ЗОЛОТУХИН

Елена ИСАЕВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Валерий КОЗЛОВ

Владимир КОСТРОВ

Нина КРАСНОВА

Татьяна КУЗОВЛЕВА

Евгений ЛЕСИН

Георгий ПРЯХИН

Владимир РАДЧЕНКО

Ольга РЫЧКОВА

Елена САЗАНОВИЧ

Александр СОКОЛОВ

Борис ТАРАСОВ

Елена ТАХО-ГОДИ

Олег ТОЛКАЧЕВ

Игорь ШАЙТАНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,
заведующий отделом поэзии
Валерий ДУДАРЕВ

главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ

заведующая отделом критики
Анна КОЗЛОВА

ответственный секретарь
Ярослав ЛИТВИНЕНКО

заведующий отделом культуры
Александр МАХОВ

заместитель главного редактора,
заведующий отделом прозы
Игорь МИХАЙЛОВ

главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА

заведующая отделом
публицистики
Екатерина САЖНЕВА

консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ

директор по развитию
Светлана ШИПИЦИНА

ПОЭЗИЯ

Евгений ЛЕСИН 3

ПРОЗА

Георгий ПРЯХИН
СВИДЕТЕЛЬ Элегия 21

Сергей БЕЛОРУСЕЦ
ЗАПИСКИ ДОШКОЛЬНИКА
Повествование в сюжетах, с хэппилогом... (окончание) 53

Николай ЖЕЛЕЗНЯК
ГОНКИ НА ЛАФЕТАХ Роман (продолжение) 75

ТРУДЫ И ДНИ

Рубрику ведет Анна Квурт
ОТ ВЕДУЩЕЙ 11

//Труды //

Александр АЛЕКСЕЕВ
МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 12

Евгения БЕГИНИНА
ВОЛОНТЕР — КТО ОН? 14

//Дни //

«ДОБРОВОЛЬЦЫ — МОСКВЕ» — 2012 15
СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 16

НАСЛЕДИЕ / ТЕМА НОМЕРА

Игорь МИХАЙЛОВ
НЕВОЗВРАЩЕНОЦ ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ 17

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

Лев АННИНСКИЙ
ШВЕДСКАЯ РАЗБОРКА? 50

КАК БЕДЕН НАШ ЯЗЫК!

// Пожалуйста, говорите по-русски! //

Марианна ТАРАСЕНКО
ДЕЛО — НЕ ДВЕРЬ 51

100 КНИГ, КОТОРЫЕ ПОТряСЛИ МИР

Елена САЗАНОВИЧ
АРКАДИЙ ГАЙДАР:
ВОЕННАЯ ТАЙНА МАЛЬЧИША-КИБАЛЬЧИША 73

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Михаил МОРГУЛИС
СНЫ МОЕЙ ЖИЗНИ,
ИЛИ ПОЛУЗАБЫТЫЕ СНЫ Воспоминания (продолжение) 91

ИНОЗЕМНЫЙ СЮЖЕТ

Ренэ БАЗЕН
ПТИЦЫ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ Перевод Евгения Никитина 95

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Даша ЯКОВЛЕВА г. Уфа 98

Петр КЛАССЕН г. Москва 99

Виктория ЛЫСЕНКО Пос. Сосны, Московская область 100

Арина КАЛЕДИНА Люксембург 108

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Владимир КОРКУНОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАСЫНОК 137

АЛЫЙ ПАРУС, ПАРНАС И ПЕГАС 138

Юлия ГИАЦИНТОВА
СОЛНЦЕ ЛЮБВИ 140

В КОНЦЕ КОНЦОВ

// Детектив на ночь //

Валерий ИЛЬИЧЕВ
АГЕНТУРНЫЙ РОМАН (продолжение) 142

// Зеленый портфель //

Илья КРИШТУЛ Рассказы 152

// «До востребования» //

Галка ГАЛКИНА
ЖИВИТЕ НЕ ДУМАЯ 155

// Veriora veris //

Шалун ГЕО, человек-часы
ХОДЯТ, БРОДЯТ ЧАСИКИ-УШАСТИКИ! 156

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБКИНА

Заведующий отделом информации

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент

по Белгородской области

Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Наталья СЫСОЕВА

Заведующая отделом распространения

Ульяна ТКАЧЕНКО

Дежурные по редакции

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Людмила ГУДКОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправок:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность предоставленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ГУП Академиздатцентр

«Наука» РАН,

ОП «ПИК «ВИНИТИ»-«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,

Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 974-69-76

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Евгений ЛЕСИН



Евгений Лесин — поэт, прозаик, критик. Родился в Москве в 1965 году. Учился в Московском институте стали и сплавов, служил в Советской армии, работал инженером-технологом и химиком в котельной. В 1990-м поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. После окончания института, с 1995 года, служил в газете «Книжное обозрение». С 2002-го — в «Независимой газете», книжном приложении «НГ-Ex libris». Автор книг «Записки из похмелья» (2000), «Русские вопли» (2005), «По кабакам и мирам» (2007; совместно с Ольгой Лукас), «Недобор» (2009; совместно с Всеволодом Емелиным), «Легенды и мифы Древней Греции» (2009).

На сегодняшний день Евгений Лесин — один из самых цельных и пространствообразующих поэтов России.

ПАФОС И НЕМНОГО ПОШЛО, ИЛИ К ЧИТАТЕЛЮ

Честно, хотел написать «прозой». Ну, в смысле без рифмы. Но мыслей-то нет, откуда у меня мысли? Когда нет ни размера, ни рифмы, тогда и писать не о чем. Так что — извините, но лучше по старинке. А что уж выйдет — ну то уж и выйдет. Самое большее, что могу сделать, — не записывать «в столбик», короткими строчками. То есть как-то примерно так.

Читатель мой, не спрашивай совета ни у кого, тем более у тех, кто занят жалким ремеслом поэта. Не свойственны нам счастье и успех. Мы глупые, по-

спешные, дурные. И, видимо, пословица права: уж лучше ручки собирать дверные, чем рифмовать какие-то слова. Читатель, ты и сам, наверно, знаешь, хоть, может, и не скажешь никому. Но если ты нас все-таки читаешь, то, значит, понимаешь, почему. А я вот ничего не понимаю, гляжу то на трамвай, то на кровать. И лишь хожу по ноябрю и маю, пишу, пытаюсь что-нибудь понять. Читатель мой, не спрашивай совета. Такой вот у меня тебе совет. Читатель проживет и без поэта. Не может без читателя поэт.

Евгений Лесин

ПЕРЕМОТКА

Моя бабушка помнит:

Романова

Ленина

Сталина

Хрущева

Брежнева

Андропова

Черненко

Горбачева

Ельцина



Путина
Медведева...
«Ой,
Обратно, что ли, пошли?
А сколько мне было в 30-м?..»

* * *

Даже Гитлеру
Умирая под Сталинградом
Даже Якову Деллагарди
В Тушине
Смерти нельзя желать
Даже Ельцину
Бомж вокзальный
Что когда-то имел квартиру
И ученую степень
Смерти желать не должен
Даже Сталину
Чингисхану
Ну
Продолжайте и продолжайте

Никому
Смерти желать нельзя
А хочется

* * *

Ни кролик не поймет, ни вечный Дюрер
Ни капли из дарованных идей.
Дешевый фраер скажет вам: я фюрер,
Когда Земля устроит День людей.

Какому жениху тащить обузу?
И что мне твой кагал или мангал?
Я присягал Советскому Союзу,
А больше никому не присягал!

* * *

Говорят, война идет в Алеппо.
Ну а я давно уже решил
Пива взять на улице Зацепа.
И бухать, покуда хватит сил.

Силы оставляют понемногу.
Люди улыбаются в лицо.
Не ходи на главную дорогу.
На фиг нам Садовое кольцо?

На фиг нам ненужные тревоги.
Здесь и так прохлада и уют.
Нас оберегают наши боги
И чужие боги берегут.

* * *

Здоровых здесь нет, зовут больные
На пир чумы.
Местных не осталось, одни чужие.
И мы.

Какие война и голод с разрухой?
Все путем.
Старики ухаживают за старухой.
Живем.

* * *

Поэт, живи одним законом,
Законом тайн и волшебства.
И на кораблике с Хароном
Не трогай пошлые слова.

Поэт, политику не трогай,
Храни величественный вид.
Пой о богах. И новой тогой
Тебя твой цезарь наградит.

А если нет, лелей истому,
Будь опахалом, а не тлей.
Пой о любви, не верь земному.
Прекрасно все, что над землей.

Учись, поэт, не ради хлеба
Летают голуби, трубя.
Гляди не под ноги, а в небо.
А то нагадят на тебя.

* * *

Глаза, говорят, как озера,
Такие, что хоть утонуть.
Не стоит, не надо позора.
Плыви уж давай, в добрый путь.

Лежат мавзолейные мощи,
Иконы, жаль, нет на груди.



Не трогай меня и на площадь
Ты танки свои не вводи.

Клади кирпичи по старинке
И бейся об облако лбом.
Ведь выйдет вода из Неглинки
И Яуза встанет столбом.

Империю нет, и упадка
Не видно, зато из реки
Торчит итальянская кладка.
И ты только мысль изреки,

Как сразу завьются узоры
И месяц взойдет под Луной.
Когда-то здесь были озера,
Теперь тут мечети и зной.

* * *

Я не люблю иронии своей.
Но если так действительность накрыла,
То где взять понимающих людей,
Чтоб видеть не одни свиные рыла?

Летит на вертолете президент.
Поет и пляшет радостная шмара.
Тотальная ирония в момент
Паскудного тотального кошмара.

* * *

От злости Ариадна съела нить.
И Минотавра радостно отмыли.
И Фауст говорит: все утопить.
И черти говорят: все утопили.

И мы выходим в тихий Третий Рим,
Где только оппозицией пугают.
Лояльно все в автобусе сидим.
И снова по автобусу стреляют.

* * *

Ты говоришь: горит дурдом.
А мы опять на моську лаем.
Ты прошибаешь стены лбом,
А сам совсем непрошибаем.

Какого Герцена будить,
Ломясь в распахнутые двери?
В то, что не в силах победить,
Ты можешь радостно поверить.

Не содрогается земля,
Она охотно с чертом ладит.
На стены красного Кремля
Орел двуглавый не нагадит.

Аврора выстрелит в себя,
Она еще не доиграла.
Русалок жадно теребя,
Нева течет куда попало.

Не зря построили канал.
Ты верь, ты бойся, ты проси и
Получишь то, что ожидал,
И то, что прочишь для России.

А мы вернемся в город свой
Гулять по улицам Вишневым.
В уютный город под Москвой.
А может быть, под Кишиневом.

ГДЕ МЫ, КАПИТАН?

Афина съела паучиху.
А мы, как рота на плацу,
Зашли случайно на Плющиху,
Идя к Садовому кольцу.

Давай свернем в газету Завтра,
Сад Мандельштама посетим.
Неопалимовский внезапно
Возник, и впрямь неопалим.

К нам приставали книгоноши,
Бутылку трогали рукой.
И Петр Первый стал хороший,
Почти сливается с рекой.



Электоральные победы
В Гвинее ярче, чем в Москве.
Едят друг друга людоеды,
Подозревая в колдовстве.

Мы в Лиенае или в Лудзе?
Давай по капельке всего
За самолет Тимура Фрунзе
И академию его.

Давай из горлышка. С изюмом.
Не мни, пожалуйста, стакан.
Не будь суровым и угрюмым.
И все же: где мы, капитан?

Гор. Москва

Паспорт у бабушки, хоть в поход
Бери и учи наизусть слова.
Дата рожденья: 13-й год.
Место рождения: гор. Москва.

Жизнь удивительна. Дайте две.
Или такой и одной-то нет?
Даже войну прожила в Москве.
Бабушке скоро будет 100 лет.

Скоро таких будет много здесь.
С датой похожей: 13-й год.
«Ты только не лезь никуда, не лезь.
Воронок дежурит у всех ворот.

Меня-то вряд ли уж заберет
К себе опричниковая братва...»
Дата рожденья: 13-й год.
Место рождения: гор. Москва.

* * *

Руки нечестные
Тянутся к вороту.
Сами не местные.
И не из города.

Вот они, пришлые,
Волки нездешние.
То ли опричники,
То ли кромешники.

Дали резвиться им
Целую прерию.
Дали полицию
И жандармерию.

То ли решение
Парткабинетное.
То ли вторжение
Инопланетное.

Мы уже лишние.
Душат нас бешено
То ли опричники.
То ли кромешники.

* * *

Как ребенка, тихо и устало,
Язы смешные берега
До Водоотводного канала
Снова доведет Москва-река.

Город превращается в клоаку
Маленьких трагедий и измен.
Дикари сбегаются на драку.
И бежит от драки полисмен.

Для кого веселые картинки.
Для кого товарооборот.
У бомжихи — новые ботинки.
И она их явно бережет.

* * *

Кто-то бродит ночью во сне.
Кто-то бредит там наверху.
У кого-то небо в огне.
У кого-то рыло в пуху.

У кого тротил-динамит.
У кого джихад-газават.
У кого-то попа-магнит.
У кого-то папа-магнат.

Кто-то правым делом ведом,
Хочет жизнь твою отобрать.
У кого-то тут отчий дом,
У кого-то Родина-мать.



Кто-то любит мат-диамат.
Кто-то помнит много обид.
У кого-то папа-магнат.
У кого-то попа-магнит.

Не ходи так поздно сюда.
Засыпай ненужный редут.
Скоро улетят поезда.
И по рельсам утки пойдут.

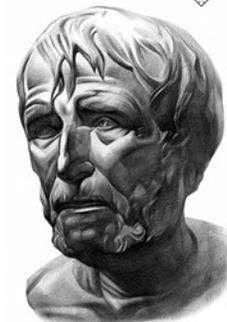
Хорошо вернуться назад.
Только здесь не тот уже вид.
У кого-то папа-магнат.
У кого-то попа-магнит.

Только здесь коза-дереза,
Что опять творит чудеса.
Только глупой правдой в глаза
Снова лезет божья роса.

Страшный суд не слишком страшит,
Если есть и там адвокат.
У кого-то попа-магнит.
У кого-то папа-магнат.

Дать — хорошо; но насильно берущего смерть ожидает.
 Тот, кто охотно дает, если даже дает он и много,
 Чувствует радость, давая, и сердцем своим веселится.
 Если же кто своевольно берет, повинясь бесстыдству, —
 Пусть и немного он взял, — но печалит нам милое сердце.

Гесиод. Труды и дни



Рубрику ведет Анна КВУРТ



Анна Квурт — волонтер, журналист, фотограф. Пресс-секретарь Центра поддержки и развития добровольческого движения ГБУ «Центр молодежи ЮВАО «Молодежное содружество»». Родилась в Москве. В 2007 году окончила колледж при ВГИКе по специальности «фотограф». Участвовала в нескольких фотовыставках и конкурсах. Занимала призовые места. В 2011-м окончила Институт гуманитарного образования по специальности «журналистика».

От ведущей

О волонтерстве или добровольчестве пишут не так уж много, тема становится актуальной, как только происходят значительные события, затрагивающие всю страну. Такие, как Великая Отечественная война, пожары 2010 года, наводнение на Кубани. В важные моменты, когда каждый человек сопереживает, происходит подъем гражданского самосознания, проявляются высокие моральные качества людей. В эти дни или годы роль добровольцев как никогда важна и заметна.

В спокойное же время добрые дела не являются настолько интересными для большей части СМИ. И это логично, но не совсем правильно. Когда мы проводили опрос населения на предмет информированности о добровольческой деятельности, мы с удивлением обнаружили, что некоторые респонденты искренне убеждены: в России нет волонтерства, а в Москве нет места ничему доброму. Это при

том, что функционирует огромное количество благотворительных фондов, некоммерческих организаций, пунктов сдачи крови для доноров, постоянно проводятся различные мероприятия, где задействованы добровольцы.

Исключительно важно появление в журнале специализированной рубрики, освещающей волонтерскую деятельность. Каждый день, каждый час происходит что-то необыкновенное, волшебное, такое как спасение чьей-то жизни, улучшение экологической ситуации на планете. В рубрике волонтеры расскажут о том, что они регулярно делают, какие подвиги им привычны, познакомят читателя с прекрасным и неизвестным миром добрых дел. Тут можно будет найти полезную информацию о том, что можно сделать и как принять участие, если хочется быть социально полезным.

Александр АЛЕКСЕЕВ



Директор Центра поддержки и развития молодежного добровольческого движения ГБУ «Центр молодежи ЮВАО «Молодежное содружество»». Кандидат экономических наук. Более двадцати лет занимается молодежью. Награжден государственными наградами, наградами ведомств и общественных организаций. Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации.

МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Быть волонтером или добровольцем — значит стремиться помочь. Людям, окружающей среде. Я не представляю себе мир, где не совершалось бы добрых поступков. Волонтеры делают его лучше, спасают многие жизни. Слово «добровольчество» состоит из слов «добро» и «воля». То есть, можно сказать, поступки, совершенные по доброй воле, — это и есть добровольчество. Волонтерство, каким оно является сейчас, пришло в Россию в 90-х годах. Появилось множество благотворительных организаций, некоммерческих объединений, осуществляющих самую разную общественно-полезную деятельность. С тех пор добровольчество в стране постепенно набирает популярность, что особенно заметно во время чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение или пожары, когда люди всей страны едут разгрести завалы или тушить пожары совместными усилиями. Волонтеры делают много замечательного, например, помогают детям-сиротам, инвалидам или ветеранам, организуют поисково-спасательные работы, борются за чистоту планеты просто ради морального удовлетворения от совершаемого.

Сейчас добрые поступки можно фиксировать документально при помощи личной книжки волонтера. Это портфолио социальной деятельности, которое может помочь при устройстве на работу, по нему будущему работодателю будет легко составить психологический портрет соискателя. Структурой личная книжка волонтера напоминает трудовую, только туда заносятся факты волонтерской деятельности. Например, человек занимался обучением детей с ограниченными возможностями. Книжка покажет, что у него есть опыт работы со сложными категориями населения и педагогической деятельности, но, главное, высокие моральные качества, готовность помогать ближнему и инициативность, что

так важно при трудоустройстве. ГБУ «Центр молодежи ЮВАО «Молодежное содружество»» как центр поддержки и развития молодежного добровольческого движения осуществляет выдачу личных книжек волонтера, желающему достаточно заполнить анкету на сайте, а потом приехать и забрать готовый документ.

Еще одно из направлений деятельности нашего Центра — это поощрение волонтерства. Например, этим летом мы проводили мастер-классы по вейкбордингу, страйкбольные патриотические и многие другие мероприятия. А в течение учебного года у нас устраиваются обучающие семинары на самые разные темы. Мы всегда рады видеть, как приходящие к нам молодые люди знакомятся между собой и становятся друзьями. Иногда у них рождаются общие идеи, и они устраивают совместные мероприятия. У нас даже есть своя шутка в учреждении, что впору организовывать волонтерский клуб знакомств. Для одного из мероприятий сделали такую тему: «Пары, образовавшиеся благодаря добровольческой деятельности». Волонтеры рассказывали истории своего знакомства, совместного труда под дружные аплодисменты всех гостей. Я считаю, что самое главное в жизни — это семья, поэтому всем ребятам говорю: «Карьера подождет, намного важнее найти личное счастье». Что может быть приятнее осознания, что тебя ждут дома, любят и готовы поддержать в любой трудной ситуации?

Я воспитываю подрастающее поколение как педагог, как директор молодежного центра, а главное, как отец. Искренне люблю нашу молодежь и считаю, что будущее России за ней. Когда вижу, как к нам в Центр приходит много ребят с замечательными идеями и желанием что-то делать, развиваться, быть полезными, очень радуюсь. Всегда приятно смотреть на их горящие глаза. Меня часто спрашивают



и сотрудники учреждения, и просто ребята-волонтеры, можно ли у нас провести мероприятие. Я всегда говорю — можно, потому что считаю, что стремление делать что-либо на благо нашего общества необходимо поощрять.

Согласно Всемирной декларации добровольчества, добровольчество — это фундамент гражданского общества. Смотря на молодых волонтеров, таких красивых, добрых и талантливых, я верю —

наша страна будет лучшим домом для нас всех, станет чище и добрее. Ребята своим целенаправленным трудом смогут этого добиться, а наши дети и внуки будут расти в лучшем мире.

Друзья! Становитесь добровольцами, приходите в наш Центр, получайте личные книжки волонтера, давайте вместе работать на благо города, общества и страны!

Евгения БЕГИНИНА



Начальник информационно-аналитического отдела ГБУ «Центр молодежи ЮВАО “Молодежное содружество”» Центра поддержки и развития молодежного добровольческого движения города Москвы. Волонтер. Фотограф и творческая личность с незаурядным взглядом на внутренний мир человека, его эмоции, кредо. Жизненная позиция: добро покорит мир, а улыбка откроет любые двери.

ВОЛОНТЕР — КТО ОН?

Стать волонтером — это почти так же, как стать волшебником. Ты делаешь мир ярче, светлее и теплее от порыва сердца любить. Быть волонтером — это крайне сложно в социуме и достаточно спорно в нынешнем мире социальных неравенств и денежных отношений, но однозначно нужно и крайне важно, и это важно в первую очередь для тебя.

Добровольчество — это желание совершать поступки бескорыстно и безвозмездно. Работа, за которую ты не получаешь денег, эмоции, на которые ты не ждешь ответной реакции. Это чувство реализации, нужности, значимости, внутренней гармонии в сочетании с самым важным — полезностью обществу и ощущением возможности сделать мир чуточку лучше.

Волонтеры по своей сути — это группа единомышленников, ставящих одинаковые цели в разных отраслях и сферах жизни общества, а цели эти очень просты — сделать кому-то лучше, помочь, поддержать, принести пользу, победить. Одна, безусловно, — всегда нести добро. Кому? Людям, миру, природе, сердцу... От сердца — сердцам!

Кто-то отрицает добровольчество как искреннее проявление чувств или социальное явление: отвергает, не понимает, не принимает, находит неважным и ненужным, а кто-то этим спасается, живет, находит трогательным и жизненно важным.

Говорят, что если хочешь делать добро — делай его вопреки. Всегда и всему. Не для чего-то, просто ради жизни. Ведь как мы к людям, так и мир к нам.

Когда я впервые столкнулась в жизни с добровольчеством, пожалуй, я не думала о том, кто я, как меня можно назвать и какое слово характеризует то, что я делаю. Я просто хотела сделать что-то полезное. Это именно то ощущение, когда ты понимаешь, что вот он — весь мир, и ты делаешь то, что можешь. И очень хотелось делать только хорошее, солнечное, теплое добро. Конечно, само по себе добро не может быть, как я его тут описываю, теплым,

солнечным, добрым. Это те эмоции, которые ты получаешь от осознания того, что ты делаешь своими руками, мыслями, головой. Большинство студентов чувствуют то же самое. Есть море энергии, море позитива и куча свободного времени, времени от пар, занятий, учебников и разговоров, а также желание общаться с новыми интересными людьми, людьми увлеченными, творческими, харизматичными, умными и яркими, не похожими на кого-то, разрывающими шаблоны.

Так вот, одним октябрьским вечером я нашла то, что искала. Это был Клуб волонтеров с большим количеством желающих помогать детям из детских домов. Уверенных и еще не совсем волонтеров, объединенных общим делом — сбором помощи детям. Была масса впечатлений — улыбки, люди, заданные одним желанием, понимающие, что они хотят, делающие то, что они могут, ищущие возможности, а не причины не делать, не сдающиеся и идущие только вперед, а также ощущение пользы и нужности, не пространственной, а реальной, осязаемой. Это был мой маленький старт. Тогда я пыталась помогать скромно, незаметно, тихо. Волонтеры разные нужны. Дальше было больше помощи, дел, акций, но уже по другим направлениям волонтерства. И сейчас я — маленькая, но уже уверенная часть большого целого. И волонтерство для меня — это состояние души.

Волонтерство есть. Оно может быть твоей отдушиной, смыслом жизни, хобби, призванием, тайным пристрастием или необходимостью.

Волонтер — это тот человек, который шагает по миру с открытым сердцем.

Волонтер — это тот, кто видит свою нужность даже в самых заурядных местах.

Волонтер — это человек, умеющий понимать жизнь и сострадать.

Волонтер — это ты и я!

«ДОБРОВОЛЬЦЫ — МОСКВЕ» — 2012

В 2012 году Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы и Центром поддержки молодежного добровольческого движения города Москвы ГБУ «Центр молодежи ЮВАО “Молодежное содружество”» проводится городской конкурс социальных проектов в области молодежного добровольчества.

Любая желающая команда молодых людей, не имеющая юридического лица, сможет получить поддержку в реализации своего социального проекта при условии, что:

- количество волонтеров в команде — не менее 10 человек, возраст от 14 лет;
- количество часов работы каждого волонтера по проекту — не менее 8;
- число благополучателей — не менее 200 человек;
- сумма запрашиваемых средств — не более 50 000 рублей;

- вложения команды в проект — не менее 20% (это не значит, что нужно вкладывать деньги: можно учитывать то, что у вас уже есть — труд волонтеров, помещения или оборудование для работы, которое вы нашли сами);
- представители готовы защитить свою идею перед комиссией и приложить силы к ее реализации.

Выигравшим командам будет оказана помощь помещением, оборудованием, организацией и всем необходимым.

С вопросами о конкурсе «Добровольцы — Москве» можно обратиться к нашим специалистам:

- Анна Додонова, 8-926-555-08-85;
- Вера Легких, 8-985-224-38-03.

Больше информации на сайте мосволонтер.рф.

Анна Квурт



СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Спортивное волонтерство, или event-волонтерство, — это такой вид волонтерства, в котором помощь направлена на организацию крупных спортивных мероприятий. Чаще всего оно интересно молодым людям от 18 до 25 лет, студентам, которым нужен опыт работы. Event-волонтерство позволяет приобрести уникальный опыт, поднять свой уровень владения разговорным иностранным языком, бесплатно посетить спортивные игры мирового значения, увидеть или даже сопровождать важных участников или гостей, познакомиться с интересными людьми из разных уголков планеты.

В зависимости от серьезности мероприятия и работы на нем к волонтерам могут предъявлять различные требования, значение имеют личные качества, навыки, знания.

Направления, в которых могут быть задействованы волонтеры, — взаимодействие с организаци-

онными комитетами, лингвистические и логистические услуги, работа, связанная с проведением церемоний, протокольная работа, помощь в организации питания, транспортного сообщения, в проведении проверок на допинг, техническая поддержка, помощь пресс-центрам, обслуживание мероприятий и т. д.

Ближайшие крупнейшие мероприятия, где требуются волонтеры, — это Универсиада-2013 и Олимпийские игры — 2014. Для каждого из них созданы и успешно функционируют центры подготовки волонтеров по всей России, восемь только в Москве.

Официальные сайты волонтеров мероприятий, где можно найти всю необходимую информацию для участия, — makeureal.kazan2013.com и vol.sochi2014.com.

Анна Квурт



© Фото Анны Квурт

Игорь МИХАЙЛОВ



2012-й — год восьмидесятилетия Василия Павловича Аксенова

НЕВОЗВРАЩЕЦ ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

Каждый уважающий себя культурный деятель прошлого и настоящего почел за честь отметить хоть каким-то подвигом именно в Казани: Ленин, Горький, Фигнер, Шаляпин, Толстой, Хлебников, Лобачевский, Евтушенко и многие другие.

И, что удивительно, ни один из исторических персонажей, литературных или культурных деятелей ни за что не хочет выселяться из ее истории.

Казань разбежалась, развернулась вширь и вглубь, по берегам озер и рек, затаилась в русской истории, аки зверь.

Озеро Средний Кабан!

Городское пространство вымерено ветрами, соткано из вольного сибирского простора, в общем, логово весьма вместительное.

Все здесь до сих пор бурлит и булькает, взывая хоть к какой-то упорядоченности, схеме. Но Казань не укладывается ни в один из более или менее стройных и умопостижимых стереотипов.

Единственное, что о ней можно со всей несокрушимой уверенностью неофита, попавшего под ее дикую прелесть, сказать, — что вот такой и должна быть столица Евразии. Или, соответственно, не должна.

Большой, пестрой, словно персидский ковер или татарская шапочка с узорчатой золотой вышивкой. Казань — с розетками и плафонами — татарская княжна, Сююмбике. Сады Семирамиды.

Василий Аксенов, как известно, был медиком, но Казань и ему перепутала пути-дороги.

В Казани возможно все. А то, что не возможно, нужно просто довыдумать, как в сказках «Тысяча и одна ночь».

К примеру, существует легенда, согласно которой в доме Аксенова жил кот-призрак, который проходил сквозь стены.

Мало кто знает, что в «Юности», в журнале, в котором были напечатаны лучшие вещи Василия Аксенова — «Коллеги», «Затоваренная бочкотара», — у автора было прозвище — Васька-кот!

Аксеновский дом — словно пиджак не по размеру. Так что легенд в нем может уместиться множество. Рядом по соседству — музей Баратынского, размещенный в бывшей людской, в три раза скромнее. У Хлебникова, который тоже отметился в Казани, вообще нет музея.

Но в этом нет никакого символизма, а просто амбиций у Василия Павловича хватило бы на троих классиков.

В коридоре дома — старые лыжи, на которых написано «юность».

Все начинается с юности, с самого начала.

Казань — для этого самая подходящая декорация!

Василию Аксенову в этом году исполнилось бы восемьдесят лет. В «Юность» он так и не вернулся, в Казани, на фестивале имени себя, успел побывать. Но это — другое, почти барство, сибаритство, когда чешут за ушком и можно мурлыкать. А в журнале, может быть, сидят «люди с псыими головами», сунься только — слопают, и вся недолга.

Вряд ли за это можно осуждать.

Невозвращение, непопадание во время, в темп музыки, как в джазе, — с литераторами это бывает. Вспомним Солженицына, Войновича.

Лучше быть на расстоянии. Или вовсе не быть?

Можно назвать это и так: поступок, как теперь принято говорить, по умолчанию.

Между человеком и художником — интервал длиною в жизнь.

Тот маленький Вася родился в Казани. Его родители — партийные деятели и пламенные коммуни-



Василий Аксенов и Борис Полевой (фото из архива «Юности»)

сты, «отец, Павел Васильевич, был председателем Казанского горсовета и членом бюро Татарского обкома партии. Мать, Евгения Семеновна, работала преподавателем в Казанском педагогическом институте, затем — заведующей отделом культуры газеты «Красная Татария», была членом партии...». Родители, как и многие персонажи той исторической драмы, оказываются в лагерях, а маленький Вася — в детском доме, откуда его через год забирают родственники...

Прошли годы, и уже сам «Катаич» благоволит начинающему автору. Сегодня портрет юного Василия Аксенова висит на четвертом этаже редакции журнала. Аксенов принадлежит «Юности», как и «Юность» ему.

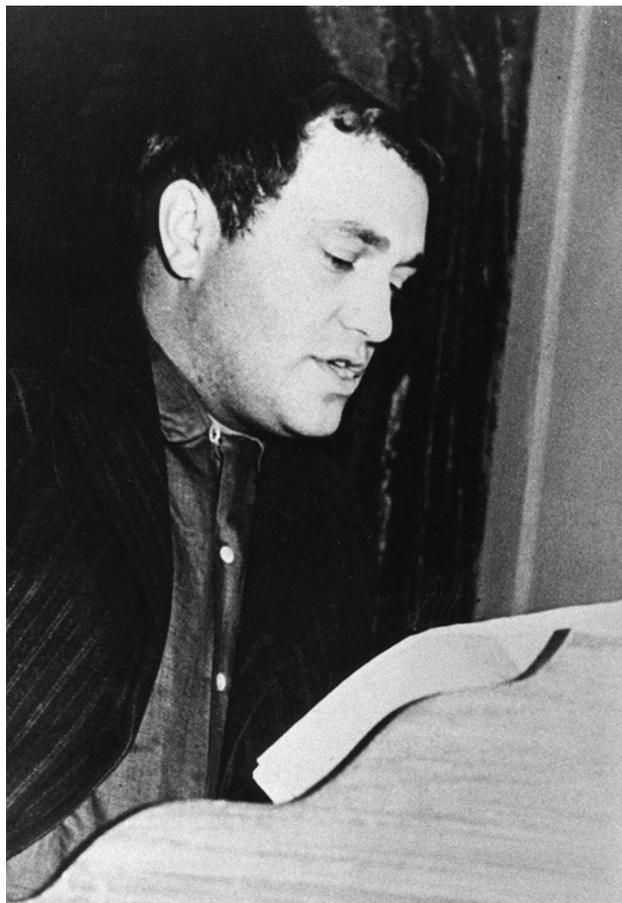
Оттепель. Аксенов молод, полон планов и сил. Его отношение к стране, в которой он вырос, поначалу восторженное. Его первые повести появились как раз на волне оттепели.

Ту оттепель оценивают по-разному, но почему-то преимущественно соотнося ее с докладом Хрущева на XX съезде. Руки брадобрея у горла немного ослабили хватку.

Но, кажется, все проще. Просто страна получила возможность, может быть, впервые за много лет, жить переведенной на советскую почву картинкой *dolce vita*. Каплей западной жизни, разведенной в холодной воде, быть немного итальянцами и американскими шалопаями, забыв про кодекс строителей коммунизма.

Вспомним замечательный фильм Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». Человек в хрущевскую оттепель вдруг ощутил себя беззаботным и бесшабашным. За эту беззаботность молодых людей предыдущее поколение заплатило, и немалую цену.

Но вольный ветер напекает другие мотивы, жизнь как босанова: «Вот она, Нева! Над Ростральными колоннами, над Военно-Морским музеем стояла золотая, предзакатная пыль. По Дворцовой набережной, как по желобу, катились сверкающие шарики автомобилей. Приходило привычное настроение. Они любили молчаливые прогулки по Ленинграду. Кто-то сказал, что дружба — это умение молчать вдвоем. Слова были неуместны в такие минуты, когда город раскрывался перед ними, когда



Василий Аксенов (фото из архива «Юности»)

наступал еле уловимый миг, сближавший их с давно умершими строителями и мечтателями».

Повесть «Коллеги» сразу же по ее появлении становится популярной. Как свидетельствует аннотация к книге, «это повесть о молодых коллегах — врачах, ищущих свое место в жизни и находящихся его, повесть о молодом поколении, о его мыслях, чувствах, любви. Их трое — три разных человека, три разных характера: резкий, мрачный, иногда напускающий на себя скептицизм Алексей Максимов, весельчак, любимец девушек, гитарист Владислав Карпов и немного смешной, порывистый, вежливый, очень прямой и искренний Александр Зеленин. И вместе с тем в них столько общего, типического: огромная энергия и жизнелюбие, влюбленность в свою профессию, в солнце, спорт».

Профессия, солнце, спорт — почти синонимы. И все это всерьез, и, хочется верить, надолго.

Спустя пару лет по этой повести Алексей Сахаров снимет одноименный фильм. В ролях целая россыпь звезд, а тогда начинающих, молодых актеров: Олег Анофриев, Василий Ливанов, Василий Лановой, Нина Шацкая, Тамара Семина, Ростислав Плятт и многие другие.

Он и сейчас смотрится. Это — почти гимн молодости, не бессмысленной, но все же радости жизни.

Автору сценария тридцать лет!

Аксенова выпестовала в прямом и переносном смысле «Юность». В журнале он был не просто членом редколлегии, а своим парнем. Буквально дневал и ночевал в редакции. Отсюда — Васька-кот.

Но оттепель постепенно проходила, в скором времени задули холодные ветра, а вместе с ними, видимо, появилось ощущение какой-то невыносимой тяжести бытия.

Пройдет десять лет — и вот эта легкость и беззаботность уже в прошлом. Далее пойдет полоса диссидентства, романы «Ожог» и «Остров Крым»: «Мы шли по щиколотку в вонючей грязи поселка Планерское, а мимо нас вздувшиеся ручьи волокли к морю курортные миазмы, и кувыркались в вонючих стремнинах сорванные ураганом будки сортиров и комья кала и жидкая дрисня, и неслись к нашему еще вчера хрустальному морю; на второй день после вторжения!»

Васька-кот, привыкший к сметане, словно не захотел мириться с тем, что его стилиажничество и *dolce vita* не по достоинству оценены страной, которая сквозь бурелом идеологии прорывалась к светлomu будущему?

Кто знает...

К хорошему быстро привыкаешь, а отвыкать труднее: «О, Марина Влади, девушка Пятьдесят Шестого года, девушка, вызывающая отвагу! О, Марина, Марина, Марина, стоя плывущая в лодке по скандинавскому озеру под закатным небом! О, Марина, первая птичка Запада, залетевшая по запаху на оттепель в наш угол! Стоит тебе только сделать знак, чувиха, и я мигом стану парнем, способным на храбрые поступки, подберу соплю и отправлюсь на край света для встречи с тобой. О, Марина = очарование, юность, лес, голоса в темных коридорах, гулкий быстрый бег вдоль колоннады и затаенное ожидание с лунной нечистью на груди».

Диссидентство — хорошая лазейка для бездарностей, которой многие воспользуются.

Аксенов заигрался?

Не надо забывать о том, что «бунтовала» в основном золотая молодежь, которая за редким исключением не знала о том, что творится за пределами двух столиц.

Почти как сегодня — на Болотную площадь выходят хипстеры, уставшие от офисной рутины.

Расхождение с властью было не идеологическое, а, как заметил Синявский, стилистическое. Скорее напоминающее бунт избалованного ребенка против родителя, который решил умерить его растущий с возрастом аппетит.



Евгений Евтушенко и Василий Аксенов (фото из архива «Юности»)

В 80-х Аксенов эмигрирует в Штаты, к которым до этого примерялся, словно к модному фасону пиджака в пору стилижничества. Ну а когда вернулся, то окончательно и бесповоротно потерял Россию. Бывший детдомовец, хлебнувший лиха в детском доме именно для детей заключенных, в 1993 году, во время разгона Верховного Совета, подписывает письмо в поддержку Ельцина.

Одно дело, когда «наши танки идут по Праге, наши танки идут по правде», а другое дело, когда наши танки идут по Москве и бьют разрывными по своим, и в Белом доме — при этом гибнут пацаны, выросшие на аксеновском «Ожоге».

Это был уже другой Аксенов. И книги — другие: невразумительная «Московская сага» (скорее запоздавшие сведения счетов со своим прошлым, приправленные плейбойством или плебейством); провальная «Москва-ква-ква» и «Редкие земли» с не очень удачным экивоком в сторону комсомола и опального олигарха, которого за его же деньги из уголовного превратили в идола.

Презентация в модном клубе, издательский китч: сумочки с именем автора и названием книги, играет джаз, к сумочке и напиткам прилагается диск с записями.

Акела промахнулся! Это вначале было слово. Слово яркое, сочное, молодое, как яблоко: «Под ними лежали вороненные рельсы, а дальше за отко-

сом, в явном разладе с вокзальной автоматикой, кособочились домики Коряжска, а еще дальше розовели поля, и густо синел лес, и солнце в перьях висело над лесом, как петух с отрубленной башкой на заборе...»

Не очень понятно, каким образом петух, которому отрубили голову, может висеть на заборе. Но об этом хотя бы можно спорить.

Спорить с поздним Аксеновым бессмысленно и неинтересно. Это уже «мэтр», «мастер», которому милы уют и каминное тепло литературных гостиных, где вручают премии за былые заслуги. А его археологов, о которых он писал в неповторимом начале своей писательской карьеры, перестройка выбросила на помойку.

Он не вернулся не только в «Юность» и не только потому, что юность прошла. Это не самое страшное и странное. Он не вернулся к ним, к своим героям, для которых «профессия, солнце, спорт» — почти синонимы. Он не вернулся к себе! Той страны, из которой он уехал, не стало, а он предпочел «редкие земли» и благополучие — неблагополучию и большой совести русского классика.

Впрочем, прошел слишком малый срок, чтобы оценить по достоинству всего Аксенова!

Да вряд ли это и нужно. Каждый выбирает того Аксенова, который ему ближе.

Мне ближе тот, который остался в «Юности»...



Георгий ПРЯХИН



Георгий Пряхин родился в 1947 году в селе Николо-Александровское Ставропольского края. Рано остался без родителей и воспитывался в школе-интернате № 2 г. Буденновска. Служил в армии, окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в различных газетах, в том числе в «Комсомольской правде», где прошел путь от собственного корреспондента до заместителя главного редактора. Был политическим обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 год работал в ЦК КПСС, затем — консультантом Президента СССР М. С. Горбачева. В русской литературе имя Георгия Пряхина появилось в конце 70-х — начале 80-х годов. Его первая повесть «Интернат» была сразу же опубликована в самом престижном журнале тех лет «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. Это произведение, посвященное детворе послевоенных лет, затем вышло в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой, которая была признана лучшей книгой молодого автора за год. Его перу принадлежат несколько книг. Г. Пряхин публиковался также в Италии, Болгарии, Словакии, США, Англии, Ирландии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, Японии и других странах. Широко издававшаяся и переиздающаяся сейчас книга Раисы Горбачевой «Я надеюсь...» представляет шесть ее интервью Георгию Пряхину. Писатель был удостоен чести выступить с короткой лекцией в Доме Д. Джойса в Дублине. Награжден Всероссийской литературной премией имени Александра Грина и премией журнала «Юность» имени Валентина Катаева.

Рисунок Юлии Спасовской

СВИДЕТЕЛЬ

Светлой памяти Николая Боднарука

Элегия

В который уже раз сажусь за чистый... Вру: по-старинному разлинованный, желтый, почти пергаментный, потому как пишу в чьей-то приходно-расходной, каковая была даже у Пушкина, тетради времен первой русской революции — когда рушатся состояния и горят имена, что нам тоже, боюсь, предстоит увидеть — н а б л ю д а т е л я м увидеть, а в л а д е л ь ц а м на собственной шкуре испытать, — самым долговечным, как ни странно, чаще всего и оказывается самое хрупкое и тленное: бумага да воспоминания, причем и то и другое с нежно опаленными, задымленными краями. За относительно чистый лист бумаги без ясно осмысленной

цели. Просто щемит где-то в душе, и я вглядываюсь в этот бледно разграфленный и уже действительно изрядно подкопченный временем лист, пытаюсь поймать, разглядеть в его бледно-медовых разводах, какие оставляют на старых, почти истлевших фланелевых пеленках из далекого прошлого наши давно выросшие дети, контуры собственных мыслей и ощущений.

А толчок им дала тоненькая книжица, даже брошюра, что лежит сейчас рядом с моим революционным гроссбухом. Уныло серая, бумажная, какая-то рыхлая, выболевшая обложка — когда смотришь на такие, почему-то вспоминаются сыпной тиф и



борьба с безграмотностью. И это, в общем-то, справедливо, если сыпной тиф и безграмотность бытовали и в городе Праге тыща девятьсот двадцатого года.

Брошюра издана в Праге в 1920 году на средства автора. А на какие еще деньги и издавались русские книжицы в Праге в 1920 году?..

К вопросу о приходно-расходных книгах. Пушкин ошибался в них даже в подсчете собственных строк, а не только гонораров. Раззява...

Чем меньше денег, тем труднее их считать и тем внушительнее, фундаментальные гроссбухи.

Книжица очень простая. Автор, некая Лидия Крестовская, молоденькая женщина, безыскусно рассказывает, как ее юный муж, проживавший вместе с нею в Париже, в четырнадцатом году вместе с другими русскими волонтерами записался добровольцем во французскую армию и пошел воевать с бошами. Как я понял, во Франции он оказался, избегая ссылки — в силу политических убеждений — на родине, в царской России. Но решил помочь и своей первой родине, уже ввязавшейся в Первую мировую, и, разумеется, второй, чье положение на тот момент было хуже женского...

Как, проводив его, вскорости сама поехала за ним следом в приграничный эльзасский городок Блуа, где он проходил нечто вроде краткосрочных военных сборов перед отправкой на передовую, — обнять его напоследок. И не одна поехала, а с крохотным трехнедельным сынишкой, грудничком. Как мыкалась по переполненным перекладным поездам: сама отчаянно проталкивалась вперед, а солдаты, только что мобилизованные вчерашние повара, официанты, таксисты, потом вдогонку, по цепочке, из рук в руки передавали ей вослед ее двоящийся бесценный сверток — живое письмецо на фронт. В общем, все примерно так же, как испокон веков и у нас, на Руси, — может, только с чуть большим комфортом.

Как едва нашла угол в том до отказа переполненном взбаламученными встречными людскими массами приграничном, прифронтовом городке. И как после бестолковых и бесполезных занятий на плацу в этот чужой, на время снятый угол приходил к ней ее муж и они вдвоем, соприкасаясь лбами, склонялись над своим первенцем. Угол и малыш оказались соразмерны друг другу, как соразмерны школьный пенал с втиснутым в него ластиком. Ребенок спал в чемодане, поскольку другого места не было. При чем крышку у чемодана держали торчком — ее куда было опрокинуть — и едва отошедшая от родов мать больше всего опасалась, чтобы та ненароком не захлопнулась.

И как провели они так, триединым уязвимым существом, у которого даже кровообращение казалось общим, последнюю ночь.

И как наутро бежала она все с тем же своим живым свертком вслед за грузовиком, увозившим ее мужа вместе с другими русскими — неприрученные еще, холодные штыки нелепо колыхались над кузовом, как иглы дикобраза, — умирать бог знает за какую там землю.

Он и умрет. Погибнет — в одном из первых же сражений: русских, как водится, посылали в самое пекло. Как штрафбат. Да они и сами напрашивались. Был там, оказывается, и форменный русский штрафной батальон. В одном из подразделений русские, среди которых имелись и дворяне, взбунтовались против хамского обращения со стороны французских начальников. Часть из них бросили в первую же обреченную контратаку, часть приговорили к каторжным работам в Алжире, а зачинщиков — к расстрелу. И — расстреляли. Лидия Крестовская, получив известие о приговоре, кинулась к министру обороны, но — опоздала. И суд был военный, и приговор скоротечный. Не успела: министр, весьма обходительно приняв юную русскую даму, только руками развел — война... Герр, а ля герр...

К слову сказать, среди русских волонтеров той «чужой» войны был и наш будущий маршал министр обороны Родион Малиновский, и будущий русский, советский писатель, замеченный самим Горьким, Виктор Финк — я недавно читал его воспоминания.

Но они об этом не пишут.

Они, мужественные мужчины, не пишут. А вот женщина, Лидия Крестовская, написала.

Иногда женские романы бывают куда более правдивы, чем мужские утренние воспоминания.

...Он успел написать ей несколько писем. Одно из них я перепису сейчас в свою тетрадь полностью и приведу его вам, мой возможный читатель. Приведу по нескольким причинам. Одну из них назову сейчас, другие позже.

Причина первая: каждый человек хотя бы раз в жизни, когда он на пределе чувств, неизменно талантлив. Не знаю ничего более потрясающего — не хочется употреблять словосочетание «более художественного», — чем материнские надгробные рыдания. Даже когда они бессловесны или ты просто не понимаешь, не разбираешь в них ни слова. В декабре 1988-го я столько их наслушался в Армении, в Спитаке и Ленинакане, что об одном только воспоминании о них у меня до сих пор мороз по коже дерет.

Хотя я в них не разумел ни слова, даром что вырос в русско-армянском городке Буденновске.

Вот это письмо — несомненно одаренного, хотя бы на тот момент, человека.

Не меняю в нем ни слова, ни знаки.

* * *

«1 ноября 1914-го года.

Сижу опять в траншее и пишу тебе эту писульку. С траншеями у нас дело обстоит так: 6 дней и ночей мы проводим в одной траншее справа от деревушки Краонелль, потом отдыхаем три дня в деревне Кюри и возвращаемся снова в траншею, но уже слева от Краонелль. Так мы чередуемся. Этот раз мы находимся слева, на высокой возвышенности, открывающей нам совершенно неопиcуемый вид. Кругом видно на десятки верст. Такой ширины и простора я, после России, нигде не видел. Весь фронт немецких траншей перед глазами. Город Краон, занятый немцами, виден весь со своими колокольнями, домами и фабриками, как на ладони. От нас он не дальше, как в полутора километрах. За Краоном в некотором отдалении часто видны дымки поездов немецких. Они бегут один за другим, подвозя немцам боевые припасы. Вчера дымки поездов мелькали особенно часто и сегодня нас с совершенно исключительной щедростью немцы осыпают мармитками и шрапнелью. Пока я пишу тебе это письмо, они рвутся недалеко от нас. Вот сейчас одна разорвалась над самой нашей траншеей и осыпала это письмо землей с нашей крыши. Странно тебе это? Я к нами привык настолько, что лень бывает даже посмотреть, где они рвутся. До сих пор мы только слышали отправные выстрелы — теперь мы их видим. Где-то далеко в лесу перед нами мелькает огонь. Секунда, другая... Слышен визг. — Трах... Крыша траншеи содрогается. На головы сыплет земля. Та траншея, которую мы занимали на прошлой неделе — теперь внизу перед нами и хорошо видна. Вчера ее усиленно обстреливали немцы, и нам было видно, как рвались мармитки около нее. Вправо на самом горизонте видна маленькая возвышенность и над ней шпиль. Это Реймс со своим Катедралем. Ведь Реймс находится всего в 25-ти-30-ти километрах от нас. А прямо перед нами опять та же страшная картина: гниют неприбранные трупы французских солдат.

А у подошвы холма, занятого нашей траншеей, в тридцати километрах от нас ужасные погребки деревни Краонель битком набитые трупами. Сегодня утром я видел замечательное зрелище, которое едва ли увижу еще когда либо в жизни. Ранним утром я стоял на часах, дул холодный ветер и гнал по небу низкие тучи. Неожиданно ветер затих. Время было светать, но небо оставалось все так же темно. На востоке тучи сплотились густой завесой. Вот уж

пол часа, как солнце должно было взойти, но небо оставалось все так же темно. Вдруг краешек завесы приподнялся и узкая кровавая стрелка прорезала горизонт. Завеса медленно поднимается поднимается выше и стрелка шириться, медленно растет в целое озеро крови. Озеро узко и длинно, как меч и светится красным блеском, края его красны и жгучи. Завеса так плотна, что толщи ее не может пронизать ни один луч и черный край ее резко очерчивает горящее озеро. На желтом фоне медленно проступают багрово-красные пятна, они чернеют, запекаются кровавыми сгустками, пятнают озеро, и долго держатся одно около другого темными страшными язвами. Таким должно было встать солнце в день, когда распяли Христа.

Вот я и попытался описать тебе его и описание вышло очень и очень плохое. Но все таки, быть может, оно даст тебе, если не картину, то настроение, которое я испытывал глядя на него. Мне было немножко стыдно пуститься в это литературное описание, но впечатление было так сильно, и так исключительно, что я непременно решил им с тобой поделиться. Во всяком случае, более мистической симфонии в красках я никогда не видывал, да и трудно себе представить. И теперь ты можешь понять, с какой досадой я выругался, когда спеша отделать акварель с этого восхода, я убедился, что ни в одном из наших бидонов воды не было. Это самое большое наше несчастье. Мы прямо умираем от жажды. Воды нигде поблизости нет, а наше корвэ может приносить только зараз два, три бидона, так они нагружены бывают хлебом и пищей. Я пока, как шарманка, на похоронах. Нет мне никакого применения. Поэтому мной затыкают дыры. На прошлой неделе я делал корвэ, носил в траншее пищу. Теперь я нахожусь в траншее вместо нашего agent de liaison, (черт его знает, как это дурацкое слово пишется). Вернусь с войны, так что бы ты, наконец, выучила меня французскому языку. Дело в том, что мое ремесло телеметра совершенно неприменимо, пока мы находимся в траншеях. Тут измерять нечего: расстояния между нашими и немецкими траншеями известны. Вот меня и употребляют на всяческие затычки. В качестве ордонанса я бегаю по несколько раз в день с депешами от нашего лейтенанта к капитану, от капитана к команданту и т.д. занятие довольно приятное, потому что бегая знакомишься с новыми местами и в движении великолепно согреваешься. К тому же на этот раз я сумел устроиться так, что остаюсь в траншее всегда с нашей секцией и сделав комисион, всегда возвращаюсь к нашим. Это гарантирует меня от необходимости спать под открытым небом и спасает от общества офицерских денщиков.



Ходят у нас вот такие слухи и не только слухи (ибо по уставу это так и полагается), что еще через 15 дней, мы будем переведены в город Фим (Последняя станция железной дороги на которой мы высадились, когда ехали сюда), там мы отдохнем 15 дней и тогда двинемся куда-нибудь в другое место, говорят на север. Я этому очень радуюсь. Во первых и отдых 15 дней будет очень кстати, а во вторых убраться из этого скучного и однообразного места, где кроме пушечной и ружейной пальбы ничего не слышишь, будет воистину наслаждением...»

* * *

Все же приведу еще одно письмо Василия Всеволодовича Крестовского. Последнее. Первое датировано 1 ноября 1914 года, это, последнее, 10 декабря того же четырнадцатого.

Всего-то и жизни у него на передовой оказалось меньше полутора месяцев. Средняя продолжительность жизни солдата на передовой Второй мировой исчислялась днями, в Первой — неделями.

Опять не вмешиваюсь в письмо ни ручкой, ни карандашом.

* * *

«10-го декабря 1914 года.

Погода вдруг резко переменилась. Вечер вчера был теплый и мокрый. Часов около 9-ти подул с севера холодный ветер, а к 11-ти перешел в целую бурю. Ночь была темная и тревожная. Знаешь, бывают такие ночи, когда тревога рассеяна как-то во всей природе. Жуткие это ночи. Я стоял на часах, стараясь рассмотреть что-либо в непроглядной тьме. За спиной моей стоял и плакал искалеченный снарядами лес, ветер хлопал полотном палатки, подвешенным у входа в кабанку нашей митральезы, а впереди было так темно, что глазам было больно смотреть. И тревожно, тревожно в такие ночи. Тревожно особенно по тому, что не слышно не выстрела, не видно ни деревца, смотришь в темноту и ждешь чего-то, а чего — не ведаешь. Долго стоял я так, дрожа от холода, и в глазах у меня было темно, как у слепого. Вдруг что-то белое, светящееся молнией сверкнуло, скользнуло меж деревьев и со страшной быстротой, вытягиваясь и режа тьму, мощным щупальцем перекинулось на самые отдаленные холмы, вырвало там белое пятно, застыло на нем на минуту и, быстро сокращаясь, исчезло. Страшный палец: он что-то видел и знает уже. Ночь кажется еще темнее. Не различаешь ни небо, ни землю — одно черное пятно. Вдруг опять сверкнуло меж деревьев. Вот он снова светящийся бледный палец; теперь он

идет уже прямо на нас, он ищет и шарит чего-то под каждым кустом, в тени каждого дерева. Он уже близко от нас. Сейчас подыметесь и кому-то на меня укажет. Вот он. Ой, как больно глазам, в кабанке моей светло, как днем. Хватаю пустой мешок и закрываю им пулемет, чтобы блеском своим он не выдал себя. Палец держит меня секунду под светом своим и скользит дальше по фронту наших траншей, вырывая из тьмы их бледные очертания. Вот он подобрался, съезжился и скрылся... Не показывается больше... Снова темно, как будет темно в тот день, когда по слову Апокалипсиса солнце может померкнуть...

По-прежнему смотрю в темноту и думаю о многих вещах... Шлепанье грязи под ногами... Приходит товарищ, сменяет меня. Выхожу, лезу в свою конюю. — Холодно. Закутываюсь с головой в одеяло. Засыпаю...

С тоской мучительно жду, когда мы пойдем, наконец, в наступление. Так тяжело думать, что залетный снаряд может убить тебя или ранить, пока ты ничего не успел сделать для дела. Вот и сейчас рвутся над нами шрапнели. Странный, ни с чем не сравнимый звук. Есть в нем что-то страшно упругое и раскаленное, пышущее огненным жаром...

Сейчас влево от нас слышна перестрелка и пушечная пальба. Кажется там ведется одной их сторон атака. Быть может и мы будем сегодня иметь дело...

Скомандовали по своим местам...»

* * *

Не первый год пишу в этой тетради. И только сейчас заметил, каким удивительным образом разграфлена каждая ее страница. Две трети в линейку, одна треть — в клетку. Стало быть, на двух третях слова, а на одной трети — цифры. То есть — зашифрованные мысли. Достоевский тоже вел приходно-расходную книгу. И тоже без конца сбивался в ней (по части цифр, как известно, это был еще больший фантазер, чем по части словоблудия). Пока за дело не взялась Анна Григорьевна. Уж у нее-то все получалось гладко. Это она, попавшая — дожила! — даже на прием к Луначарскому, вымарала половину всего в письмах Достоевского (одну т р е т ь ? — ту, что показала ей неприличною) и жестко, жестче любого редактора, правила его тексты. Я вообще не в восторге от наших литературных мамок, жен, сестер и т. д. Все они считали себя полноправными редактрисами если не текстов, то, как минимум, самих жизней своих писучих незадачливых родичей. У русской литературы по большому счету есть только одна замечательная няня — известно какая — и только одна замечательная, поистине



повивальная бабка: незабвенной памяти Елизавета Алексеевна. Это она не только во всем потакала своему гениальному, рано осиротевшему, в том числе и по ее вине, внуку, но, узнав о его гибели на дуэли от пули их же недалекого родственника, велела выкинуть из барского дома в сарай икону Михаила Архистратига, писанную с него перед отправкой на Кавказ.

Не убоялась провиниться перед Господом Богом, поскольку иконка, посчитала, невосполнимо провинилась перед нею: не спасла. Не охранила.

Э т а б — не выкинула ни слова.

Она даже за первую доброжелательную рецензию на первую Мишину книжицу-огрызочек заплатила наличными из своего кармана.

И даже когда внучек ее опаздывал из увольнения в казарму (она в это время как раз гостила у него в Петербурге), отважилась сесть вместе с ним в невиданный доселе не только ею, поскольку был первым и единственным в России, поезд из Царского Села в самодержавную столицу.

Потом, правда, прислала ему еще пару гнедых — чтоб он вдругорядь этой вонючей железной таратайкой не пользовался.

Не думаю, что она так уж понимала его стихи. Просто беззаветно любила его, как не умеют любить подчас даже матери. Вон ни у Пушкина, ни у Чехова, ни у Бунина нет ничего путного об их матушках...

Я уже писал где-то, что вся разница в ритмах и смыслах у Пушкина и Лермонтова тем и обусловлена, что Пушкин разъезжал только верхом или в рессорной карете, а Лермонтов уже познал, ощутил — на собственных боках — и жесткий, чугунный перестук вагонных колес. Другого века.

Вот и безвестная Лидия Крестовская, оставшаяся одна со своим живым кулечком, оплатила брошюрку в память мужа из своего кармана. На обложке стоит наименование парижского издательства, но отпечатали в типографии в Праге — видать, так дешевле. ВТО. А может, она и сама к двадцатому оказалась там же, в Праге, выдворенная русской нуждой из Парижа.

Потом ездила в прифронтовую полосу еще раз. Но тщетно. Уже тогда снаряды, особенно если попадали в траншеи, рвали живых людей на куски. Она приведет в книжечке и несколько других писем с передовой — теперь, сострадая и тоскуя, ей станут писать уже просто чужие русские люди. Несколько карточек, среди которых так и нет фотографии



мужа, один мужнин рисуночек — не то шалаша, не то «землянки в три наката», в которой бытовал он на позициях. Да напоследок — фото новенького, свежего, наспех, но густо заселенного кладбища, на котором частые-частые струганные русские кресты не успели даже потемнеть. Светятся, как наши кости на рентгеновском снимке. Но русские фамилии на них написаны, залиты несмываемой тушью по канавкам, прорезанным перочинным ножиком, нерусскими буквами...

Вот и вся книжица, подаренная мне когда-то по случаю парижским коллекционером русского происхождения Виктором Глушковым.

Я давно прочитал ее: чем больше страдаю бессонницей, тем больше, на старости лет, читаю. Хотя, признаюсь, руки (глаза) до нее дошли не сразу — старая книга часто кажется нам зачерствелым хлебом. Но две-три бессонницы она мне в свое время скрасила. Пора бы и забыть.

Не забывается. Вспоминается и вспоминается, подчас совершенно неуместно.

Щемит и щемит.

А что щемит — и не очень-то ясно.

Что вся Европа утыкана, как стершаяся кожматовая подметка гвоздями, нашими русскими крестами? — так кто же этого не знает.

Жалко эту людскую, земную троицу? — как сложилась судьба этой юной вдовы и ее мальчугана из дорожного чемодана, как пережили они, если пережили, последующие войны и катаклизмы? — так и своего ведь, собственного горя немало и тоже, к сожалению, не литературного, а самого что ни на есть «документального».

Флером печали повита эта тоненькая книжечка — и по юной, до срока закотившейся судьбе, и по молодой, невыбродившей любви, да и по той войне незначительной: женщина вспоминает и о других ее русских участниках и даже приводит список погибших, тех, о ком ей стало известно из достоверных источников.

Понимает, что их не станут помнить ни в старой Франции, ни в новой России. И пытается хоть какой-то, пусть неуклюжий, пусть хлипкий и ненадежный, крестик поставить, обозначить над их могилками, что просто обречены вскорости стать безымянными и сровняться с землей.

Впрочем, насчет незначительности — не совсем так.

Волею судеб в последние двадцать лет довольно часто бываю в местах самых кровопролитных боев Первой мировой. Причем и с французской, и с немецкой, и с бельгийской (и даже итальянской) сторон. Сдержаннее, скупее всех немцы. Пафосных немецких памятников Первой мировой именно здесь, в этом квазиевропейском треугольнике, — раз-два

и обчелся. Может, по причине общей немецкой сдержанности, т р е з в о с т и по отношению и к в о й н е (вон даже в Ливию на заведомый скотомогильник славы войска не посылали). А скорее — потому, что проиграли (вторую же и даже третью, похоже, выигрывают). Нечем гордиться-духариться. Что касается Первой, то и впрямь нечем, а Второй — обстоятельства пока не велят. Зато французы и бельгийцы, «бельгаши», как их нежно называет мой друг Кипрас Мажейка, многие годы проработавший в Брюсселе, — как глухари на весеннем току. Памятники, один величественнее другого, в каждом городишке. И с неременной стелой высеченных на них имен и фамилий (ни одной русской).

Для них это на самом деле была самая кровопролитная война. Кровопролитней Великой Отечественной, пардон, Второй мировой (хотя наши общие военные, боевые потери в ней все равно неизмеримо больше).

И — последняя, вернее, самая б л и ж н я я победоносная для них война.

Для нас же — еще и в связи с переменой двух строев подряд (кто сейчас, скажите, будет гордиться войной с Западом: на Западном фронте, по отношению к Западному фронту, сейчас у нас громадные перемены) — это действительно забытая, заспанная война. А ведь даже я на своем журналистско-писательском веку видел, застал в живых столько ее затененных, заретушированных меняющимися политическими конъюнктурами увечных, без особых отличительных пенсий, калек, полуразвенчаных героев и просто подпочвенных скромных участников!

Эта война, грандиозная, потому что в свое жерло втянула, ввергла всю тогдашнюю рефлексирующую Европу, — как бы не наша. Вернее, войны почему-то, любые, всегда наши, а вот Победа — чужая.

Всегда чужая. Великая, но — чужая.

Да и бывают ли глобальные Победы в тотальных войнах?

Я не просто бывал в этих местах — и на Марне, и на Сомме, и в городе Энн, и в том же Реймсе, в окрестностях Вердена («Вердун» — пишут французы), и в Льеже, и в Намюре — я их неоднократно проехал на машине. И даже частично прошел пешком.

Свидетельствую: в них Первая мировая, память о Первой мировой присутствует куда отчетливее, явственнее, чем о Второй. Она прямо оттиснута в них, как несдираемое, потому что по живому, тавро.

Но, повторяю, ни одной русской фамилии.

Уже одним этим, согласитесь, книжечка, которую я тут так обильно цитирую, способна запасть в душу.

И все же она в меня, в размякшую душу мою впечаталась дружим.

* * *

У меня не выходит из головы то, что я оказался первым и, скорее всего, последним читателем этой книжечки.

Она попала ко мне с неразрезанными страницами.

В принципе в этом нет ничего необычного. Мало ли как вековуют свой век старые, да и новые, книги. Уверен: немало из них так и остаются не прочитанными никем, кроме автора, да, может, редактора, если таковой имелся. Читателей на всех не настачишься.

Но — т а к а я книга? Ведь безвестная Лидия Крестовская наверняка только затем и писала ее, чтобы хоть немного продлить земное существование своего в клочья разнесенного мужа, продлить память о нем. Это же как последний выдох: поплыл, поплыл над замороженной землей — глядишь, где-то и зацепится.

Не зацепилось. Не проросло. А ведь прошло без малого сто лет. Ни единой живой души, если не считать меня, не коснулось это затухающее колебание чужого дыхания. Едва ощутимым пятнышком — так запотевают зеркальце, поднесенное в известную минуту к чьим-то спекшимся губам, — осело в моей несовершенной памяти пред окончательным своим испарением.

И я пытаюсь испаренье это хоть на миг — задержать.

Двести экземпляров тиража у книжки. Да по ней и так видать, что издана если и не на последнюю, то уж точно на медную вдовью денежку. Прочитал ли ее хотя бы сын, мальчик-с-пальчик из фанерного чемодана?

Иногда я и сам себе кажусь такой же вот престарелой вдовствующей идеалисткой Лидочкой Крестовской. Пишу, пишу — в пустоту. В ожидании разве что зеркала. Именно сегодня, часа два назад, и подумалось жизнеутверждающе:

В ладонях — куколь пепла,
В котором нет огня.
Хоть из меня он слеplen,
Но нет в нем и меня...

Мы давно разучились разрезать страницы. Правда, бумага уже такая ветхая, что чуть ударишь ребром ладони — и она уже сама собой расплзается по сгибам. Может, хотя бы внукам — вдруг все же заинтересуются? — когда-нибудь будет проще. Когда и книг как таковых уже не станет. Сперва исчезнут книги, потом письменность (вон, правила переноса слов ведь под диктатом компьютера уже похерены), а потом и язык — перейдем на всеобщее компьютерное эсперанто...

* * *

Неразрезанные страницы.

Конец семидесятых. Застой, сопоставимый с сегодняшним. Правда, нынче он именуется стабильностью. И еще одно отличие: сегодня мы застыли на очень разных этажах. Одни вознесены в поднебесье, другие, подавляющее большинство, вновь сброшены в катакомбы, выход из которых в России всегда один и тот же: по головам.

Чуть позже, в середине восьмидесятых, нам объяснят, что мы тогда, в конце семидесятых, жили не то чтоб совсем уж неправильно, но, как вам сказать, скучно, что ли. Взаимы у будущего. Знаете, есть такой расхожий современный анекдот. Поп едет в эсвэ. На полустанке к нему подсаживается интеллигент. Мятушная натура. И как раз подоспело время обеда. Дородный, полнокровный и полногласный батюшка раскладывает на газетке дорожную снедь: вареную курицу в промасленном макинтоше, картошку в мундирах, ломоть хлеба, пару луковиц — у вас еще слюнки не текут? В общем, все хрестоматийное, до самогона включительно. Скатерть-самобранка. И, не чинясь саном — это сейчас витальные православные сторонятся рефлексирующих интеллектуалов, — приглашает своего сублильного попутчика:

— Перекусим?

— Так сейчас же пост! — испуганно отшатывается интеллигент, которому, вообще-то, больше бы пришло быть атеистом.

Батюшка, пожав обширными раменами, промолчал и — убрал самостоятельно все до крошки и, разумеется, до доньшка.

Сидят, привалившись каждый к спинке своего дивана. Батюшка — так прямо припечатал свою, попутчик же — как гвоздь проглотил.

В соседнем купе, за спиной у батюшки, раздались задорные женские голоса, смех звонко очерчивает периметр больших и крепких еще духовных телес. Батюшка встрепенулся:

— Заглянем на огонек? — предложил соседу, показывая пальцем за спину.

— Что вы, что вы?! — смутился тот.

— Ну, как знаешь.

Вернулся батюшка под утро. Веселее прежнего и на обеих щеках — следы от губной помады.

Спутник же так и сидит — с гвоздем в пищеводе. Глаза только блестят лихорадочно.

Батюшка укладывается почивать, спутник же спрашивает горячим, срывающимся голосом — видеть, всю ночь вопросом мучился:

— Батюшка, скажите: правильно ли я живу?



Тот перестает стелить железнодорожную постель известной свежести, оборачивается, отдуваясь, и говорит вполне отчетливо:

— Живешь-то ты, дорогой, судя по всему, правильно. Но — бесполезно. Скучно...

Вот и нам потом назидательно объяснили, что жили мы с вами в семидесятых, оказывается, правильно, однако бесполезно. Во всяком случае — скучно.

Зато сейчас так чертовски весело! И полезно.

Все полезно, что в рот полезло.

Правда, если б не та, предыдущая, скучная жизнь, то и сегодня веселиться было б не на что. По валовому национальному продукту Россия до сих пор не может догнать Россию же тысяча девятьсот девяносто первого года. Проедаем не столько будущее, сколько прошлое.

И вот в самое что ни на есть застойное время оказался я под Пицундой, в журналистском Доме отдыха. Правда, приехал туда не отдыхать. Там проводился какой-то всесоюзный семинар, и меня командировали туда выступать.

Я уже и не помню ни темы семинара, ни темы своего выступления. Да и не о них речь.

Одна деталь, никак не относящаяся к семинару, время от времени всплывает и всплывает в памяти — боюсь, как бы и она не осталась со временем неразрезанной страничкой.

В журналистском Доме отдыха в те же дни оказался и молодой человек, прямого отношения к журналистике не имеющий.

Что, впрочем, не совсем так.

Он не был журналистом, но он к тому времени являлся героем многих газетных публикаций. Куда уж прямее! Это был молодой симпатичный врач, хирург, грузин или абхазец, по имени, кажется, Теймураз. Стройный, высокий, лучезарный. Такие бывают героями не только репортерских заметок, но и вполне художественных романов, особенно тайных, — журналистки к нему прямо-таки липли. Прославился парень тем, что, работая в больнице, в Прибалтике, кажется, в Шяуляе, сумел пришить и приживить стопу девочке, которая попала на сенокосе под «литовку» своего же отца. Об этом случае и об этом молоденьком докторе тогда и впрямь много писали. Думаю, и на журналистский семинар он попал в качестве почетного гостя. Я — в качестве выступающего, он — в качестве героя.

И в один из вечеров нас вместе повезли в Пицунду, в ресторан. Прием, собственно говоря, устроили для героя, прогремевшего на всю страну хирурга, меня же пригласили за компанию, для антуража. Я призван был обозначить московский, столичный фон. В Доме отдыха образовалась груп-

па грузинских журналистов, среди которых и мой товарищ, собкор «Комсомолки» в Тбилиси Николай Квижинадзе, во главе с секретарем их республиканского Союза — они и выступили закоперщиками сабантуя. Благо, что у кого-то из них в знакомцах оказался директор одного из здешних ресторанов — туда нас и повезли.

Секретарь республиканского Союза как раз и возглавлял нашу разношерстную кавалькаду. Седой, импозантный человек, постарше нас всех, которого все мы дружно и вкусно именовали «батонно». Не знаю, какой он там был секретарь, а вот тамада — прирожденный. Мы, русские, вообще многое потеряли в пьянках, разосравшись сдуру с грузинами. В одном из частных своих писем дотошный Пастернак подсчитал, что делегация Союза писателей из Москвы, из двадцати человек, за один вечер выпила в Тбилиси — при содействии отдельных местных классиков — двести бутылок вина.

Так это — члены Союза писателей. А что же говорить тогда о членах Союза журналистов! — они ведь и пьют чаще, в отличие от п и с а т е л е й, не кровью сердца и даже не чернилами, а сразу и исключительно — неразбавленным.

И тут, под предводительством седовласого мэтра велеречивости и чревоугодия, под скорбные звуки дудук пиршество во славу юного героя сразу нескольких советских, тогда еще вполне советских, народов, удалось. Директор ресторана, которого милостиво усадили рядом с героем дня — тамада справа, он слева, — тучный и всепрощающий, как Будда, светился довольством, словно это ему только что пришили самую существенную часть мужского организма. Другой бы на его месте закрыл заведение, он же, напротив, велел швейцару зазывать народ с улицы: смотрите, кто пришел!

Кто нашу бабушку убил...

И вправду: чем меньше, малочисленнее народ, тем больше он любит своих героев.

Нас же, русских, не поймешь: не то в героях у нас дефицит, не то в ресторанах.

Умело направляемый тамадою, разговор за столом — столов шесть составлены встык поперек всего ресторана — тек, не пресекаясь, как и вино, самыми прихотливыми путями.

Но в какой-то момент возникла пауза.

Она мне и запомнилась.

Пауза — и в вине, и в разговоре.

Я уже упоминал, что беседа перекидывалась с одного на другое, подчас совершенно не связанное с нашим всеобщим героем, сидевшим, как в меру смущенный жених (повенчанный непосредственно со славой), во главе застолья. И в какой-то момент

коснулась темы, которая подспудно жила тогда почти в каждом доме, но которой в праздности лишней раз вслух предпочитали не касаться.

А тут, наверное, градус подоспел.

Кто-то за столом заговорил о здешнем пицундском жителе, своем соседе, только что потерявшем сына в Афганистане.

* * *

Это и была тема, жившая, точнее — нывшая, поднывавшая тогда в каждом, но касаться ее в таких вот разноперых компаниях было как-то не принято. Опаска давала о себе знать, хотя времена стояли уже весьма слабительные. Да и опаска была не только прямолинейная, политичная, но еще и суеверная. У кого-то кто-то служил, уже воевал на той далекой, грозно чужеродной чужбине, у кого-то кто-то просто служил, офицером или на действительной, и мог в любой момент угодить в азиатское пекло. У кого-то попевала пора провожать в армию новобранца, и все помыслы были только об одном: не дай бог, т у д а...

Сглазить боялись — не столько власть гневить, сколько своего, преимущественно православного, Господа Бога. С л у ч а я опасались: не буди лихо, пока оно тихо.

А тут язык у кого-то из хозяев развязался — возможно, сыграло роль и присутствие журналистов. У «Комсомолки», кстати, тогда уже имелся собкор в действующей армии, и он, Володя Снегирев, к тому времени даже встречался уже с одним из самых отчаянных полевых командиров, вошедшим со временем в голову глобального афганского противостояния, Гульбеддином Хекматияром: из Володиного репортажа мне почему-то запомнилось, что Хекматияр был одного с нами, с Владимиром и мною, года — сорок седьмого.

Человек сказал, что его сосед получил известие о гибели сына в Афганистане. Что явилось поводом к этому сообщению, я не помню. Но слово было сказано.

Гробы уже прилетали оттуда. Их привозили в осиротевшие родительские дворы юные молчаливые офицеры. Гробы цинковые, запаянные, с двойными стенками. Их не велено было вскрывать — такая вот скрытая, нескрываемая, подземно тлеющая, как торфяной пожар на болоте, война. Те парни, в общем-то, и ушли оплаканными в половину голоса. Матери давали полную волю рыданиям разве что по ночам, да на самих кладбищах, где то в одном углу, то в другом — по всей стране — потихоньку, тоже вполголоса, появлялись, всходили, как из-под земли, «афганские» могилы, о происхождении которых

можно было догадаться лишь по страшной близости — ножичек не просунешь — дат на памятных, мраморной крошки, плитах. Да по керамическим портретам на них. Чаще всего это были увеличенные карточки, которые успели прислать сыновья с той самой афганской войны.

На карточках они чаще всего в голубых, лихо заломленных беретах или в широкополых защитных — в смысле защитного цвета, от чего там они могли защищать? — шляпах да с треугольниками тельняшек под широко расстегнутыми, расшпуненными гимнастерками нового образца — на том месте, где у них, еще живых, помещалась тогда душа.

На этих карточках они чаще всего еще и не понюхавшие пороху, еще даже не из войны — из учебок или из тех первых дней ее, когда еще кажется, что смерть — про кого угодно, только не про тебя.

Удалые, широко улыбающиеся лица. Просвет их белозубых улыбок куда шире, чем просвет отпущенных им дат.

Ни места гибели, ни причины, разумеется, на плитах не указывались.

И матери плакали не так, как рыдали они, наверное, в Великую Отечественную. Не называя супостата — может, потому что он, казалось им, находился прямо у них же за спиной. Я бы не сказал, что им зажимали рот. Просто подушка какая-то ощущалась всеми. Сорвет, снесет ее позже — Чечня.

Гробы долетали, а вот песни оттуда — нет. Это потом, уже после горбачевского долгожданного в ы в о д а заснут они — профессионально — над страной. Тогда же песни, еще самопальные, там и оседали, разве что иной счастливый и пьяньский «возвращенец», дембель в кругу разинувших рты желторотых недорослей, которым самим призваться завтра или послезавтра, рвал сперва тельняшку на груди, а потом и струны на гитаре.

Я был заместителем председателя Гостелерадио СССР и курировал молодежную редакцию ЦТ, когда в одной из останкинских студий записывали передачу «Солдатская песня» — так, по-моему, она называлась, и вела ее, кажется, та самая Регина Дубовицкая, тогда широкая, сильная, простонародно смелая, которая лет через двадцать станет весьма цивилизованной и субливной ведущей какой-то юмористической безделицы. И для участия в этой передаче Дубовицкая впервые пригласила какой-то солдатский самодельный коллектив непосредственно из Афганистана.

Я принимал эту запись и, скажу вам, такого наслушался! В том числе и по своему адресу, когда пытался что-то «смягчить» или «вырезать». Перед этим мне довелось «пропускать» в телеэфир одну из первых записей «Машины времени» — тогда, чест-



но говоря, чувствовал себя в роли цензора куда комфортнее.

Поворот... Машинист ведет... и т. д.

Теперь же, почти обматерив меня предварительно со сцены, Афганистан впервые запел — запел-таки, потому что я просто махнул рукой — в официальном эфире своим собственным, самодельным, ломающимся, но местами таким пронзительным и горьким голосом. Голос говорил даже больше, чем слова и тем более музыка.

После записи мы помирились: парни узнали, что я хотя и не воевал (в мои годы был Вьетнам), но тоже служил-таки в армии и что к этому времени, к восьмьдесят шестому году, имел ВУС (военно-учетную специальность) командира мотострелкового батальона. И, самое главное, — умею пить водку не хуже ихнего, что успешно и подтвердилось на «мировом» застолье, организованном после записи энергичной Региной прямо в студии.

...Да, сопровождающие гробы, «груз двести», юные лейтенанты бывали странно молчаливы даже после третьей: туркестанские рейды престарелого кавалериста Семена Буденного остались далеко в прошлом, и мы к тому времени крепенько подзабыли, что такое война с азиатами, — это сейчас жизнь вновь окунула нас в этот кровавый омут, устроила нам переподготовку. Чтоб не забывали. И не забывались. Тогда же эти лейтенантики, эти юные славянские стalkerы, вернувшиеся временно о т т у д а, уже знали нечто настолько несообразующееся с нашей тогдашней обыденной действительностью, что у них просто языки не поворачивались — даже после третьей, — не развязывались пересказать то, что, как правило, и стояло за сухим и скорбным известием.

И о чем, несомненно, догадывались только матери, чье сердце, как известно, — вещун.

Они, лейтенанты, и сами были запаяны, как девочки, двойной цинковой плевой.

Да их и посылали, как правило, с одним-двумя прапорщиками, по-моему, преимущественно для того, чтобы воспрепятствовать, ежели такая попытка случится, не дать обезумевшей от горя родне доставленного резануть автогенном по цинку.

Я знал одного из самых знаменитых «афганцев» тех времен. Молоденького офицера с совершенно добродушной округлой русской физиономией — при устрашающей фамилии П у г а ч е в. На нем живого места не было — разве что кроме того пятнышка в верхней левой доле груди, на котором он, полгода отвалившись предварительно по госпиталям, носил новенькую золотую Звезду Героя. Утверждаю это даже не с его слов: мы с парнем оказались вместе в командировке в Якутске, в одном гостиничном номере, и когда он раздевался, с трудом задирая спер-

ва одну руку, потом другую, из-под рубахи медленно-медленно, тоже с трудом вылезали, выползали такие страшные, рваные лиловые рубцы, что на них даже смотреть, а не то что щупать их, было больно.

Ничего особенного Пугачев мне тоже не поведал — ни после третьей, ни после последующих. Разве что о какой-то расстрелянной душманской свадьбе, да еще о том, что ему однажды пришлось запалить зрелое пшеничное поле. Только так и можно было проверить, есть там засада или нету. С большим, крестьянским и почти трезвым сожалением говорил про то, как горело это поле. Пшеничное — про коноплю и мак тогда и в Афганистане как-то слышно не было.

— Дым и гарь от него точь-в-точь как от пороха. Или тротила...

Вот и все, что сказал.

Я это тоже знал — мне тоже доводилось видеть горящие пшеничные поля. Только я, вместе с другими, тушил. А он — поджигал. И, сам внутренне обжигаясь, смотрел. Пламя над пшеничным полем, особенно в безветренный зной, скажу вам, совершенно стеклянное, сухое, прозрачное, колкое. Страшное.

Такая вот Пугачевщина.

И такая вот война — в цинке всеобщего молчания.

А тут вдруг зашла речь.

* * *

— ...И вы знаете, что он надумал? — продолжил заведший этот разговор человек за столом после длительной таки паузы (тоже осколок, гремющий лоскут молчания, тронутый таки автогеном).

Я чуть не подумал, что речь идет об убиенном. Что он мог надумать?..

Нет, речь шла о живом. Об отце.

— ...Взял удочки и пошел на речку... — Говорящий со значением назвал какую-то местную речушку, имя которой я уже не помню. Может, Псоу, может, Бзыбь или Пицунда, если таковая в этих краях имеется.

Местные из числа сидевших за столом заметно напряглись.

— ...И встал на берегу. Прямо напротив дачи...

Заурядное слово «дача» (хотя у большинства из нас их тогда и в помине не было) тоже произнесено с большим значением.

— Это заповедник, — склонился к моему уху сидевший рядом Коля Квижинадзе. — И речка заповедная. Там нельзя рыбачить, — шептал мне Николай. — Только для тех, кто с госдачи. Брежневской...

— ...Так и стоял — до самой ночи... Как ни пытались его увести, он ни с места. Окаменел. Не сдвиг-

нуть. Уставился в поплавок, а сам ничего не видит и ничего не слышит.

Долгое-долгое молчание воцарилось за только что безмятежным и шумным кавказским столом. Каждый на какое-то время уставился перед собой на невидимый поплавок. Каждый — в который раз — подумал про себя об этой странной, далекой и, оказывается, такой вот близкой войне. Войне, обернутой в молчание, как просвещенные убийцы обрачивают тряпкой обушок.

Я же сейчас, задним числом, думаю и о другом. Это как же надо было верить в святость и неприкосновенность «заповедных» мест, чтобы небольшая таки компания довольно интеллигентных людей, пусть даже на некоторое непродолжительное время, удивилась такому, в сущности, пустяку — браконьерству.

А отец погибшего? Тогда мне подумалось: ему просто необходимо стало совершить некий поступок, чтобы отвлечься или, наоборот, сосредоточиться. И он его совершил, сделав первое, что пришло в голову. Взял удочки и пошел. Может, даже и ведерко с собой прихватил.

Сейчас же думаю иначе.

Известие о гибели на чужбине сына из Homo soveticus сделало просто Homo. Слетело наносное, нанесенное, фальшивое и — вылупилось натуральное. Человек, позабыв все несущественное, осмелился — чтобы спастись, п е р е м о ч ь беду — стать самим собой.

Вряд ли Брежнев в тот момент был на своей даче, кстати, даже более любимой, чем Нижняя Ореанда. А если все-таки по какому-то язвительному совпадению оказался? Вот бы посмотрели они друг на друга! Один с резного приморского балкона, в белоснежной и тонкой, продувной рубашке-апаш, другой... Генсеку, пожалуй, нечего было опасаться — из тех беспросветных копеек глаз не поднять. Тем более — на небеса.

По большому счету мы все на этом свете — без вести пропавшие. Крестовские. Платим своими жизнями бог знает за что. Чаще всего — чужое или чуждое. И единственное, что обозначает наше исчерпанное существование (это как слабое дрожание желтка на месте морского самоубийства луны), единственное — это чье-то горе по нашему исчезновению. Нет, не пресловутая память как таковая, даже вечная, а только живое, натуральное, мучительное горе горькое.

Которое никогда не бывает и не может быть ни вечным, ни всеобщим.

Вот покамест оно хотя бы в ком-то одном, в одной-единственной душе Лидочки Крестовской, длится, пульсирует, вот до тех пор и дрожит нечто,

живет на месте нашего подводного — или подземного, это уж кому как предписано — исчезновения.

И все. И никаких других поплавок.

* * *

И где же этот город Армянск, в котором за церковной оградкой лежит еще один мой дружок, Валера Иванов?

Еще один, потому что одна живая и довольно близкая мне душа десятью годами раньше уже упокоилась на тихом церковном кладбище в одном из старинных сел на границе Московской и Смоленской областей. Тамара Войнова, с которой я работал в юности в одной краевой молодежной газете, а потом, в уже зрелые годы, судьба на некоторое время вновь свела нас на общей работе, но теперь уже в Москве. Странно: разваливая огромную страну, а заодно и миллионы отдельных маленьких жизней, слепой и беспощадный Молох, приверженец огромных чисел и глобальных встрясок, сплошь и рядом разносивший людей на тысячи километров друг от друга, а то и просто по противоположным временным и социальным пластам (какую-нибудь двуногую стрекозу потом найдут в окончательно прозеленевшей и оплавившейся головке сыра «Рокфор» и посчитают, что она и впрямь жила в золотом веке), иногда, забываясь, как при громадном кораблекрушении, все же бросает одиноких утопленников посреди необозримых погибельных волн прямо друг к другу. Чудны дела твои, Господи...

Тамара погибла при штурме «Норд-Оста». Ее в числе сотен других заложников спасали, а на поверку вышло — погубили. К тому времени Тамара оказалась безродной, да и мы с нею к тому времени опять надолго потерялись в жизни — даже о ее смерти я узнал за полторы тысячи километров от Москвы. Меня, видимо, нашли по ее записной книжке — вот Тамару и похоронили так, как хоронят святых да блаженных. В одной из своих вещей я уже писал о ней.

Принявшая мученическую смерть, Тамара не была ни сильно святой, ни блаженной. А вот Валера...

Он похоронен при церкви, потому что при церкви и жил. Как некогда один безмолвный московский дурачок тихо п р и ж и в а л при Покровском, «что на рву», соборе, который вскоре после его, дурачковой, смерти стал именоваться его же, своего безгласного юродивого, именем.

Василием Блаженным.

Как знать, может, со временем и армянская (на Руси немало крохотных, заштатных, ноготковых



городков с совершенно величественными, с чужого плеча названиями) церковка наречется моим другом Валерой Ивановым? А что? — не знаю, как там насчет имени, а фамилия ведь и впрямь вполне подходящая.

Не знаю, не знаю...

С Валерой я познакомился тогда, когда он не был еще ни убогим, ни верующим.

И даже непьющим еще не был.

* * *

Итак, мы служили действительную. Я начинал службу военным строителем, всего-то вооружения у которого — БСЛ-120. Большая саперная лопата длиною, от штыка до цевья-приклада, сто двадцать сантиметров. Это после меня переведут в штаб управления инженерных работ и дадут на погоны общевойсковые звезды. А пока даже на погонах у нас эмблемы с миниатюрным шанцевым инструментом на них. «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор...»

В сборно-щитовой казарме военно-строительного отряда, той самой, которая при пожаре сгорает за четыре минуты пятьдесят секунд (вот почему — учил нас старшина Ракитский — одеваться-обуваться и выскакать из нее вон военный строитель должен куда стремительнее, чем какой-нибудь сраный ракетчик, что сидит в подземном бетонном бункере, или недоделанный танкист, у которого по-любому четыре сантиметра жизни, броня над головой, — это все дословные выражения старшины сверхсрочной службы Ракитского, каковыми он щеголял, вышагивая перед нами, замурзанными и вечно невыспавшимися, с секундомером в руках), да на землеройных изнурительных упражнениях с той самой БСЛ-120 я с ним, Валерой Ивановым, и познакомился.

Знакомство произошло при чрезвычайных обстоятельствах. Шли наши первые армейские дни. По-моему, мы еще не закончили так называемый курс молодого бойца и даже присягу пока не принимали — на верность той самой Родине, которой сейчас давным-давно и в помине нету. В тот день пришли в казарму с очередных землеройных работ. А это, скажу вам, куда круче, чем марш-бросок по несильно пересеченной местности или совершенно нелепые с точки зрения нашей дальнейшей профессиональной, строительной деятельности, строевые (не путать со строительными) упражнения: глупость и никчемность их настолько очевидны, что в нашем военно-строительном батальоне даже плац как таковой не предусмотрен — просто утрамбованная ежеутренней тысячью ног глинобитная аллея, с одной стороны возле которой, за-

меня несуществующие деревья, стояла временная, как и наша казарма, щитовая трибуна, с каковой ежеутренне и здоровался зычно с нами наш комбат подполковник Решетников. В войну он был артиллеристом, командиром батареи, а вот после войны и хрущевских сокращений, еще полный сил и вполне бравый, очутился среди тех полувоjak-полурабочьяг, кто те самые, так легко разносимые не бог весть каким калибром, вероятные «цели» и соружал. Строил. Карточные домики.

Правда, ракетные шахты, которые мы «копали» в окрестностях городка Тейково, что в Ивановской области (это враки, что в здешних краях дефицит женихов. На каждую ткачиху в городке, специализировавшемся на производстве портянок — я их застал, как застал и солдатские гимнастерки фронтового, русского, косоворотного, со стоячим воротничком, обшивавшимся изнутри белым материалом, который к вечеру у нас, военных строителей, становился неизменно черноземным, вот-вот и озимые прорастут, — приходилось по десятку солдат, самые влюбчивые из них и развозили потом девчат по всему Союзу), наши ракетные шахты карточными не назовешь. В отличие от панельных многоэтажек, которые мы же и возводили наспех, тяп-ляп, для офицеров и сверхсрочников, эти самые шахты обслуживающих. Вот они-то рухнули бы не только под любым вражеским артиллерийским залпом, а просто под самим враждебным, полевым биноклем усиленным, взглядом.

Мы пришли с первой смены — как раз и строили очередную панельную халабуду в офицерском городке Красные Сосенки, — умывались и приводили себя в мало-мальски если не военный, то хотя бы человеческий вид. В напряженном и нетерпеливом ожидании команды «На рубон!» я, как водится, замешкался и вошел в казарму, когда она уже была полна. И поразился странной тишине в ней. Обычно в такие минуты казарма гудит, как улей (который тоже горит, наверное, четыре минуты пятьдесят две секунды). А тут — тишина. Все замерли, как в кинозале в момент чапаевского заплыва. И все устали куда-то в одну точку: выплывет на сей раз или опять, чертяка, потонет? Любой солдат шестидесятих совершенно свободно может сделать вам безупречную раскадровку «Чапаева» — нигде не показывали его так часто, как в солдатских клубах.

Иду, недоумеваю, по неширокому проходу между двумя рядами двухъярусных железных кроватей с панцирными сетками, что пришли уже на смену нарам, в направлении своего собственного спального места. Кстати, проход этот назывался у нас взлетной полосой, и дневальные драили его с особым усерди-

ем, ибо именно по его состоянию старшина Ракитский поутру определял, достоин дневальный наряда вне очереди или, к сожалению, нет.

Иду и по ходу начинаю понимать, что всеобщее напряжение как раз и концентрируется где-то в районе моей кровати.

Подхожу, озираясь по сторонам на очень сосредоточенные — некоторые так прямо с разинутыми ртами — и пока еще в меру чумадые лица.

Кто там к нам пришел?

Кто нашу бабушку убил?

И вижу.

Картину, достойную духоподъемной кисти Александра Дейнеки.

Вот, оказывается, кто к нам пришел. Вот кто, оказывается, нашу бабушку прибил.

В совсем уже тесном, двум задницам не разминуться, проходе между двумя парами кроватей — на верхнем этаже одной из пар как раз и бывал я сам — стоит в нерешительности парень, которого мы с первых армейских дней прозвали Зэка. Уже тогда в стройбат собирали, как в штрафбат, все обсевки по всем закоулкам и сусекам большого Союза. И тогда же среди призывников, потенциальных стройбатовцев, как правило, перестарков наподобие меня, стали появляться и первые отсидевшие, в основном за хулиганство, условники и прочий суррогат. Дело не только в уже обозначавшейся нехватке призывного материала. То было время, когда по инерции еще считалось: армия — перекует. Перемелет — мука будет. Скольким парням она давала навыки не только дисциплины, но и профессии. Даже наши деревенские — уходили трактористами, а возвращались, футы-нуты, ножки гнуты — шоферами. На целую ступеньку выше. Даже матери еще подчас сами себя утешали: в армию пойдет — человеком вернется.

В моем проходе и стоял, набычившись, такой вот будущий человек...

Наш Зэка — довольно крупный мальчик, да и возрастом, пожалуй, постарше всех в казарме. В советских тюрьмах, видимо, неплохо кормили: он уже обложен жирком, как ватином, и даже брюшко над солдатским ремнем уже сдобным припеком слегка нависает. И все же при всей его внушительности и бычьей изготовке в глаза сразу бросается не то чтоб совсем уж нерешительность, а некоторая до того никогда не водившаяся за ним задумчивость, что ли. Даже в том, как сошлись складки на жирном и плоском лбу.

Прямо перед ним, упруго подтянувшись на руках и опершись локтями в одну и в другую железные рамы двух сопредельных кроватей верхнего яруса, в том числе и в мою, вытянув ноги под прямым углом и почти упираясь ими, то есть преимущественно двумя тяжелыми кирзовыми сапогами, в обширную

Зэкову грудь, в какой-то совершенно гимнастической позе, словно готовясь к отчаянному маху на перекладине, застыл, закусив побелевшие губы, Валера Иванов.

Костлявый, тщедушный — самое грозное в нем и есть вот эти кирзовые, с налипшей на них строительной грязью, чёботы, — без какой-либо сдобы ни сзади, ни спереди. Укусить даже не за что, а если и укусишь, то сразу же с остервенением выплюнешь: несъедобно!

Но весь уже, как боек, взведен — вот в нем-то никакой, черт возьми, нерешительности! Сплошная, отчаянная решимость. Самое значительное во всем его лице — глаза. При общей мелкости и заурядности веснушчатых черт, как на копеечную сдачу полученных, глаза — рысьи. У нормальных людей они к вискам сужаются, а у Валерия — расширяются. Какие-то разомкнутые, делящиеся в пространстве. Вообще-то серые, пепельные, но в эту минуту пепел с них как будто бы сдули. И там, со дна, такое сверкнуло! Как из тигля, где плавят даже не золото, а непосредственно — бешенство. Химия. Химическая реакция бешенства в самом что ни на есть наглядном, обнаженном виде.

Зэка и остановился, по-моему, перед этим, загнанной рыси, взглядом. Хотя загнанной рысь даже представить невозможно. Это она загоняет жертву — взглядом.

При всей своей тщедушности Валерка, повторяю, костляв. Если и кулак, то состоящий из одних только побелевших выпуклых костяшек. И жилист. Используя не просто солдатские, а еще и военно-строительные, стройбатовские, пудовые сапоги в качестве стенобитного орудия, кирзовой катапульты, он может, конечно, разжаться, спружинить и садануть в уже приправленную сидячим жирком супротивную грудь. Мало не покажется.

Но остановили Зэка, конечно же, не кирзачи...

— Что тут происходит? — спрашиваю, подойдя вплотную к своему спальному месту.

Если разожмет сейчас и ударит, то Зэка, не ровён час, рухнет прямо на меня.

— Ничего, — хрипит рысь человеческим голосом.

Казарма разочарованно переводит дух — как же не вовремя я тут нарисовался! Всю малину... — ну и дальнейший общеупотребительный глагол вы и сами знаете не хуже меня. Казарма уже предвкушала замечательное развлечение, и тут — облом. Нет ничего обиднее прерванного акта. Даже в спектакле.

Стычки случались в те первые месяцы сплошь и рядом. В стройбат подметали не только не очень строевых русских, но почему-то и вполне здоровых, даже без плоскостопия, западных украинцев — впрочем, их понятно, почему. Некоторые из



них отказывались принимать присягу с оружием в руках, объясняя это не столько эфемерными тогда националистическими приверженностями, сколько вполне реальными религиозными верованиями: неслучайно львиная доля православных священников и сейчас в России имеет «западенские» корни. Гребли сюда и разного рода азиатов. И — вот тут действительно непонятно — грузин. У нас в батальоне была даже целая рота, почти сплошь состоявшая из грузин. Причем рота старослужащая. Они даже на утреннем разводе маршировали уже не в ногу, всяк по себе, и расхристанные, как партизаны наполеоновских времен. Давали в морду каждому, кто вставал на их пути — покамест на их пути не встали... нет, не чеченцы. Чеченцев — памятник генералу Ермолову в Грозном был единственным монументом в СССР, который взрывали в те годы с самоуверенным постоянством, — тоже чаще всего призывали в стройбат. И я тоже часто соседствовал с ними на протяжении своей армейской жизни, особенно почему-то когда почти непосредственно из землекопов оказался в штабе Управления инженерных работ. То есть в штабе дивизии, по общевойсковым понятиям. Сменил погоны с мастерком и киркой (надо бы — с лопатой) на эмблемы с общеупотребительной и куда более престижной звездой и был определен на жительство (в самом деле исключительно на жительство, ибо я там никому не подчинялся; то было самое независимое время во всей моей угрюмомозависимой жизни). Чеченцы в те, мои времена были большими дипломатами... А вот по части ответно дать в морду куда приспособленнее оказались дагестанцы, которых тоже гребли в стройбат почти что шуфельной лопатой.

Вот они-то и успокоили грузин.

Василию Павловичу Мжаванадзе, первому секретарю ЦК Компартии Грузии, кандидату в члены Политбюро, звонит первый дагестанского обкома (фамилию забыл уже хотя бы потому, что по сравнению с Первым Грузии, всегда почему-то, со Сталина, даже не кандидатом, а ч л е н о м П/б, все остальные номенклатурные кавказцы воспринимались мелкими сошками). И говорит:

— Дорогой Василий Павлович! Горячее спасибо (на Кавказе не могут без горячего) за историю Грузии в пяти томах, которую ты мне любезно прислал в подарок. Я с восхищением ее прочитал. Но позволь указать на одну ма-а-ахонькую обшибочку.

— Какую? — насторожился Василий Павлович: где это видано, чтобы даже не кандидат указывал на что-либо полному ч л е н у .

— Твои ученые пишут, что в таком-то веке дикие, необузданные полчища дагестанских племен захва-

тили и разорили цивилизованный и процветающий Тбилиси.

— Ну и что? — расслабился член, хотя члену предпочтительнее бы никогда не расслабляться. — Это ж когда еще было. Быльем поросло. В чем ошибочка-то вышла?..

— Не захватили, а т р и ж д ы захватывали. Разорjali и даже, извини, насильовали...

И, подлец, кладет трубку. Даже до свидания — члену — не говорит.

Так и у нас.

Как только один дагестанец, кстати, именно из нашей роты, трижды прогнал одного старослужащего грузина, чьи развевающиеся — это при том, что грузины даже в армии оставались стилистами номер раз, — выгоревшие солдатские шмотки от быстроты страха и, соответственно, бега, трепыхались, как куриные обрезанные крылья, вокруг деревянной, опять-таки, щитовой (вот она-то уж точно горит даже быстрее пчелиного улья, потому как стройбатовец ест еще быстрее, чем одевается-обувается) столовой, грузины стали как шелковые. Алмаз и пепел имеют одни и те же составляющие, но — в разных молекулярных конфигурациях.

Вот и у грузин — не только у этого, конкретно, очень нелепого уже хотя бы потому, что был он намного старше и г р у з н е е преследователя: мои предшественники служили по три года — родовая молекула вмиг перестроилась.

Тише воды стала, ниже травы.

Потому что грузин-то бежал налегке, а вот дагестанец за ним — с лопатой. Чуть-чуть не достал. Не достиг — в исторической ретроспективе. В соседнем батальоне грузин бегал, тоже с лопатой наперевес, за русским: так фронтовик майор Кибенко, тамошний начальник штаба, оказался у нас в батальоне, с понижением, командиром роты, — а тут уже бегали за грузином.

Дагестанцы.

И на этом — как бабка пошептала. Грузины, даже старослужащие, стали вполне мирными. Цивилизованными.

В нашей роте дагестанцев тоже немало. В пылу неизбежных мелких междоусобиц первых армейских дней они даже грозились как-нибудь перерезать нас, русских. И даже очень энергично черкали ребром ладони по собственной, для начала, шее, показывая, как, стало быть, сверкнув в ночи горячими очами, нас порешат. Особо отличался маленький, коренастый вчерашний чабан по имени Абубакар. Абрек — голомызая, новобранцевская голова его глядит классическим чинариком. Неправильной, плоскова-той формы тверденького чинаричьего ореха. Позже мне объяснили, почему у горцев такие «примятые»

головы. В младенчестве мальчиков здесь пеленали предельно туго, чтобы они сызмальства чувствовали себя мужчинами. Не дергаться! Не перекачываться с боку на бок! Не суетиться! Положили тебя солдатиком, так — солдатиком, уравновешенным покойничком, и лежи. Учись: выдержке и самообладанию. Абубакар сверкал, зыркал, компенсируя свой совсем не грозный, вечного замыкающего, что всегда догоняет, спотыкаясь, общий строй, рост, непревзойденно. По-наполеоновски. Как Бэла — на Печорина. Да и с ножом привык управляться с пеленок. Пару месяцев спустя, когда мы сдружились, он просил меня показать ему кой-какие приемы из бокса.

— Я тебя сейчас стукну, — отнекивался я, — а ты меня после ночью пырнешь...

— Не болтай глупости, — строго отвечал не такой уж и грозный, как выяснилось, Абубакар.

Да, стычки, неизбежные уже в силу тесноты проживания, со временем сошли на нет. Как между самими русскими — среди нас тоже была парочка отпетых ростовских уркаганов, которые при любой мало-мальской заварушке тоже лезли в карман во все не за словом, — так и на почве межнациональных, как нынче принято говорить, отношений.

Напряжение постепенно ушло, и тому в немалой степени способствовала сама разновидность нашей армейской службы — тяжелая физическая работа. Она уже сама по себе не располагала к длительному выяснению отношений. Особенно если учесть, что в этой р а б о т е — а не службе — мы очень крепко зависели друг от друга и в казарму являлись не чужие ни рук, ни ног. Это при том, что ноги у нас, обутое помимо кирзы и портянок еще и в бетон и глину, были и впрямь неподъемные.

Да, все несущественное, включая национальную спесь, помаленьку сошло на нет.

Но в описываемый момент напряг еще существовал по всем направлениям. И я был больше поражен не самим фактом назревания драки, а только слишком уж очевидной разницей весовых категорий. Я не собирался вмешиваться в конфликт, но Зэка, секунды две поразмыслив, смачно, с явной примесью косяка в слюне, сплюнул прямо на Валеркины четко нацеленные кирзачи, развернулся и, не глядя на меня, двинулся вразвалочку куда-то к своей кровати.

Рысь в весе кролика прыгнула на пол.

И протянула мне лапу:

— Привет!

Хотя мы только что рядом стояли раком в траншее.

Он больше ничего не сказал мне, а я ни о чем не спросил. Заметил только, что подушка моя на втором ярусе перевернута и из-под нее выглядывает потрепанный корешок книжки, которую я тогда

читал. Читал перед отбоем, если хватало сил после стройбатовского чернорабочего дня, и за несколько минут до подъема, который старшина Ракитский самолично возвещал нам ровно в семь. До сих пор помню название книги — «Вся королевская рать». Роберт Пенн Уоррен.

Неужели малограмотный Зэка посягал на нее?

Будь там, под подушкой, кошелек, я не уверен, защищал бы Валерка его столь самоотверженно, как «Всю королевскую рать», которая в шестьдесят девятом еще была в СССР весьма пикантной новинкой.

И неужели Зэка, с его-то опытом, мог спутать корешок книги со свиной кожей какого-нибудь солидного, упитанного портмоне? Не может быть! Как не мог он не понимать, с его-то овчарочьем, что под вышкой, нюхом, что у таких, как я, не то что под подушкой, но даже и в кармане извечно и неукоснительно — блоха на аркане. Теперь-то, под занавес жизни, я понимаю: Зэка тоже страдал бессонницей — это он впоследствии, когда всеобщее примирение, притертость всеобщая увлекли и его, научил нас делать и пить чифир — и его занимало, во что там вылупляется по утрам (настоящие, заслуженные бессонницы настигают нас, как нераскаявшихся преступников, под утро) этот длиннобудыйный очкарик? Злоумышленником наверняка двигала во все не жажда знаний, тем более что художественная литература ничего, кроме усталости души, по себе не оставляет. Правда, усталость, даже металла, и есть самый твердый эквивалент з н а н и я. А двигало им, скорее, только любопытство. Или привычка. Не исключаю, что он давно обшарил в казарме все остальные подушки, матрацы и даже тумбочки, и просто очередь дошла до меня. А тут этот сраный гимнаст в кирзовых сапогах, блоха на перекладине. Тоже мне — Ольга Корбут с провисшими яйцами: плюнуть и растереть.

Зэка и плюнул, и растер. Но так же, как сама жизнь начинается со случайного впрыска (обратите внимание: с л у ч а й и с л у ч к а столь же коренные, неразлучные, как ж и з н ь и с м е р т ь), так и наша с Валеркой дружба, можно сказать, взошла, оказалась вызвана к жизни, унавоженная этим жирным, наваристым плевком.

* * *

Валерка был рабочий. Но рабочий не из простых. Не разнорабочий. Он к тому времени окончил даже не профтехучилище, а техникум и уже работал аппаратчиком ш е с т о г о разряда на химкомбинате в городке Болохово Тульской области. Это был рабочий, каких сейчас, увы, нет. Лет пять назад я в свите одного большого — на тот момент — начальника оказался



в Королеве на закрытом предприятии, обслуживающем космическую отрасль. В скобках замечу, что лет тридцать назад почему-то именно на этом объединении я читал «лекцию» будущим советским космонавтам. Работал тогда на телевидении, а в те времена каждый, кто хотя бы вполборота, как на витринах угрозыска, появлялся в кадре, тотчас становился знаменитостью. Ф и г у р о й. И вот меня, по тем временам тоже фигуру, а не штафирку свиты, облепили в какой-то профкомовской комнатенке складненькие, коротко стриженные, генетически, как мне тогда казалось, исключительно из ткачих (хотя там, как позже выяснилось, была и дочка маршала авиации; впрочем, это сейчас у нас маршалы из генералов, а тогда они и сами вылуплялись из «простых»). Юные и любознательные космические затворницы. Не то монахини — в мини-юбках, — не то еще послушницы. По должности я числился обозревателем. Но в тот момент не я обозревал, а меня. Да, послушницы не столько слушали меня, сколько цепко и лукаво обозревали, и вовсе не из любопытства ко мне как такому, а скорее — примеряясь к собственной будущей славе. В том числе и телевизионной.

Теперь уже после скобок. Заместитель генерального директора объединения водил нас по предприятию, где большая часть хитроумных и з д е л и й находилась в состоянии, ну, так скажем, недоизделий. В недоделанном состоянии. И разговор соответственно шел не очень бодрый. Предприятие искало лоббиста на государственном уровне — человек, ф и г у р а, которую я сопровождал, и был залучен сюда с этим прицелом. Неловко было ходить за ним безмолвной тенью — память сразу же припомнила мне, как же велеречив был я в этих же железных вертоградах тридцать лет назад — и я, улучив общую паузу, тоже встрял с вопросом:

— Во что еще, если не считать денег, больше всего упирается сейчас наша космическая отрасль?

Заместитель директора, академик, пожилой и красивый, как ветеран мхатовской сцены, крепко задумался. Неожиданно крепко для вопроса, заданного не ф и г у р о ю, а подтанцовкой. Но, видимо, такого рода, такого происхождения вопросы не предполагают дежурного официоза в ответах. И дают некий допуск искренности. Может, поэтому они и требуют чуть большей задумчивости: одно дело отвечать, делая два шага из строя, и другое — в солдатской курилке.

— В отсутствие токаря двенадцатого разряда, — отвечивал ветеран космической, что всегда у нас является одновременно и политической, сцены после мхатовской же паузы.

В токаря двенадцатого разряда! — оказывается, есть такие допуски и такие сопряжения алмазного

резца и неподатливого металла, которые ловят не автоматика, не числовое программное управление (может, это сопряжение человека с автоматикой, живого с неживым?), а — только венец природы.

Вот они почему и падают, наши космические спутники — нету у них надлежащего с п у т н и к а земного. Токаря двенадцатого разряда. Нету — и в скором будущем не предвидится.

Ибо супертокарь выходит вовсе не из профтехучилищ, которые все сейчас распроданы под ночные клубы (честно говоря, на пэтэушниц и во времена моей юности был особый спрос, причем опять же в ночное время и не только в производственной сфере). И ими даже редко становятся на протяжении одной жизни. Это — династическая, родовая профессия. Вернее, степень овладения профессией. Однажды в «Комсомолку» на встречу с редколлегией приезжал знаменитый ленинградский токарь, точивший, по-моему, турбины на Ижорском заводе — до него там работал и его отец, и даже его дед. Правда, когда встреча переместилась уже в буфет редколлегии, где командовала наша незабвенная и необъятная Глафира, тоже из простых, но не простецких, токарь золотые руки признался, что прежде чем достичь совершенства в микронах, надо совладать с граммами. Женщины из числа редакционного начальства не поняли. А вот мужчины, крепко подержанные всеведущей Глафирой, аж с мест повскакали от восторга и понимания.

— Переберешь накануне — рука дрожит...

— А не доберешь? — в один голос потребовали мы вождельного продолжения.

— Прوماжешь, — скорбно улыбнулся токарь — член — ЦК.

И мы дружно налили, даже женщинам. Чтоб, значит, в случае чего не мазали.

...Когда я услышал насчет двенадцатого разряда, я ужаснулся. Ведь я еще помнил, что сам начинал самостоятельную жизнь — нет, не токарем, но — слесарем второго разряда. Это же какая пропасть — в десять разрядов! — разделяла меня и того, ныне отсутствующего, парня, а скорее деда, в которого упирается сейчас сам космос. Деды вымерли, и космос стал почти недосыгаемым. Даже воинственная «Булава» не летит.

Такие — либо из династии, либо — производные таланта.

Валерка и был талантлив если не как бог, то — как аппаратчик шестого разряда. Большого на химических предприятиях не бывает.

Вряд ли в Валеркином роду бывали «химики» до него. Еще и потому, что сама «большая химия» появилась в СССР к тому времени сравнительно недавно. Он и в жены себе выбрал миловидную и

пухленькую — это не в коня корм, а кобылке, как однажды заметил Владимир Набоков, все полезно, что в рот полезло, — аппаратчицу Раису, с которой я тоже позже познакомился. Такая вот юная «аппаратная» семья образовалась. Аппаратчица так скучала по мужу и так опасалась соскользнуть нечаянно в чужие завидующие руки, что вскоре даже приехала вслед за ним к месту его службы, устроилась неподалеку в местном совхозе дояркою. Валерка позже то и дело бегал к ней и в самоволку, и в увольнительную. Иногда брал с собою и меня. И я, тоже за компанию энергично и сытно накормленный ловкой аппаратчицей, сменившей химический аппарат на доильный, с молчаливой завистью — тоже с завистью! — наблюдал откуда-нибудь из угла их насупенный облепленный дешевыми обоями комнатенки за ласковым ходом чужой семейной жизни.

Валерка не династического происхождения, из самородков, что редкостно вдвойне. Он вообще из тех работяг, на которых не только космос — на таких страна держится.

И разваливается, исчезает, когда они исчезают.

И я еще не знаю, защищал бы он так мою подушку, если бы под нею лежало, скажем, портмоне. «Гаманок», как говорили тогда в казарме. Он из тех работяг, которые почему-то интуитивно тянутся к книге. Она у них вызывает неизъяснимое уважение, как будто каждая является по меньшей мере Библией. Это работяги с поразительно умными, зрячими, рабочими и практическими руками — не знаю, как там насчет блохи, но свою кобылу, натуральную, которая появилась-таки у него в распоряжении на одном из этапов жизни, о чем я скажу позже, Валерка подковывала самолично. Но при этом они с большими фантазиями в голове. В том числе и по поводу нашей, интеллигентской шати-братии. Эти рукастые и незаменимые зачастую обладают феноменальным недостатком: благоговением перед безрукими. Перед безрукими, но головой пребывающими, вроде бы, в верхних слоях атмосферы (хотя я знаю столько «безруких» и воспаряющих, которые в натуральной, наземной жизни дадут сто очков любому дитяти подземелья: нет никого практичнее и даже пройдошнее записного профессионального идеалиста). Настоящие виртуозы физического труда нередко пасуют перед тем, что у к а м и создать и даже потрогать невозможно и что кажется им, властелинам материальной жизни, производным почти что святого духа.

Валерка относился именно к ним. И меня любил уже за одни эти бессмысленные и по большому счету бесполезные предутренние бдения. За сны, взятые займы у сна. Я как-то писал уже, что мне довелось быть знакомым с Дэн Сяопином. Шапочно, я с ним

по существу двух слов не сказал, меня больше всего и не слова его поразили. Поразили больше всего глаза. Крупные, лупатые, светлые, совершенно не китайского происхождения (все китайское, кроме геополитического положения, сейчас вообще вызывает скептическую улыбку, и это новейший парадокс: все, сделанное ими по отдельности, из рук вон плохо, а в целом — вторая экономика в мире; экономика пока вторая, а пассионарность так и вообще первая, хотя нация такая древняя, что по всем гумилевским постулатам давно должна одряхлеть всеми своими членами). Дэн вяло, уже почти по-патриаршьи, по-папски подавал вам маленькую, мягкую — а ведь тоже начинал когда-то вместе с юным Хошиминим слесарем на парижском заводе «Рено» — руку, а сам вглядывался в вас с таким молодым, неистребимым и цепким любопытством (это при миллиарде-то подданных — тут не то что один отдельный человек, тут все человечество уже давно бы осточертело), что просто оторопь брала. А с его помощником, тоже не очень типичным китайцем — рослым, высоким и странно светлым, как высветляются к глубокой старости породистые люди и очень породистые звери, особенно волки, познакомился поближе. Ужинал и даже беседовал — через переводчика, за одним столом. И тогда же, за ужином на восхитительной, из бамбука вывязанной и живыми, пряно пахнущими цветами оплетенной китайской веранде, я спросил помощника, чем занимался его патрон, будучи интернированным в годы культурной революции?

— Физической работой, — спокойно ответил помощник.

— А вы? — продолжал любопытствовать я.

— Помогал ему, — скромно отвечивал тот и твердо взглянул мне в глаза.

Мне далеко до Дэн Сяопина, но кое в чем, окромя юношеского слесарничанья, мы с этим всеобщим китайским папою схожи. Меня тоже судьба довольно часто сталкивала с тяжелым физическим трудом, хотя я и не очень-то приспособлен к нему — не потому, что слабоват физически, нет, с этим-то как раз все в порядке, Господь не обделил, но в силу отсутствия каких-то, скорее всего врожденных (а такой безотцовщине, как я, их вообще трудно приобрести) подходящих навыков. Однако рядом со мной всегда находились куда более рукастые, чем я, которые без каких-либо поползновений с моей стороны и совершенно бескорыстно брали на себя немалую толику моих физических забот. Это не я устраивался так — так устраивала почему-то сама жизнь. И Валерка, этот маломерный скелетина в хаки (хотя я тоже на первых порах весил шестьдесят четыре килограмма при росте сто восемьдесят два см), умудрялся не только подшивать мне по ночам подворотнички,



яростно унавоживать ваксой кирзачи, которые завтра вновь окажутся в глине, но даже в траншее вечно заступал на мою «делянку», приговаривая:

— Подвинься, пехота, — танки идут!..

Черт возьми: даже штыковая лопата в его ловких и твердых руках сновала цыганской иглой.

Я благодарен этим, как правило, немногословным людям, каковых немало припрятала для меня в самых что ни на есть очевидных местах — «наклони ветку и съешь мое яблочко» — эта быстротекущая жизнь. Они от многого оберегали меня, либо вообще не задумываясь, во имя чего берегут, либо счастливо заблуждаясь на этот счет. Да и многому таки научили, трудно обучаемого и трудно воспитуемого. Так чаще всего и бывает: даже отпетого безотцовщину берет на поруки сама наша жизнь, нередко в лице таких вот своих неумолимых и додельных подвижников.

Четверть века спустя, уже инвалидом, он рьяно помогал мне в обустройстве моей дачи. Одна рука, причем правая, уже была у него парализована. Он заново научился говорить, заново, по слогам, научился читать — причем, чертяка, по одной из моих книжек! А прежде чем научиться — левой! — писать, он стал ею пилить, рубить, строгать... Любое увечье печально, но вдвойне печально наблюдать, как р а б о ч и й человек вынужден скорбно носить, нянчить, словно увечное дитя, поперек груди свою некогда самую умелую и рабочую — правую, десницу.

Но и здесь, с одной левой, он опережал меня во всем, включая скорость подъема трудового граненого — мы тогда, как и вся облапошенная Россия, травились спиртом «Роял», наименование которого Валерка произносил с неизменным, нежным мягким знаком в конце.

* * *

У нас с Валеркой на двоих имелся в жизни даже один несовершенный подвиг.

В армию мы уже пришли женатыми (подвиг, сопоставимый с глупостью, совершенный). И уже имели по ребенку. По девочке — тут дефиниций опасаясь. Хотя тоже в меру простительно: мы были постарше большинства своих сослуживцев. Я сорок седьмого. Он — сорок шестого. Мне выпадали отсрочки, поскольку учился заочно в университете (какое-то время заочников не брали, так нужны были ученые кадры, которые потом и загубили страну). Валерку же не призывали, потому что аппаратчиков экстра-класса и призывать грешно. Но потом, в разгар холодной войны, тоже решили: была не была, не грех.

И обе наши жены с обеими малыми дочурками скитались по частным квартирам.

И оба мы мучительно, после отбоя, потому что до отбоя, на траншеях, не до соображений, соображали: как же им подсобить с жильем?

И надумали.

Шла далекая и в меру победоносная война — именно далекие и победоносные всегда и привлекают шалопутов. Война во Вьетнаме.

Вот мы и решили повоевать. В данном случае не за Родину — вьетнамцы нас особо не колыхали — а сразу непосредственно — за квартиру. И с этим своим соображением-предложением явились однажды поздним вечером, когда шалопуты обычно еще глупее, чем с утра, к начальнику штаба майору Кибенко.

Который сидел в таком же сборно-щитовом сооружении, какое горит, ну, узнаете, за сколько минут-секунд, а продувается, промерзает зимою еще быстрее.

Изложили — тут солировал я, химик, как и положено, только убежденно поддакивал.

Майор, успевший повоевать и в Великую Отечественную, и в малую гражданскую — против бандеровцев, уже тогда не седой, а сивый, как мудрый крыловский бирюк, хмуро выслушал нас.

Встал, прошелся перед нами, крупный, уже по-стариковски, но как-то щеголевато, по-ястребиному, по-жженовски сгорбившийся. Дошатый пол скрипел и плакал. Вот так же выходил майор перед строем совсем недавно, когда еще был нашим комроты (его понижали на время, переведя к нам в часть из другого подразделения, где он тогда тоже был начштаба, а за что, вы уже знаете), спрашивал у нас, новобранцев:

— Кто с Западной Украины? Два шага вперед!

Несколько человек вышли — в стройбатах с «Запада» всегда немало.

Комроты расстегнул тяжелый офицерский ремень, приспустил галифе, подзадрал гимнастерку и показал глубокий шрам на белом, словно из-под кальсон, бедре:

— Ваша пуля ось-туточки еще сидит... Встать в строй!

Мирно так, совсем уж по-стариковски.

Высунувшаяся было публика, недоумевающая, мешкотно возвращалась на исходные позиции...

Вышагивает, поблескивая хромовыми сапогами, перед нами, тоже, как и западные новобранцы, несколько ошалевшими от такого приема. А я про себя думаю-соображаю: а вдруг у него и вьетнамская, пардон, американская, где-то сидит? Сейчас вот снимет галифе...

И что покажет? Неужели задницу?

— Штаны бы с вас спустить! — в удивительный унисон моим соображениям рывкнул майор Кибенко.

Да-а, сейчас еще и ремень, как Тарас Бульба, распонит.

И сивые брови сурово свел. И жесткие, топором тесаные скулы его обозначились еще резче.

— Идиоты!..

Мы начали уныло переминаясь, совсем как те, перед строем.

— Кру-угом!

Громовым голосом, совсем не как потомкам вчерашних своих врагов, не как «встать в строй!».

— Кругом! — говорю.

У нас — глаза на лоб. Братский Вьетнам (правда, где он сейчас?), интернационализм, пролетарии всех стран...

Но делать нечего.

— А еще детей нарожали... — Уже по-домашнему доносилось нам сквозь сборно-щитовую дверь в спины. И это, оказывается, знал...

И то сказать: уже сивый, уже маненько погнутый, как щипцами дернутый старый гвоздь, майор Григорий Алексеевич Кибенко, участник как минимум двух войн, до сих пор живет (жил на тот момент, живой ли сейчас, не знаю) в таком же «многоквартирном» сборно-щитовом бараке, как и наша казарма, как и его штаб...

И мы понуро поплелись.

— Напалма они не нюхали! — все еще неслоь нам вослед из раскрытого штабного окошка.

Этому человеку, понимаю сейчас, верить можно было. Уж он-то пороху нанюхался до одури. И все — исключительно за Родину да за Сталина.

* * *

Когда меня перевели в большой штаб, в Управление инженерных работ (УИР), в общеевойсковом эквиваленте — в штаб дивизии, Валерка в казарме осиротел. Он, конечно, гордился моим повышением, как впоследствии и моей скромной медалью (вот уж точно: в бой идут одни, награды получают совсем другие). Но все равно — осиротел. И, получая увольнительную, неизменно являлся ко мне в Большой штаб — такой же щитовой, как и малый, но вылищенный так, что, того и гляди, сорока унесет.

Я куковал там допоздна, звонил часовым, чтоб пропустили. Валерка в преддверии увольнения начищался, как под венец, но все равно вызывал у штабных рафинированных караульных высокомерное недоверие. Драл, драл подошвы сапог и о металлическую чистилку, и о влажную мешковину, расстеленную по-деревенски у входа в штаб, а все

равно заходил, просителью улыбаясь суровым и надменным автоматчиком — уж они-то точно не из стройбата, не из землекопов! — и оставлял на вылизанном линолеумном полу в длинном и крепко продезинфицированном от подобного рода посетителей коридоре модернистский, застенчиво виляющий след.

Усаживался в моей комнатенке передо мной и ждал, пока я закончу совершенно непонятные ему — тем терпеливее и уважительнее он их наблюдал — штабистские дела.

После, уже ночью, мы шли с ним в ночной гарнизонный продмаг, брали все, что необходимо, сажались в кладовку у завмагши — она была и пожилой, и гражданской, но для т р е т ь е й вполне годилась. Пропускали по маленькой, закусывали бычками в томате — у меня, возившего иногда в Москву секретные донесения, было старшинское звание и старшинское же жалование: двадцать восемьдесят.

И, пользуясь своей полной неприкосновенностью со стороны любых патрулей, и солдатских, и офицерских, я провожал Валерку (попутно и завмагшу до деревянной избы ее доводили) до КПП нашей некогда общей с ним части.

Таковы были его скупые армейские праздники. Будни же — как и у всех. На лопате.

* * *

Вообще-то друг уволился, демобилизовался на год раньше меня. Его комиссовали: в детстве переболел ревматизмом, и в стройбатовской грязи и сырости, в залитых водой траншеях болезнь вдруг вернулась. Я и провожал его до вокзала, где, спрятавшись за каким-то товарным вагоном, дернули мы с ним по портвейну «три семерки», обнялись. И благословил я его на мирную жизнь:

— До встречи!

И — встретились! Через год, когда и мне подошел срок на волю.

Из армии я добирался на перекладных. Сперва, из дровяного-деревянного городка Тейково, что в Ивановской области, где располагался наш гарнизон, на пассажирском поезде, кланяющемся аж до Москвы каждому встречному — они шли ему навстречу с большей скоростью, чем подвигался он к столице, — телеграфному столбу. Из Москвы же двинулся на автобусе. Тогда автобусное сообщение на дальние расстояния было редкостью; оно оставалось в основном внутриобластным или региональным. Люди предпочитали поезда либо самолеты — те были вполне доступны, и страна передвигалась, смешивалась, ж и л а естественным людским коловращением. Это сейчас она села сиднем, обезножела Ильей Муром-



цем — разве что на заработки, в отхожий промысел — из-за дороговизны поездов и аэропланов. По этой же причине, дороговизны, невероятно популярны стали сейчас автобусы. Билеты на них значительно дешевле: вот и поползли неуклюжие, тяжелые, давно отслужившие свои сроки на Западе, откуда и куплены, выгаданы по дешевке, неустойчивые, как коровы на льду, на наших отечественных дорогах, глухие пульманы во все концы. Вдоль и поперек. За тыщи километров стали гонять их: по-моему, есть даже автобусный маршрут от Москвы до самого Владивостока. Только и слышишь: то там вертанулся вверх копытами, то там ушел под откос, унося с собою, под откос, одуревшие от бесконечной тряски и бессонницы, что в автобусе, что в жизни, чужие жизни.

Тогда же для меня явилось новостью, что есть автобус от Москвы аж до Ростова.

Но я сошел намного раньше, в Туле. Да-да. Решил заехать, завернуть по пути к своему Валерке Иванову. Он, уволившийся по ревматизму на год раньше меня, жил тогда под Тулой в своем поселке Болохово, где и дымил-коптил его химический комбинат. Туда под вечер я и добрался: бешеной собаке семь верст не крюк.

Типичное рабочее предместье, каковым оно было, наверное, еще с дореволюционных, горьковских пор. Длинный, тоже рабочий барак, поделенный, посеченный на крошечные соты, в каждую из которых ведет отдельный леток. Дверь — для каждой семьи своя. И перед каждой же дверью свой крохотный «рабочий» палисадничек. Середина мая, и все палисадники курчавились одинаковыми цветами, кипели свежей и сочной зеленью. Только они и оживляли, драпировали как-то этот унылый, на божедомку похожий барак, каждая рабочая семья в котором явственно слышала за дощатой перегородкою такую же незавидную, как и у нее, сопредельную жизнь.

Ячейка рабочего общества — только барак очень уж мелкочаеистый. Бредень — но молодые семьи счастливы, что попали, попались в него: какое-никакое, а все-таки свое, отдельное, а не коммунальное и не съемное, жилье.

Эту конкретную ячейку мое появление просто взорвало.

Мало того, что я с трудом протиснулся в его низенькую, из дээспэ дверь, да и проходную комнатенку сразу сделал своим негабаритным, с дембельским чемоданом, появлением непроходимой.

Ячейка взорвалась от радости.

Вспоминаю ту нашу встречу, и волна того давнего-давнего, сорокалетней давности, взрыва до сих пор достигает — щемящим бризом — моей уже крепко одереженевшей, потерявшей парусность

души. Редко-редко кто в жизни так радовался моему появлению.

Почти явлению.

Лишь однажды испытал нечто подобное — опишу это в качестве подмалевки, грунтовки холста, предназначенного для совсем другой сценки — авось, и она станет явственней.

У меня родилась дочь. Крошечное и очень смышленное симпатичное существо. Третья по счету, но она и сейчас, когда их четверо — четыре, увы, уже вполне взрослые и даже в меру солидные женщины, — более всего похожа на меня. Копия, что так часто бывают гораздо привлекательнее и даже умнее оригинала. И вскоре после ее рождения я уехал в довольно длительную командировку. Недели на две. Вернулся, влетел в квартиру и, на ходу сдирая с ног мокасины, рванул к ней: так соскучился по малышке. А теща — тогда у меня еще была жива моя буденновская теща — слышав мой ключ в дверном замке, как раз и выносит девочку мне навстречу, в холл, — говорят сейчас, а тогда выражались проще: в коридор. Теща крупная, стенобитная, девчужка заблудилась на ее руках, как невесомая запятая в монолитном толстовском тексте. Я кидаюсь к ней, а на личике у нее невероятное смятение. Это даже не радость, не восторг, а какое-то изумление, исторгаемое всем ее существом, всем тельцем, всеми чертами и всем зарождающимся в ней с м ы с л о м. Слезы из глаз, ручки тянет ко мне, а я в первое мгновение даже оторопел от такой недетской, немладенческой силы чувств. И только после, уже прижимая ее, как второе — размером с первое — колотящееся сердце к себе, я понял.

Девочка решила, что я исчез было навсегда.

Ну, умер, ушел, растворился — что там еще допускает до яви их сознание в четырехмесячном возрасте?

Что меня уже нет — и никогда не будет.

А я вдруг воскрес. Явился.

Так вот, докладываю: мое первое я в л е н и е состоялось в рабочем поселочке Болохово, под Тулой, в середине мая одна тыща девятьсот семьдесят первого года.

Валерка, которого я застал не очень тверезым на узкой солдатской кровати, застеленной солдатским же суконным одеялом (можно подумать, что он их захватил с собой из стройбата), обрадовался так, словно я не заехал к нему, а воскрес.

Хотя и было еще не воскресенье, а только лишь суббота — он после смены по пути домой выпил пивка со своими ребятами возле соседствующей с баракком (тоже, наверное, с дореформенных, Павла Власова, времен) бочки.

Вскочил, повис — по-прежнему в весе петушиного пера — на мне и все извинялся, как перед женой: — Я — только пива! Я — только пива!..

Мне даже неловко стало: я лично на такие же, ответные, чувства был не способен.

И закрутилось, и понеслось!

Обрадовалась двухлетняя Валеркина дочка, которая меня никогда в глаза не видела, — она тоже со святой готовностью потянула ко мне ручонки и с удовольствием повисла на моей шее. В Ставрополе, куда я в конечном счете и держал свой наземный путь, меня уже ждала моя собственная кроха, мой первенец, — с тем большим благоговением принял я на руки сию запятую с тире.

Из соседней комнаты утицей, серой шейкою, выплыла Валеркина женушка Раиса — она-то знала меня еще с Валеркиных армейских времен: как же давно так нежно и податливо не прикидала к моей скромно обтянутой солдатским парадно-выходным сукном груди ни одна такая вот полная, сочная, греховно волнующая женская грудь!

Господи, какой же ласкою был я окружен в те сутки с небольшим, на которые воскрес, как богородица в португальском местечке Ф а т и м а (это же надо — так ласково, по-женски, наступить на мозоль гениальному пешеходу, караванщику Мухаммаду, что был, говорят, женат на богатой и мудрой вдове десятью годами старше него!), в пронизанном химией — может, потому крошечные палисаднички здесь цветут, как райские предместья ада? — рабочем п р е д м е с т ь е Болохове!

Пылинки сдували с моего сукна, причем в три приема: не слезавшая, поскольку я и сам в предвкушении с в о е й, не хотел отпускать ее, с моих рук кроха пару раз нежно напрудила на него; Валерка, которому Раиса великодушно позволила сбегать с трехлитровой стеклянной банкой к той самой бочке, соседство которой она неоднократно проклинала, совершенно синхронно с дочкой облил его местным пивом (судя по крепости, пиво вырабатывали с участием все той же химии); и Раиса — она потом до утра выстирывала и выглаживала (открою глаза, а свет на кухне горит и горит) мое сукно, чтоб я, стало быть, я в и л с я наутро, в воскресенье, близлежащему народу при полном параде.

Даже единственная медаль — «За воинскую доблесть» (рытье траншей, скажу вам, если и является доблестью, то и впрямь исключительно воинской) с профилем непревзойденного из гробокопателей — с патриархальным кладбищенским именем «Ильич» — горела наутро на моей груди как только что выстиранная и даже выглаженная (из-за чего Ильич даже лишился своей родовой калмыковатости).

Валеркина физия, конопатая, как проселок, по которому уже прошла первая, самая крупная клепка долгожданного летнего ливня, все это время тоже сияла китайским фонарем, в каковом так опрометчиво добавили огня, что он уже не только светит, но и жжется.

Медалью моей, между прочим, похвалялся перед соседями так, словно она его собственная, в бою добытая, — это он и чистил ее ночью пастою Гойя, которой в армии натирали, надраивали мы бляхи своих солдатских ремней: возможно, и конопушкам его мимоходом досталось.

Пировали на следующий день в палисадничке: за ночь Раиса еще и пельменей налепить успела, выстроив их сперва, поротно и повзводно, походным порядком на столешнице, а потом еще и подморозив в холодильнике «Бирюса». Вынесли столик, устроились вокруг него, клубившегося таким густым и съедобным паром, что им уже закусывать можно было — собственно говоря, из соседних палисадов уже тянулись к нам опохмельные чаши тоже воскресшего после вчерашнего плотно окружающего нас рабочего класса.

— Братан! Братан приехал! — с радостной готовностью обозначался Валерка во все стороны и щедро плескал в подставленную разнокалиберную — от хрусталя до чугуна — посуду.

Плескал из запотевшей четверти — о, мне еще предстояла не одна встреча с нею! Но она пока еще здесь, в Болохове, содержала не наливки, а чистоган.

Спирт! — он, как старшему смены, положен Валерке на производстве. Окружающим же мастера подчиненным, увы, нет. Выдавался ему под личную подпись, и расходовать его следовало на строго технологические нужды. Валерка на них и расходовал: что может быть технологичнее, да и государственнее того, чтоб наутро, в понедельник, подведомственный Валерке рабочий класс был способен дружно встать — сперва просто встать, а потом и фигурально — за подведомственные, в свою очередь, ему химические аппараты. Разве ж назовешь Валерку после этого несунном: доктор вон ведь тоже идет с работы, захватив свой волшебный саквояж — авось кого-то спасать попутно доведется.

Страна большой химии... Не знаю только, к какой стране это больше относится: к той, что была, или к этой, что есть? Но в том ее палисадничке, где даже незабудки цвели с нестерпимым, почти химическим блеском, как раз в спирте-то никакой химии не было.

И впрямь — чистоган! Девяносто градусов!

И потому в посуде, застенчиво протягиваемой в наш палисад с разных сторон, уже кое-что незначительно плескалось.

Аж два «О».



У кого два, а у кого, кто покряжистее, и по одному: химики — они и есть химики.

Опохмелялись сопредельные палисаднички чистоганом, а вот закусывали, и тоже не без удовольствия, весело раздувая ноздри, паром, который тоже можно было прямо ножом делить на порции.

Нас же Раиса оделяла, потчевала с походом. Передо мной тарелка вообще с горой: по-омнила, помнила Раиса мой волчий военно-строительный аппетит. При этом они вдвоем, и Раиса, и Валерка, наперебой так простодушно подвигали мою ложку к одной, самой высокогорной пельмешке, правда, больше напоминавшей вареник, что я давно догадался: там — с ч а с т ь е.

Я уже где-то вспоминал, что Антон Павлович Чехов, не самый «народный» из писателей, извлек из народной памяти это древнее, языческое наименование клада — с ч а с т ь е. Клад, особенно найденный, и именовался счастьем.

Ну вот: они вдвоем, наперегонки, так торопились, чтоб я, стало быть, побыстрее отыскал его. Чтоб я, часом, не промазал, не промахнулся.

И я, давно догадавшись, манежил их недолго.

Ого! Там оказалась железная пуговица с того самого парадно-выходного Валеркиного мундира, в котором я и провожал его когда-то на вокзале в Тейкове.

Размером побольше тогдашнего медного пятка — возможно, Валерка и ее накануне, чтоб гигиеничнее, наряду с моей медалью драил все той же незабвенной пастой, носящей славное имя гениального главного очернителя человечества.

Таким счастьем и подавиться недолго!

Если на одного.

Как же молодо, звонко, заразительно, с ч а с т л и в о хохотали они, когда им на радость я обнаружил-таки в увесистом, замечательного вкуса и объема варенике этот свой персональный, любовно загаданный-завещанный мне «клад».

И я до слез хохотал вместе с ними.

И полтора десятка палисадников вокруг нас весело и счастливо и совершенно бескорыстно (хотя некоторые уже успели отметить и по второй, а отдельные, самые крепкие или самые нетерпеливые, и по третьей) смеялись совместно с нами.

Кто знает, возможно, я и вправду никогда в жизни не был так беззаботно счастлив — дембель — друзья — предчувствие, предвкушение, пред-счастье скорой встречи, после столь долгой разлуки, с юной женой и крошечной дочерью, — как в том чудесном, со свисающим над головою еще незрелым, еще только на пути с небес, но уже тяжеленьким ливнем неприятельных среднерусских вишен, в том рабочем предбанничке рая, который всегда почему-то,

как сама и жизнь, в конце концов оборачивающаяся смертью, оборачивается адом.

Хорошо, что виден он так нескоро! Лишь в самый последний, самый смертный миг...

* * *

А ведь они однажды встретились — гегемон с маленькой и Гегемон с большой. Имею в виду не дорогу, на которой опасны встречи, а букву. Трудовой, думающий народ в лице Валерки и власть — в лице Генерального секретаря. Власть, похоже, тоже в меру думающая — сужу по одной реплике, властной, которую мне после долгих расспросов удалось выудить у Валерки. Но о ней позже.

Видимо, наш порыв повоевать за вьетнамцев не остался-таки незамеченным. И советская власть прониклась к нам, к Валерке во всяком случае, определенным доверием. Меня вскоре после армии взяли в «Комсомольскую правду», а Валерку — так сразу в правительственные егеря. Да-да, из аппаратчиков, из старших смены — и сразу на такую недостижимую высоту. В Завидово — после Ельцина, который проводил там половину своей служебной жизни, его знают все. Лесной и нетрезвый филиал Кремля (кстати, позже, когда и сам волею судеб оказался припиленным к верховной власти, я удивлялся: Горбачев, по крайней мере на моей памяти, ни разу не съездил туда. Не охотник — ни до того, ни до другого). Не знаю всех перипетий того, как Валерка оказался в этом богоспасаемом доньине месте. Не то сам напросился, хотя ни охотником, ни заядлым рыбаком никогда не был, не то по спецнабору. Не знаю и врать не буду. Оказался и оказался. Со всем кагалом: с женой, двумя девочками и еще с лошадкой, тоже кобылой, которую ему тут выделили как табельное оружие и с которой они тоже поселились под одной крышей: люди в одной половинке щитового домика, а кобыла Кукла — в другой. Я однажды бывал у него — тоже с женой и двумя девчушками. Как раз доработался в «Комсомолке» до нервного истощения. Оставался бы в Ставрополе или, еще лучше, в районке, никакого б истощения, ни физического, ни нервного, не заполучил бы. А тут — на тебе. Удостоился. Дорогу не мог перейти без женой помощи. Каждую скорую на улице встречал как собственную спасительницу. А если оказывался в комнате, где больше трех незнакомых мне людей, меня начинала бить лошадиная дрожь и ноги сами собой подламывались. Во-он когда еще надо было принимать закон о митингах — для больных людей самое то.

А меня к тому времени за усердие только что назначили членом редколлегии. Узнай начальство,

чем захворал я, могли и разжаловать. Поэтому болячку свою скрывал, как мог. И даже один день, понедельник, попросил «без содержания». Молодец жена: сгребла меня и двоих тогда еще махоньких дочек и поволокла к Валерке. На электричке. Я боялся войти в нее, полную чужого люда. Втянули туда почти на налыгаче. Меня, как умалишенного, даже усадили в каком-то углу. Жена и дочери обступили, облепили так плотно, что я ничего, кроме них, и не видел. Только родных. И мало-мал успокоился. Доехали до какого-то полустанка, по-моему, назывался Козлово, выходим — я уже вполне добровольно, на своих двоих, — а на перроне, широко расставив руки, Валерка. Как для ловли сома. Да еще и мотоцикл с люлькой тут же, рядом. Оказывается, жена заранее созвонилась с ним. Он по такому случаю и мотоциклетку у кого-то одолжил — после, добравшись уже до его заимки, мы передвигались там исключительно на Кукле, впряженной в тарантас, даже ее превосходящий возрастом. Жена с дочками втиснулись в люльку, я, обхватив худые Валеркины плечи, взгромоздился, как петух на насесте, на пружинное заднее сиденье, и моторикша наш дал газу. Жена охала, дети визжали от восторга, я с каждой кочки, как с Байконура, стартовал, с возвратом, в небеса. Позади осталась и железная дорога с ее неумолчным лязгом, и поселок, и всякий-разный случайный люд, и даже коровы с приписанными к ним телятами... Мы въезжали вприпрыжку в нештучные леса.

И знаете — жизнь возвращалась! Мне уже странно было, как это я пять часов назад дрейфил влезть в электричку. Ее, жизнь, не остановил даже шлагбаум с будкой, в которой, забрав наши с женой паспорта, надолго-таки пропал наш возница. Вместе с паспортами он почему-то вылушил из люльки еще и бутылку водки — возможно, поэтому и затягивалось его пребывание в суровой будке. По-хорошему б, здесь надо воткнуть и пограничный столб. Одно государство закончилось, начинается другое. Валерка вышел веселый и раскрасневшийся, шлагбаум, увлекаемый за веревку незримой дланью незримого будочника, приподнялся, и... надо ли говорить, что оставшийся путь по травянистому лесному проселку мы проделали еще быстрее, чем предыдущий?

Чудесные дни! Мы собирали в лесу грибы и малину. Ночью вдвоем с Валеркой ходили на речку, немо протекавшую в нескольких метрах от его щитового домика, и купались там нагишом. Вода в реке чистая, заповедная, днем она была абсолютно зеленой — от склонившихся над нею куп деревьев и кустов и травянистого, щекочущего пятки дна. Ночью же обернулась черной, как будто сама ночь и потекла по ее узенькой, девичьей жиле. Над тобою светло, как то

и бывает в короткие летние ночи в срединной России, а под тобою лижется, ластится прохладная легкая темень. Сгустившаяся, сбродившая от дневного тепла ночь — это ее приворотная кровь и сочится безропотно по прихотливой лесной червоточинке.

Лама — по-девичьи, по-женски звали ту речку. Мы и входили в нее, как в первый раз: крадучись и помогая себе руками.

Раиса нажарила огромную чугунную сковороду грибов с молодой картошкой. Она близорука, носила очки с толстыми стеклами и узел волос, скрученный, как белье для отжима: ни одной капли меда в таких гипотетически медоносных. Учительница, училка, а не химическая аппаратчица и уж тем более не доярка. Большие серые глаза, увеличенные еще и линзами очков, останавливались на мне не столько с состраданием, сколько со спокойным стряпухиным довольством: она еще с армейских времен, когда я за компанию с Валеркой прибежал к ней в самоволку, знала, что поесть большой не дурак. Заботливо обходя с отягощенной снедью посудой большой и многолюдный, раздвинутый по случаю гостей стол, от которого в комнате стало так тесно, что дети, например, предпочитали перемещаться в ней под столом, как под неразведенным мостом, она иногда еще и поощрительно касалась ладонью моего плеча:

— Ты — ешь. И все пройдет. Тут все свое: либо из лесу, либо с огорода...

— Либо из подвала! — весело добавляет Валерка, раскупоривая — аж из Болохо доехала, не разбилась — запотевшую четверть со смородиновой наливкой...

Кислое молоко, сметана «из-под своей» коровы и яйца «из-под своей» несущки, молодой лук, чеснок, редиска, всевозможная зелень и всяческие соленья-варенья, все умножаясь и умножаясь в количестве, сгрудились вокруг чугунного, опять же окутанного, как после удачного залпа, густым и вкусным паром монстра, словно малокаботажная вспомогательная флотилия вокруг китобоя «Слава».

Мне, как болящему, стелили отдельно, на остекленной летней веранде, в которой я еще и окна раскрывал, чем тотчас же воспользовались не только густой, как грибной навар, липовый запах, но и сама липа, влажно просунув самую молодую и гибкую свою ветвь прямо к моей раскладушке, ко мне за пазуху.

В Москве не мог уснуть, поскольку мешало собственное сердцебиение. Я его не только пугливо слышал, я его панически ощущал, осязал — оно тяжко сотрясало там всю мою грудную клетку.

Здесь же спал как убитый. Сраженный главным калибром — имею в виду то самое, многожды, нежно, в обнимку, извлекаемое Валеркою из подвала.



Два чудесных дня и три оглушающих своей лесной, берендеевской тишиною ночи. В которые я погружался как в теплые околоплодные воды Ламы. Да еще «все свое» на убой — обеденный стол все эти дни так и не складывался, и Валерка, например, в отличие от меня, тоже совершенно свободно, вместе с детьми, моими и своими, при необходимости проskalзывал под ним золотую рыбкую.

Я выздоровел — когда в понедельник Валерка с боем усадил нас на том же полустанке в ту же электричку, я встретил ее угрюмые утренние полчища как родное народонаселение.

И прямо со вторника, с утречка, легкой мышинной побегжой побегжал в «Комсомолку», которую иначе как конторой мы в те времена между собой не называли, хотя именно тогда она меньше всего и напоминала «контору» — скорее контру. Делать карьеру, вприпрыжку, и дальше.

В той же поездке в Завидово посидел и в кресле Генсека. Кресло — огромное, дубовое, как из одного монолитного пня выдолблено, а Генсеки к тому времени пошли уже изрядно траченные, подъеденные: при необходимости в нем могло разместиться и все Политбюро разом. Я поразился масштабам сидалища, Валерка же весело рассмеялся в ответ:

— Так они ж тут в тулупах часами сидят...

Кресло стояло, вознесенное на высоту сторожевой вышки — только с вышки той не стерегли, а подстерегали. Она сбита из капитальных лесин в укромном местечке рядом с кормушками для зверья. Валеркина обязанность — приваживать диких кабанов, лосей, подсыпая в кормушки комбикорм, следить за общим порядком на отведенном ему охотничьем участке. Насыпая в кормушки дерть, приправляя ее для вкуса крупной, серой, льдисто-посверкивающей на изломах солью, он, оглядываясь вокруг, смачно причмокивал губами, как будто созывал на кормежку домашнюю худобу, и — я сам видал — из плотно окруживших полянку зарослей с оглушительным треском, как ядра, вылетали прожорливые свиноматки с хрюкающей дробью своего приплода, а позже осторожно продирались и клыкастые, с седыми загривками, главы семейств.

На вершине вышки устроена крытая, с двойным остеклением, площадка с раздвижными рамами. Вот здесь, уложив именной карабин на колени или пристроив его на «подоконник», и дремал часами в кресле в бдительном своем забытии престарелый Генсек. До сих пор помню, что кресло на верхотуре почему-то одно. Действительно топтыгинское, неподъемное — подъемным краном, что ли, его сюда поднимали? Да и еще и тяжелой кошмою обитое. Позади же него, на почтительном отлете, скромно торчала самая обыкновенная, с прорезью посереде-

не, солдатская табуретка. Для ординарца. А может, для врача.

Каким подъемным краном поднимали сюда самого Генсека — к «смотровой» площадке вела довольно крутая, с широченными, тоже топтыгинскими, из сосновых плах, ступенями, лестница, — не знаю.

Может, тогда, в конце семидесятых, уже как грудного ребенка — на руках?

Валерка разрешил мне посидеть там — так что с четверть часа в своей жизни я занимал-таки и самое высокое (метров пятнадцать до земли), самое руководящее кресло в стране. В тогдашней, заметьте, стране, что не чета полстране сегодняшней.

Валерка привычно кормил зверье, я же от греха подальше спасался на верхотуре и спускался только тогда, когда хрюкающая, теснящая друг дружку, как то неизбежно возле любой кормушки, шатия не разбегалась с поляны. Жрала она, надо сказать, не просто остервенело, а стремительно. Это, наверное, уже отложилось от поколения к поколению в генах: чем быстрее управишься, тем больше шансов остаться в живых.

Возможно, ординарец для того и сидел за спиной у Генерального: чтобы вовремя разбудить.

Не скажу, что в те пятнадцать минут, какие пребывал в самом высоком кресле государства, я беспокоился обо всем нижележащем народе. Нет, тревожился исключительно за своего друга Валерку — не сожрали б мимоходом сию костлявую малость эти ненасытные, хотя кормят их, похоже, лучше, чем потчевали мы своих деревенских, давно одомашненных Хавроний, из темного, цельного чугуна литые черти.

Мой друг совместно со своим коварно прикормленным поголовьем обслуживал первых лиц государства. И первые лица иногда даже заговаривали с ним: все интереснее, чем с опостылевшими ординарцами и с еще более постылыми членами П/б. Говорил ли с ним Брежнев, я не знаю, Валерка об этом не распространялся. А вот о содержательной беседе с Константином Устиновичем Черненко несколько лет спустя упомянул. За стаканом чая.

Константин Устинович, спущенный ординарцем, как падший ангел, с небес на грешную землю, плетется, не расставаясь с карабином, который, как и положено на охоте, повешен у него на плече стволом вниз, впереди. Валерка, держа под уздцы столь же подслеповатую и крепко глухую, как и Генеральный, Куклу, движется следом. Кукла впряжена в розвальни, в розвальнях, прикрытых каляным от мороза брезентом, — кабанья туша. В Москву Черненко повезет лишь малую толику ее, седло, да и куда ему, квелому, схарчить такую махину. Остальное щедро

раздаст завидовской челяди, включая своего столь же малого ростом и тощего, как и он сам, егеря Валерку Иванова.

А уж за розвальнями гуськом следует охрана. Вот у нее-то стволы, спиной чуёт Валерка, не опущены.

Валерка привычно курит, одну за другой. Смолит в рукав, чтоб, значит, не потревожить дымком впереди бредущего старца, что сам похож на только что выдохнутую кем-то, хоть и в меру вооруженную, бесплотную струйку-затяжку. Но Черненко, курильщик со смертельным стажем, улавливает. И в какой-то момент оборачивается.

— Куришь?

— Угу.

Валерка, словно провинившийся второгодник, поглубже прячет папироску в рукав.

— Много куришь.

Черненко останавливается, чтобы справиться со старческой одышкой. Он давно уже, нюхом, отслеживает Валеркин неучтенный анкетами порок.

Валерка молчит: что тут скажешь?

— Курить вредно, — задумчиво поучает Генсек, которому и самому, наверное, невтерпёж затянуться, да врач, хоть и издали, гипнотически, не велит.

Опять же — что ж тут скажешь в ответ? Вредно. Как и жить.

— Мой зять тоже много курит... — задумчиво продолжает старик. Уже как бы и не с Валеркой, а с самим собой. — Я ему говорю, но он не слушается...

Валерка пожимает плечами: а кого — слушаются? Папироска в рукаве уже начинает печь ему ладонь.

Черненко печально вздыхает: и впрямь — а кого слушаются? — и они потихоньку возобновляют свой затруднительный путь. Старец, Валерка, Кукла, отворачивающая косматую простоволосую морду от вонючей Валеркиной беломорины — с обонянием, у старухи, как и у Генсека, все пока в порядке, — и без нужды и пользы загубленная туша, которую тот же Валерка еще вчера, можно сказать, кормил с ладошки.

В такой вот последовательности.

Через пару месяцев Черненко умрет от эмфиземы легких.

Так они поговорили: гегемон с Гегемоном. И если б не виновато прячущаяся в обшлагае солдатского бушлата папироска, носогрейка, то я бы сказал: поговорили на равных.

* * *

Фамилия первого моего героя — Крестовский, фамилию второго я и сам не знаю; Валеркина же фамилия тоже почти неизвестная: Иванов. Люди бездны, канувшие в бездну.

О его смерти мне сообщила Раиса — к тому времени они давно уже не жили вместе. К тому времени Валерка давно уже не жил вместе — ни с кем. Позволила из какого-то заштатного уральского городка, кажется, Ивделя:

— Это Раиса. Помнишь?

Конечно, помню.

— Валерка умер...

Я так оторопел, что не нашел ничего более подходящего и нелепо спросил:

— Ты была на похоронах?

— Нет, — ответил после паузы глухой, уже едва знакомый голос. — У меня хозяйство, королева... Я живу здесь у дочки. На самой окраине, почти в лесу... Как в Завидове, — почему-то добавила она.

— Как он умер? — наконец-то собрался с мыслями я.

— Не знаю, — печально вздохнула Раиса, где-то в лесу за полторы тыщи километров от Москвы, и то ежели по прямой. — Не знаю... Жил при церкви... Ты не будешь в наших краях?

Спросила и сама же, наверное, грустно усмехнулась краями теперь уже старушечьих губ.

Я промолчал.

* * *

Однажды она приезжала в Москву с двумя дочерьми — к тому времени у них с Валеркой подрастала и вторая. Я поселил их в гостинице «Юность», что рядом с «Лужниками». И пришел с кулками навестить их. Девчонки расшалились и стали бросаться подушками. Одна из гостиничных свалевшихся подушек попала в Раису. Она сперва хотела прикрикнуть на девчусек, приструнить их, потом вдруг передумала. И ловко метнула подушкой в меня, сидевшего в кресле наискосок. Я даже поймать ее не успел — подушкой залепило мне лицо. Девчонки расхохотались, а Раиса — звонче всех. Вообще-то она, заметил я, редко смеялась, но если уж смех разбирал ее, то тогда уже не она им владела, а он ею. Всецело, без остатка. До самых нежных глубин: полная, высокая грудь ее, казалось, смеялась отчаяннее всего остального в ней.

Мне же не оставалось ничего другого, как — тоже со смешком — выглянуть из-за подушки. Учительские очки у Раисы слетели, и она, сидевшая, раскачиваясь, на кровати, тщетно прикрывала розовыми ладошками свои неожиданно большие, красивые, тоже цвета нежного, теплого еще пепла, глаза. Тщетно, потому как собственным же ее смехом щедро добытые, высеченные, как искры — может, из той же плодоносной груди, — слезы текли, искрились прямо по пальцам.



Прежде, чем мне попало, угодило второй подушкой, я успел подумать: а ведь именно так и смеялась она тогда, в ее малюхастеньком майском палисаднике!

Кто вот так самозабвенно, до кончиков пальцев — смех источали, в ы г о н я л и, как самогонку, не только пальцы, но и грудь, наверное, уже млечно сочилась им, — способен смеяться, тот, как правило, очень хорошо, задушевно поет. Но я этого, к сожалению, никогда не слышал.

И еще мелькнуло во мне, что не зря, не зря убежала она от кого-то — может, от самой себя — к Валерке аж в армию. Не прохудиться бы часом!

И я подушку в ответ не бросил. Молча сгреб одну и другую и аккуратно, по-армейски, уложил на вторую постель.

Дураки, они, как и химики, и есть дураки.

А еще несколько лет спустя устраивал ее с какой-то болячкой в московскую областную больницу. «Моники» — смешно именовалась, да, наверное, и нынче именуется она. Устроил и, опять же, пришел с визитом. Медсестра сначала сама зашла в «общую» женскую палату — нет ли там кого в неглиже? — а потом приоткрыла тяжелую, обколупленную дверь и мне. Я заглянул. Перед мной уныло простиралась казарма на два десятка железных, солдатских же, коек. Но откуда-то из дальнего угла мне протестующе замахали перебинтованной — после капельницы? — рукой.

— Не надо!

Я послушно ретировался.

Медсестра недоуменно пожала плечами и теперь уже новым взглядом смерила меня с головы до пят. И, недовольно вздохнув, взяла-таки передатку. Хоть и не в желтом домике служит, а в самих «Мониках», но все-таки доподлинно знает: на свете есть не только дураки, но еще и чудаки.

Не захотела больная, чтоб видел ее — больною.

Нет, не от одной растерянности вовсе спросил я ее в первую минуту, была ли она на похоронах. Это сама моя совесть, воспользовавшись моей мимолетной промашкою, выглянула-таки чуткой, дрожащей, пугливо-опрятной сусличьей мордочкой из «столбовой» норки моих обширных нынешних телес (в степи есть норки, вырытые по косой, как роют погреба, а есть вертикальные, их мы в детстве, промышляя ловлей сусликов — двенадцать копеек шкурка! — до сих пор помню, — и называли столбовыми).

Сколько лет обещал я Валерке, чей затухающий голос время от времени прорезался-таки в моем служебном телефоне, навесить его в этом захудалом Армянске! Да все недосуг — дела, хозяйство.

Корова...

Ивдель... Армянск... Да разве ж выберешься к ним из Москвы — Нью-Йорк и тот нужнее и ближе... — ...У меня телефон садится, — произнесла, наконец, она.

Странное дело: эти чертовы мобильные «салятся», даже когда по ним не говоришь, а молчишь.

Молчание когда-то соединяло нас, и молчание же — разъединило.

И общая вина — как совместное преступление.

* * *

Как ни привольно жилось Валерке в придворном лесу, но со временем он все же затосковал по своей серьезной профессии. Да и дочерей подходило время учить, а из лесу в райцентр не навозишься. И Радиса под боком бухтела: опостытели ей, хоть и пригородной, но все же горожанке — вон мать, завмаг, всю жизнь в босоножках, а дочь из кирзы да в резину — и куры, и свиньи, и даже корова (не знала, не знала тогда, что при всей тихости хода все та же корова догонит, настигнет ее и в старости, в чужом, далеком, неведомом до сей поры Ивделе). К тому же и времена подоспели революционные: Горбачев Завидово не жаловал, за все годы своего неустойчивого царствования ни разу там не побывал — за в и д у щ и е последуют позже, он же во всем был вегетарианцем — ружья в руки не брал. Попалось им на глаза объявление, что в Крыму, у самого синего моря, в городке со смешным, как из армянского радио, названием запускается крупный химический комбинат (видимо, большой химии тесно стало на суше, и она вслед за скромными советскими курортниками потянулась и на моря, проступая вонючими потными нимбами на некогда заповедных и гигиеничных местах). Послали свои бумаги — и их не просто взяли, а еще и квартиру дали, что по тем временам было неслыханно, а по нынешним — вероятно.

Так Ивановы оказались в Армянске. В Таврической степи, в изголовье Бахмутского шляха, которым чумаки когда-то возили соль, эту белую смерть, без которой все почему-то невкусно (ну да: все аппетитное и красивое всегда почему-то приправлено смертью), а теперь по нему должна была проследовать все та же относительно белая, рафинированная смерть, но только в цистернах с угрожающими надписями на крутых боках. Так далеко оказались от малой своей родины, не зная еще, что большая, некогда в меру теплая и единокровная, в которой если и задумывались, где жить, то исключительно по рыбьему навыку: где глубже — там и лучше, что родина эта вот-вот развалится, как заношенная сапунная портянка.

И окажутся они вообще — на чужбине.

Так мой армейский друг Валерка обернулся иностранцем. В своей стране, священные периметры которой некогда защищал, роя ракетные шахты аж под Иваново в полном соответствии со своей неизвестной фамилией.

Как и многие из нас вообще. Только мы фигурально, а он — натурально.

Комбинат же толком все никак не запускался, не запускался, а потом и вовсе развалился. Как и многое в разлезшейся стране.

Валерка пил все больше и больше, поскольку, как понимаю, спирт теперь расходовать было некуда: только внутрь. И его самого, как и его страну, хватил инсульт.

Мне же о том и привелось оповещать Раису. Она как раз оказалась на курсах где-то в Подмоскowie, в очередной раз меняла ставшей ненужной «аппаратную» профессию. Мобильных еще не было (хотя у М. С. я еще несколькими годами раньше видел аппарат космической связи; его повсюду носил за шэфом дежурный офицер, эту громоздкую штуковину публика по тем временам простодушно и принимала за «ядерный чемоданчик»). Но Валеркины соседи все же дозвонились до меня, и я потом, ночью, в каком-то заводском общежитии в Балашихе и разыскал Раису:

— Валерка умирает...

Значит, несовершенную форму рокового глагола все же первому довелось произнести мне. Четверть века спустя, тоже в телефонном разговоре со мной, Раиса только д о в е р ш и т: из несовершенной — в совершенную:

— Умер...

Собственно, так оно и было: умирать он начал именно тогда, после первого инсульта, парализовавшего у него правую руку, отнявшего речь, перекосившего и омертвившего его некогда живое, глазастое и подвижное, как у арлекина, лицо.

Долгое, испуганное, задыхающееся молчание было мне ответом. В ту же ночь я отправил Раису в неизвестный мне Армянск.

Я сам уже был не у дел. Отставной козы барабанщик. И Валерка, лишившийся помимо речи еще и работы (это при том, что и насчет его пенсии два страшно независимых друг от друга, как и от денег, государства никак не могли договориться: кому же платить, кому содержать увечного рядового Копейкина?), каким-то чудом, как мелкая птичка небесная, наезжал, достигал Москвы — п о м о г а т ь мне. Крутился — на одной ноге, потому что правая тоже отказала, заклинила, как подлый затвор в автомате в решающую секунду, — днем на страшно затянувшимся (жена твердо считала, что из-за нехватки

спрохвала добываемых мною средств, я же самоспасительно стоял на своем: всенепременно из-за смелых политического строя в России — начиналось при недоразвитом социализме, а заканчивать пришлось при высокоразвитом бандитизме) строительстве моей сборно-щитовой дачки. А по ночам подрабатывал сторожем в моей же тогдашней конторе. Мне бывало смешно и больно, когда я, до полуночи засиживавшийся в своем кукольном, фанерном, после Кремля, кабинетике — чем меньше денег, тем больше бдений, — слышал, как в моей крохотной, с болоховский палисадничек приемной на чей-то явно нетрезвый запоздалый звонок страж мой мычал:

— Ппп-ррр-и-ем-нннн...

Не докончив фразы, Валерка печально вздыхал, умолкал и начинал сызнова:

— Пр-р-р...

То есть: приемная издательства «Воскресенье» слушает.

И повинуется.

Между прочим, если ему удавалось добраться до слова «Воскресенье» (ежели у звонивших хватало-таки терпения), то именно это существительное (а может, прилагательное?) он произносил без запинки. Поразительно! — так хотел воскресенья, причем непонятно, то ли своего, то ли, опять же, повторно, моего! Так истово верил в меня, что мне и сейчас стыдно — как будто это не он меня, а я его бросил, оставил сиротой на здешнем свете.

Гвозди выучился забивать левой.

На моем велосипеде Пензенского якобы велосипедного завода (когда-то, в лучшие времена, я оказался там в командировке и, дабы отблагодарить директора за ужин, а также поддержать отечественных производителей идущих на экспорт ракетных комплексов, купил там сразу шесть велосипедов, на всю семью: один мужской и пять, включая жену, женских) выучился шмалять.

Отставив в сторону правую ногу как совершенно вспомогательную, только на случай падения.

А правая нам, вечно шагающим с левой, надо сказать, только на случай падения и придана.

Этот велосипед, с которого и начиналось его повторное свободное, сродни воскресенью, передвижение по грешной земле, он потом выпросил у меня и даже увез каким-то перелетным чудом в этот свой библейский Армянск.

Научился считать до ста и обратно. Причем не только в тысячных, но и в стотысячных, поскольку Гайдар энд Чубайс, купюрах (Гайдар когда-то у меня, смешно поддегивая штаны, отпрашивался навестить в роддоме, на моей же машине, жену и третьего сына, теперь же мы с Валеркою ждали от него милости почти что как от природы).



Читать, стервец, заново выучился, причем, повторяю, по моим же книгам!

Это же какая прорва коварства! — представляете, разве был бы я так же терпелив, если бы он, мыча, как достопамятный Герасим из «Муму», настырно подсовывал мне по ночам в моем же служебном кабинете не мою злосчастную жалкую книжицу, а, скажем, Льва Николаича?

Нет, и нет, и нет! Да ни один бы автор на моем месте не нашел бы в душе столько ответного деятельного участия.

«Сергей Никитович!» — то есть мое имя-отчество, правда, такое же простое, как и фамилия Иванов, научился, словно синоним «Воскресенья», произносить без запинки. На всем остальном мучительно запинался, тут же выстреливал, как из пулемета.

И пепельно-рыжий, тоже в крапинку, в горячую искру, правый глаз у него чуть-чуть приоткрылся. Ну, вроде как левша в тебя старательно целится.

И самое главное. Даже правая стала у него подниматься ровно на уровень ста пятидесяти. Больше — ни-ни, а сто пятьдесят (потому и засиживались по ночам) уже поманенечку подымал. Никакой колчерукости в данном вопросе! — и даже правый уклон, правая колченовость по слезе временно отступала.

И все звал, все звал навестить его в этом богоспасаемом Армянске. Мол, город покажет, и даже к морю съездим: есть у него там, завелись уже и друганы с точками...

А потом вдруг стал приезжать реже и реже. И правую не то что на сто пятьдесят, а даже и на уровень ста поднимать перестал. Говорю ему:

— Ну, по махонькой, для поправки здоровья?..

А он трясет головой и длительно, но совершенно четко, как в церковном хоре, тянет:

— Не-е-ет... Господь не велит...

Я настолько ошеломлен, что не сразу и понимаю, что Господа-то он имеет в виду не совсем нашенского, а какого-то другого.

Семья после инсульта или после вмешательства этого самого другого, отличного от нашенского, от православного, Господа развалилась. Валерка ушел из дома. На папёрть. Непосредственно. Стал жить, прозябать при церкви. Тоже не нашенской, не общежительной, а то ли баптистской, то ли свидетелей Иеговы, или Адвентистов седьмого дня. Или вообще какой-то левой, упертой секты. Как я понял, это даже не церковь, а молельный дом. Какой бы этот дом, сарайчик этот ни был, а Валерку он принял. Из чего делаю вывод, что религия, чьим ярым но-вообращенным стал мой друг, все-таки правильная. Человеческая. Сострадательная. Он так и жил при этом молельном доме — в обнимку с моим обвет-

шалым, тоже уже колченогим, велосипедом. Велосипед лишился крыльев, багажника — зачем теперь Валерке багажник, когда никакого багажа и в помине нету? — и тоже стал одним лишь скелетом велосипеда. Два скелета: человеческий и — тоже почти человеческий. И единственная совместная душа, помещавшаяся где-то на уровне совместного же центра тяжести. В районе педалей, одна из которых, правда, болталась лядащей, холостой нахлебницей. Изредка-таки наезжая, Валерка, худой, костлявый, но страстно опрятный, пытался осторожно подсовывать мне какие-то жалкие брошюры, напечатанные прямо на оберточной бумаге. Правда, с очень высокопарными названиями типа «Я вижу Бога, Бог видит меня». И заводил, краснея от застенчивости и натуги, странные разговоры насчет спасения моей души в обреченном мире. Я молча улыбался ему в ответ: мне, многодетному православному атеисту, столько тел надо спасти, укрепить, укоренить в этом самом насквозь физиологичном мире, что о душе — пусть подумает кто-то другой. Даже о моей собственной — я не против.

Вполне возможно — что он-то как раз, натужно, застенчиво, с печальным румянцем на щеках, как малограмотный осваивает азбуку, и думал...

Разумеется, и при молельном доме не сидел, сложа больные руки. Хоть и молельный, а все-таки дом, который всегда требует и ухода, и догляда. Валерка и окружил его заботой ничуть не меньшей, чем та, которой новый, странный его Господь окормил его самого. Домовой молельного дома, он служил ему так усердно, как будто и впрямь поступил даже не в свидетели, а сразу — в дядьки и Иеговы. Даже кур, хвалился, на задах — а что же это за дом без задов и подворья? — завел. Чтоб, значит, на завтрак Тому всегда было свежее, из-под несушки. Чтоб, значит, голосистее был к вечеру его новый Господь.

Когда, день-другой побыв у меня, собирался восвояси, я всегда старался дать ему какую-нибудь денежку. Как же он ее сворачивал! Вернее — складывал: вдвое, вчетверо, в восемь раз, хотя денежка тогда и без того была марочной. Нулей до черта, а бумаги чуть-чуть. Какие там деньги — на бумагу у страны не хватало! Одни нули и наличествовали.

И какие там двоюродные инвалиды (разве ж Валерка родной? — он в лучшем случае — пограничный!) — здоровые встали по переходам за подаянием. Профессией стало — христарадничество. Валерка, правда, эту новую и куда более химическую, чем предыдущая, профессию так и не освоил: знаете, почему так тянулся народ в молельный дом? — там, на задах же, за курятничком, Валерка втихомолку чинил армянским жителям, среди которых и армян-то не сыскать, их старенькие ве-

лосипеды, на которые сразу возник ажиотажный, сумасшедший спрос. Страна села на задницу, а задницу же тоже надо было куда-нибудь приспособить!

Так они и подавали друг другу: Валерка — враз образовавшимся армянским пешеходам, обезлошадившие армянские же пешеходы — невесть откуда очутившемуся в их городке рукасто-безрукому дядьке.

...Складывал денежку в осьмушку, в ноготок, да еще и куда-то в картуз с удивительно новой для меня в нем стариковской, скопидомной обстоятельностью засовывал.

— Братьям, — тихо, себе под ноги, отвечал на мой недоуменный взгляд.

Я пожимал плечами.

К Богу он стал несомненно ближе, но глаза у него почему-то погасли. И правый, и даже левый.

В своем «Жестяном барабане» Гюнтер Грасс пишет, что сразу после войны вся Германия оказалась поражена эпидемией надомной мелкорозничной торговли. Торговали все и всем: спичками, кремнями для зажигалок, ячменным эрзац-кофе, женскими чулками и всякого рода снадобьями для выведения неистово расплодившихся — еще бы: Запад встретился с Востоком! — паразитов... И делает неожиданный вывод: что этот всеобщий неистовый коммерческий угар на несколько лет отодвинул в стране развитие научной, технической и просто — мысли. Так там угорали всего-то четыре-пять лет. Мы же, не знавшие плана Маршалла и получившие только трижды просроченные, прогоркшие, с военных складов, дотла замороженные ножки Буша, да и то за наши же гроши, угораем уже третий десяток лет. Трактористы, учителя, академики — все стали ревностными, скаредными торгашами. Я двадцать с лишним лет покупаю турецко-израильские прорезиненные помидоры-огурцы у одной и той же учительницы географии, за великое счастье считающей, что ей дают «место» в предбаннике одного из московских супермаркетов. Она не то что географию — она и самое себя, молодость-зрелость свою позабыла на этом своем продуваемом крошечном «месте». Так и состарилась, специалистка по большим расстояниям, на одном месте. Правда, буквально вчера, на ухо, похвалилась: квартиру отдельную купила.

— Да разве б я смогла купить — учительницей? — говорила мне, смущаясь почему-то за свою позабытую географию, ставшую теперь для нее исключительно экономической.

Так и Валерке, некогда уникальному кадровому рабочему, гегемону с малой, жизнь тоже дала «место» — в предбаннике молельного дома.

Место...

— Где он похоронен? — успел я спросить тогда Раису.

— Да там же, при ихней церкви...

По большому счету, нам всем после девяносто первого указали место.

Жаль, что я, православный атеист, так и не удосужился полюбопытствовать, как же называется это его новообретенное «братство». Новый его Господь. Да, моего увечного друга похоронили, призрели при этом общинном капище так же, как когда-то при одном из храмов на Красной площади был — Христа ради — погребен привычный, дежурный, «дневальный» его дурачок Вася. И храм, повторюсь, именуется теперь Василием Блаженным.

И в самом деле: может, со временем не только домик этот получит имя Валерки Иванова, но и, чем черт не шутит, когда Господь спит, сама эта секта, сама эта неведомая мне религия?

Свидетели Валерки Иванова...

Если так, то я точно — с в и д е т е л ь.

...Второй уже человек из моего очень близкого окружения похоронен при церкви. Тамара Войнова погибла от удушья при взятии «Норд-Оста», и Валерка Иванов — при взятии чего, вследствие каких непреодолимых обстоятельств сгинула эта безвестная и безвинная душа?

Будем считать, от перенесенного в детстве ревматизма.

Тамара, в общем-то, и была безродной. Рок. Валерка же волею обстоятельств оказался к концу жизни не столько безродным, сколько беспризорным. При церкви же исстари хоронили либо очень богатых, либо не просто безродных, а — хороших. Суть — блаженных. Не святые — но... Мои друзья такими и были — шалопутные привратники святости. Если и не там, то у ворот — точно.

* * *

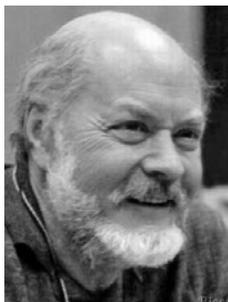
Люди бездны. Из бездны явившиеся и в бездну же, до сроков, сошедшие. Моя память, увы, не бездонна, но и в ней похоронены их тьмы и тьмы — ни при одном храме столько не поместится. Ни в одной братской могиле. Редко, разве что искрою, думаю о них. Может, еще и потому, что сам из их же породы и судьбы. Мы носим ее с собой, и она же с рожденья зловеще, проломно стоит за каждым из нас. Манит. Соскользнул — и ты уже объят ею, как околоплодной мглой. «Раскрылась бездна, звезд полна, звезд число нет, бездне — дна...»

С чего мы взяли, что это — н а д нами?

Живите, безвестные друзья мои.



Лев АННИНСКИЙ



ШВЕДСКАЯ РАЗБОРКА?

Не поддавайтесь на мою провокацию: от всего шведского после спектакля в «Современнике» мне хочется оттолкнуться подальше. Это трудно: висит в памяти великий фильм «Осенняя соната» великого Ингмара Бергмана с великой Ингрид Бергман в главной роли. Тридцать лет торчит в сознании «самка», разбившая жизнь своих дочерей и приехавшая к ним свести счеты. Въелся в душу такой «кожно-зрительный» образ.

Я, пожалуй, и обо всем спектакле «Современника», вступившего теперь в этот горячий след, говорить не буду: русский перевод Бориса Ерхова гибок и внятен, срежиссировано действие Екатериной Половцевой энергично и экономно, актерский состав ровен и блестящ.

Я сосредоточусь на игре Марины Нееловой в главной роли.

Во-первых, потому, что — объективно — это великая актриса нашего времени. Во-вторых, потому, что — субъективно — это моя любимая актриса. И, в-третьих, потому, что — для меня очевидно — она заставляет переосмыслить «стервозу» бергмановской пьесы в каком-то до боли родном ключе.

По ходу дела состав преступления проговаривается до последней ясности. Поделом матери — музицировала по миру, не воспитывала дочек, а если воспитывала, до доводила до психушки. Теперь мать и дочь все вспомнили, прокричали друг дружке «Я тебя ненавижу!», выплеснули друг у дружку остатки питья, заплакали друг у дружки на плече и ушли в неизбежность под финальные вердикты.

Что-то еще действует на меня в нееловской героине. Она мягче бергмановской. Уязвимее. Горше. Знает, что ее ненавидят, и все-таки любит. Знает, что несчастна, и все-таки пытается быть счастливой. Знает, что кошмары не дадут ей спать и жить, и все-таки желает остервенелым детям спокойной ночи и доброй жизни. Искренне. И безнадежно.

Что-то такое непоправимо русское есть в нееловской героине, что все шведское откатывается в моем сознании — куда-то к «стенке», к «столу», к «спичкам». А то и «под Полтаву».

Родное остается.



Марианна ТАРАСЕНКО



Кое-что о Марианне

Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске, в младенческом возрасте эмигрировала в Таллин, где благополучно выросла и прожила всю свою сознательную жизнь. По свидетельствам очевидцев, как только научилась говорить, сразу начала всех поправлять и поучать и так допекла этим родителей, что по окончании школы была принудительно отправлена ими на филологический факультет Тартуского университета. Получив диплом по специальности «филолог-русист, преподаватель», продолжала удовлетворять пагубное пристрастие к поучениям, работая сначала учителем в школе, а затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После того, как в начале 1990-х кафедру — за ненужностью «языка оккупантов» — ликвидировали, еще пять лет проработала в школе. Распрощавшись с педагогической деятельностью, занялась журналистикой, по-прежнему продолжая поправлять и поучать все и вся уже со страниц газет, а в устной форме — коллег, которые относятся к этому снисходительно: как к неизлечимой, но не особо опасной форме душевного заболевания. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».



ДЕЛО — НЕ ДВЕРЬ

Тема преступности прочно обосновалась в нашей жизни. Фильмы, книги, застольные беседы — все посвящено леденящим душу рассказам о том, как кого и где обокрали, ограбили или убили, оболгали и несправедливо обвинили.

Средства массовой информации тоже уделяют немалое внимание преступности во всех ее видах. Но боже, как об этом говорят и что пишут! Журналисты, пишущие или устно рассуждающие на соответствующие темы, забывают, что неправильное использование юридических терминов есть показатель непрофессионализма. А когда на те же самые темы рассуждают люди иных профессий и употребляют выражения типа «открыть дело» или его же

«завести» — это показатель их безграмотности. Ну что, сразу к делу?

Открыть можно дверь, Америку или, допустим, банку с помидорами. Завести — собаку, будильник или песню. Уголовное же дело можно только возбудить. А раз так, то его нельзя и «закрывать», а можно приостановить, прекратить или направить в суд. Приостановить — например, в случае, если расследование тяжкого преступления зашло в тупик (время от времени к расследованию еще будут обращаться), прекратить — опять же, например, за отсутствием состава преступления или в связи со смертью обвиняемого. А вот если ни приостановления, ни прекращения не последовало, то дело благо-



получно направляется в суд. Кстати, раскрыть дело тоже нельзя: раскрыть можно преступление.

Очень часто мы читаем в криминальных сводках что-то вроде «преступники были арестованы прямо на месте преступления». Но! Преступником человека может назвать только суд, а обвиняемым человек считается только с момента предъявления ему обвинения. А до того, если уж им заинтересовались определенные структуры, он всего лишь подозреваемый. Даже если сам министр внутренних дел собственными глазоньками видел, как злоумышленник обижал на улице старушку. И даже если тот же министр собственными рученьками злоумышленника скрутил, то он его всего лишь задержал, а не арестовал: постановление об избрании меры пресечения, в том числе и об аресте, выдает суд. Кстати, выдает именно постановление, а не ордер.

Одно дело, если общаются малограмотные кумушки на рынке: здесь возможно просто все. Другое — если рабочую проблему между собой обсуждают стражи порядка: да, они опера, да, многие из них — из «убойного отдела», и они не любят «глухарей». Третье — когда ботают по фене урки: это у них хазы, волыны и мокрухи. Но если говорят или пишут журналисты, то хочется, с одной стороны, правильной юридической терминологии, хотя бы самой эле-

ментарной, а с другой — литературного языка. Очень забавно бывает наблюдать мальчика, который все ждет, когда же наконец папа разрешит ему побриться, небрежно рассуждающего о висяках и терпилах. К румяным девочкам это тоже относится.

Но справедливости ради хочется отметить, что волну этой журналистской безграмотности породили сами юристы. Это они, когда их (и далеко не всегда самых грамотных) пустили в радио- и телеэфир, понесли в массы вышперечисленный словесный мусор. Но бог с ними, с полицейскими, лишь бы они преступников ловили. А прокуроры и адвокаты, которые должны быть красноречивыми по умолчанию? Увы, немалое количество выступающих в эфире как обвинителей, так и защитников потрясающе косноязычны, и редкую фразу им удается согласовать. Мало того, что они не владеют профессиональной терминологией: если так пойдет и дальше, в русском языке, помимо именительного, останется только один падеж — предложный.

Практически каждая передача, каким-либо боком имеющая отношение к судебным процессам, изобилует изящными выражениями типа «следствие доказало нам о том, что», «свидетель был недоволен о том, что», «суд признал о том, что»... Хотелось бы, чтобы за такое тоже судили.





Сергей БЕЛОРУСЕЦ



Сергей Белорусец родился в 1959 году в Москве. Окончил ГЦОЛИФК (ныне РГУФКСиТ). Печатался в «Новом мире», «Октябре», «Дружбе народов», «Арионе», «Литературной газете» и многих других изданиях.

Автор книги лирических стихотворений «Магический квадрат» (2007) и около десятка детских книжек, среди которых «Игрослов» (2003, 2005), «Веселая аРИФМетика» (2005) и «Парикмахеры травы» (2011).

Лауреат национального конкурса «Книга года» в номинации «Вместе с книгой мы растем» (2011). Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Венец» Союза писателей Москвы (2008), премии имени Самуила Маршака (2011), премии журнала «Кольцо А» (2000).

Обладатель почетной грамоты и памятной медали Всероссийского конкурса на лучшую книгу для детей и юношества «Алые паруса» (2006).

Председатель оргкомитета фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Президент Фонда поддержки творчества разножанровых детских авторов «РАДА».

Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы.

Эксперт по проблемам детства Общественной палаты РФ.

Окончание. Начало в № 9 за 2012 г.

ЗАПИСКИ ДОШКОЛЬНИКА

ПОВЕСТВОВАНИЕ В СЮЖЕТАХ, С ХЭППИЛОГОМ...

Рисунок Елизаветы Горяченковой

6. Каляка-маляка

— Зачем ты рисовал в кружке? — ласково спросил меня Папа.

— Ни за чем. Я не рисовал! — ответил я.

Тогда Папа принес из кухни свою желтую эмалированную кружку.

Довольно страшненькую на вид, но Папину любимую.

Именно из этой кружки он всегда пил горячий чай, размешивая долгорастворимый сахар любой попадающейся под руку ложкой.

Или вилкой...

— Смотри! — нежно сказал папа. — И сунул мне под нос кружку.

Я взглянул — и увидел, что кружка пустая.

В ней не было ни чая, ни холодной воды из-под крана, которую Папа тоже любил пить именно отсюда.

— Зачем ты рисовал в кружке? — доброжелательно повторил Папа.

И тут я заметил, что Папина любимая кружка изнутри была разрисована тем, что в нашем доме называлось словосочетанием «каляка-маляка»...

Нормальная такая каляка-маляка.

Жалко только, что не цветная.

— Я не рисовал! — ответил я.

— Тогда кто? — уже не очень доброжелательно спросил Папа.

— Не знаю! — ответил я.



— Ладно! — угрожающе сказал Папа. — Раз ты не знаешь, будем разбираться вместе.

На Семейном Совете.

Семейный Совет в составе Папы, Мамы, Бабушки, Дедушки и Дяди (они же Старшие Родственники) был назначен на ближайший вечер и проходил в Большой Комнате.

Большая была больше Маленькой на две десятых метра, но все равно называлась Большой.

Видимо, потому, что в ней обитали Самые Старшие Родственники (Бабушка с Дедушкой) и вынужденно примкнувший к ним раскладушечник Дядя...

Редкими заседаниями Семейного Совета обычно руководила Бабушка.

Однако на сей раз эта роль досталась Папе.

Вернее, он сам себе ее присвоил.

Как инициатор нынешнего Семейного Совета.

Как его идейный вдохновитель.

Впрочем, остальные Старшие Родственники (в лице Бабушки) перечить даже и не пытались...

Все Старшие Родственники (кроме Папы), будучи массовой и хором, расположились рядком — спина к спине — на застеленном кусачим ковром диване.

А меня посадили в центре Большой Комнаты на табуретку, ради такого случая временно передислоцированную из кухни.

Вокруг меня, периодически меняя радиус движения и неся свои неоспоримые аргументы в массы, вышагивал солирующий Папа:

— Кто рисовал на обоях каляку-маляку в Маленькой Комнате и был пойман с поличным? Сережа!

Кто, когда стоял в углу за то, что рисовал каляку-маляку, был обнаружен рисующим каляку-маляку на тех же обоях? Сережа!

Кто рисует всюду и везде исключительно каляку-маляку? Сережа!

Какому взрослому человеку взбредет в голову рисовать каляку-маляку, да еще в кружке другого взрослого человека? Никакому!

Кто рисовал в кружке? И зачем?

Ответ напрашивается сам: наш с вами младший родственник Сережа! Из хулиганских побуждений!

Но всего неприятнее то, что рисовавший в кружке каляку-маляку Сережа не желает признать этот очевидный факт, попросить прощения у своих Старших Родственников и пообещать всем нам впредь не рисовать в кружке!

Ни простыми карандашами, ни цветными, ни красками!

Ни-ког-да!..

Старшие Родственники укоризненно смотрели на меня, ожидая, когда я признаюсь, и все прочее по списку.

Я же то молчал, как партизан, то твердил, размазывая по щекам и глотая обильные слезы, что каляку-маляку в кружке не рисовал.

Наконец так ничего толком и не добившись от Младшего Родственника, подуставшие Старшие Родственники оставили меня в покое.

А дня через два Папа вдруг опять обнаружил, что кто-то нарисовал в его кружке каляку-маляку.

И все началось по новой.

Меня увещевали, стыдили, теснили к позорному столбу...

Долго. Упорно. Самозабвенно.

И — наконец — добились желаемого.

Обессиленный чужим напором и уже сомневающийся в своей непогрешимости, сквозь слезы и сопли я сознался, что рисовал в кружке каляку-маляку, и попросил за это прощения, искренне пообещав ничего подобного никогда больше не делать.

А еще через пару дней Папа вновь обнаружил, что в его кружке нарисована каляка-маляка.

И я снова, плача, сознался.

И снова попросил прощения.

И снова пообещал так больше никогда не делать...

И меня — как водится — снова простили.

Но каляки-маляки-то из Папиной кружки все равно никуда не исчезли!

Их ежедневно стирали ластиком и хозяйственным мылом, содой и пемзой.

А каляки-маляки — вроде вырастающих взамен отрубленных голов сказочного персонажа Змея Горыныча — возвращались назад, на дно и внутренние стенки любимой Папиной желтой кружки...

Правда, меня трогать и тормошить по этому вопросу Старшие Родственники (в лице Папы) перестали.

Прошло еще немного времени — и Папа — между делом — за какой-то общесемейной трапезой сообщил об окончании кропотливого и длительного расследования дела «О рисовании каляк-маляк в кружке».

Было установлено, что постоянное возникновение каляк-маляк внутри кружки напрямую связано с процессом подготовки к употреблению и собственно поглощением Папой горячего чая.

Короче, когда долгорастворимый сахар в эмалированной кружке с горячим чаем размешивался ложкой (или вилкой), то на дне и по бокам кружки образовывались трудносмываемые разводы (или царапины), внешне очень напоминающие не что иное, как нарисованные простым карандашом каляки-маляки.

Что Папа всем нам наглядно продемонстрировал чуть позже.

Уже за чаепитием.





7. Заслуженный кефирщик республики

Дедушка был Большой Начальник.

Но почти у каждого большого начальника тоже бывает начальник.

Вот и у Дедушки он был.

А если точнее, то была.

Поскольку начальника звали Валентина Фоминична.

Это — в глаза. А за глаза — просто Фоминична.

Что Фоминична — женщина крутая (в том, еще давнишнем значении слова), я знал из Бабушкиных с Дедушкой домашних разговоров, при которых порой мог нечаянно оказаться (совсем не у всех тогдашних больших начальников и квартиры были большие...).

Правильнее сказать, даже не из разговоров, а из их обрывков, ведь, едва заметив мое присутствие неподалеку от себя, Бабушка и Дедушка всякий раз в мгновение ока сворачивали с этой магистральной (как я понимаю сейчас) темы и переходили на какую-нибудь другую, менее животрепещущую...

Что Фоминична — женщина крутая, я как бы знал, но впрямую меня это никак не касалось.

Никаким боком.

Напротив, со мной она всегда вела себя подчеркнуто вежливо, уважительно, дружелюбно.

Мне очень нравилось с ней общаться.

По-моему, ей со мной тоже.

Я встречался с Валентиной Фоминичной довольно часто.

И в гости она к нам неоднократно приходила, и вместе на подмосковную лыжную базу (которая в дни праздников становилась своеобразным Домом Отдыха Руководящих Работников) мы регулярно выезжали, и на даче потом много лет соседствовали...

Любила Фоминична держать в поле зрения жизнь своих ближайших подчиненных.

Любила (и умела) быть в курсе их семейных дел.

Причем старалась в этих делах — по мере возможности — принимать активное творческое участие.

Как правило — с очевидной пользой для противной (приятной!) стороны...

Бабушка очень хотела, чтобы я вечером за пару часов до сна выпивал чашку кефира.

И многожды пыталась преуспеть в организации нужной для здоровья ребенка ежевечерней процедуры.

Все безуспешно.

Ребенок не желал пить кефир.

Ни кисловатый, естественного магазинного вкуса.

Ни подслащенный с помощью сахарного песка в домашних условиях.

Никакой.

Категорически.

Даже наличие симпатичных притягательных, похожих на медали зеленых крышечек из фольги на кефирных бутылках мало что меняло...

Информация о Бабушкиных организационных неудачах посредством Дедушки достигла Валентины Фоминичны, которая, как признанный организатор, сразу же нашла способ решения кефирного вопроса.

Нужно было объявить социалистическое (а какое еще?) соревнование.

Длиною в квартал.

С целью привлечения ребенка к систематическому питью кефира.

Причем это должно было быть не просто соревнование, а соревнование по питью кефира!

Кандидатура первого участника состязания у жюри (или как его там?), возглавляемого Валентиной Фоминичной, сомнений предсказуемо не вызвала.

Что до соперника юного спортсмена — практически на безальтернативной основе, — то им стал Дедушка.

Во-первых, согласно генеральной идее Валентины Фоминичны для поддержания длительной турнирной интриги мне требовалась серьезная конкуренция со стороны опытного, закаленного жизнью бойца.

Во-вторых (весьма приятная неожиданность!), именно закаленный жизнью боец проживал на той же самой жилплощади, что и юный спортсмен, а это позволяло соревноваться ежевечерне, без вынужденных перерывов и простоев.

В-третьих, как посчитала прозорливая Валентина Фоминична, кефир — штука полезная не только для ребенка, но и для взрослого пятидесятилетнего мужчины, коим тогда являлся Дедушка.

В качестве приза подразумевалось нечто.

Что за нечто, похоже, не слишком знали и сами организаторы турнира, надеющиеся, впрочем, в течение трех месяцев это нечто придумать.

Ближе к награждению.

А там уж торжественно вручить победителю.

На старт! Внимание! Марш!

Валентина Фоминична, прибывшая к нам в гости, дабы перерезать ленточку на кухне, ленточку благополучно перерезала, тем самым дав отмашку — и мы с Дедушкой начали каждый вечер пить кефир.

Кто быстрее — наперегонки.

Главным судьей определили Бабушку (кого ж еще?), которая специально купленным в магазине «Спорттовары» секундомером фиксировала наши результаты, ежевечерне определяя победителя этапа, а заодно личные рекорды каждого участника.

После чего результаты вносились в таблицу соревнований, приклеенную изнутри к двери Маленькой Комнаты.

Иногда побеждал я. Иногда — Дедушка. Но чаще всего случались ничьи.

В кефирных баталиях прошла заключительная часть осени и первый месяц зимы.

Наконец положенный Валентиной Фоминичной на состязание квартал истек, и нужно было подводить итоги.

Тут организаторы (голосом главного судьи) объявили, что в течение недели, оставшейся до подведения окончательных итогов борьбы, участники трехмесячного поединка продолжают пить кефир.

Правда, не на время, а так, ради удовольствия...

Обе стороны-участницы не возражали.

Торжественное подведение итогов кефирной дуэли предусмотрительно назначили на 1 января, приурочив ко встрече Нового года.

Лучше всего для этого мероприятия, по мнению Валентины Фоминичны, годилась вышеупомянутая лыжная база.

Она же Дом Отдыха Руководящих Работников.

Планам Валентины Фоминичны суждено было сбыться.

На той знаменательной встрече нового, 1965 года помимо Валентины Фоминичны со всей ее семьей (мужа Александра Ивановича, двух их дочерей, обоих зятёв) среди прочих разных присутствовала и вся наша: Мама, Папа, Бабушка, Дедушка, Дядя и я.

Причем я впервые встречал Новый год не в лежащем одиночном положении, а в застольноседячем вместе со своими Старшими Родственниками (и с кучей других взрослых...).

Дедушка и Александр Иванович, облаченные в синие брюки на подтяжках, нейлоновые белые рубашки и картонно-бумажные гусарские кивера (при этом их лица практически целиком покрывали одинаковые карнавальные маски, состоящие из очков, носов и усов), с большим успехом исполнили то ли тирольский танец, то ли танец маленьких лебедей.

А Дядя на пару с дочкой другого большого начальника (по совместительству нашего московского соседа сверху) коллективному взору несколько шокированной публики продемонстрировали настоятельно входящий в моду, но вроде бы еще официально запрещенный твист.

Короче, общий праздник явно удался.

Включая праздник на моей отдельно взятой улице, который достиг своего апогея в момент торжественного награждения победителя и призера длительной кефирной битвы.

Валентина Фоминична собственноручно осчастливила меня настоящей почетной грамотой, в кото-

рой значилось, что мне присуждается первое место в соревновании по питью кефира, а также присваивается почетное звание «Заслуженный кефирщик республики» (почему — сразу — не Советского Союза?), с вручением Малого Ордена Ленина (почему не Большого, я даже не спрашиваю...).

Малый Орден был сделан из нижней части значка, на котором ясно угадывался профиль вождя мирового пролетариата.

Верхняя же часть Малого Ордена практически ничем не отличалась от верхней части Дедушкиных военных медалей и точно так же цеплялась к груди.

Или к чему-нибудь еще...

Я потом однажды, через пять месяцев, даже надел этот Малый Орден на грудь.

Тогда как раз отмечалось двадцатилетие победы Советского Союза в Великой Отечественной войне — и мирная Бабушка, крайне противящаяся милитаристским играм единственного внука, уступив моим настойчивым уговорам, сшила мне солдатскую почти защитного цвета пилотку, а в придачу к ней гимнастерку.

Из того же материала.

Дома играть в войну Бабушкиными усилиями мне, как правило, не разрешали.

Хотя иногда мне все же позволялось строчить из игрушечного автомата и в домашних условиях.

Главным условием было — не целиться в живых людей...

Другое дело — детский сад.

Там игра в войну наряду с футболом на одной третьей части общего участка (две другие принадлежали другим группам), огороженной забором территории с беседкой, являлась основной мальчишеской забавой.

Порой мне приходилось становиться и фашистским офицером, что меня отнюдь не огорчало.

Я умел найти в этой роли свои плюсы, подспудно чувствуя, что сопереживать можно и врагу.

Который тоже — человек...

Но — к моей военной форме.

Бабушкиного кроя и шитья.

Бабушка вообще много шила.

Даже в начале пятидесятых, когда Дедушку уволили и чуть не посадили, она своими портняжными умениями около года семью кормила...

А мне любила шить вещи синие и с оттенками голубого, полагая, что в них мои серые глаза становятся васильковыми.

Так вот, о моей военной форме.

Она создавалась, чтобы я мог ее надеть на двадцатую годовщину Дня Победы.

Так все и вышло.

К пилотке я прицепил всамделишную красную звездочку, купленную Дедушкой в «Военторге».



А Малый Орден Ленина отправился мне на грудь...

Но это приключилось со мной уже после встречи Нового года, во время которой занявшему второе место в соревновании по питью кефира Дедушке тоже досталась грамота и тоже присвоилось звание.

Только немного скромней, чем у меня, — «Кефирщик Российской Федерации второй степени».

И вместо нагрудного знака Дедушка получил Большую Серебряную Шоколадную Медаль.

Действительно громадную.

Запакованную в серебристую фольгу.

Другой такой Медали (или хотя бы отдаленно на нее похожей) я в жизни не видел.

А эта чуть позже перекечевала ко мне.

Я ее долго хранил в моем ящике Папиного Письменного Стола.

Пока — в конце концов — не съел...

По завершении соревнования кефирщиков я еще какое-то время каждый вечер продолжал пить кефир, постепенно переходя на менее регулярное его потребление.

Через год прекратилось и оно, чему Бабушка почему-то не противилась.

8. Когда придет моряк...

— Когда придет моряк, мы отправимся на художественную выставку, а пока ты у меня в гостях, я спою тебе украинскую народную песню, — обратилась ко мне Другая Бабушка.

Другая Бабушка открыла фортепьянную крышку, прикоснулась руками к черно-белым клавишам и запела низковатым, почти мужским голосом.

При этом двойной подбородок на ее одухотворенном умеренно усатом лице нежно дрожал, придавая дополнительную вибрацию песенному звучанию.

Другая Бабушка любила рассказывать, как раньше, после окончания гимназии, пела в настоящей украинской капелле.

И вообще считала себя человеком, приобщенным к различного рода искусствам.

Ведь регулярно посещала консерваторию, ездила в кинолекторий, печатала на машинке профессиональным журналистам и писателям.

Даже вроде самому Шолохову.

Или его литературному секретарю...

Пишмашинка у Другой Бабушки была дореволюционная, знаменитой фирмы «Континенталь», с переставленной взамен иностранной русской алфавитной клавиатурой.

Пишмашинка вместе с Другой Бабушкой, Другим Дедушкой, а также с их первенцем — Другим Дядей и турецкой ручной кофемолкой прибыла на берега

Москвы-реки в начале тридцатых, навсегда покинув черноморскую Одессу.

Просто Другого Дедушку вызвали на новую работу.

Назначив каким-то мелким начальником внутри разрастающегося аппарата Главной Партийной Газеты...

Другая Бабушка поехала с ним — молодым, подающим надежды мужем.

А не со своими многочисленными (в том числе и старыми) родственниками, которых за пару лет до того местные власти практически вынудили покинуть проводящую очередную (слава богу, на сей раз бескровную) чистку Страну Советов...

Другой Дедушка с перерывом на войну, проведенную на фронтах Великой Отечественной, оставшуюся часть жизни так и проработал в аппарате Главной Партийной Газеты.

Начальником средней руки.

Или заместителем начальника чуть более крупного масштаба...

Проживая с предвоенных лет до заслуженной смерти (она у всех заслуженная) в двух смежных комнатах пятикомнатной ведомственной коммуналки.

С женой и тремя детьми, одним из которых был Папа.

Будущий идеолог хрущевского периода Ильичев, живший в том же доме, в такой же пятикомнатной, правда, отнюдь не коммунальной квартире и совсем не в том подъезде, порой позволял себе отдохнуть от государственных дел.

Это известие неизменно вторгалось в жизнь Другого Дедушки.

Грубо ее корректируя.

В обличье домработницы будущего создателя Новой Программы Партии, нажимающей нужное количество раз кнопку общего дверного звонка, дабы отозвались обладатели двух смежных комнат...

Они отзывались.

И увидев в дверях домработницу Дору, знали заранее, что она скажет.

А произносила она одну (и только одну!) фразу:

— Сам на рыбалку собрался...

В переводе на русский общеупотребительный это означало неизбежную необходимость немедленно, из рук в руки, передать домработнице лучший (и единственный!) плащ Другого Дедушки.

Ибо рыбу товарищ Ильичев ловил исключительно в плаще Другого Дедушки.

Прочие варианты будущим творцом морального кодекса строителя коммунизма даже не рассматривались...

Зато главный редактор еженедельника «Футбол» Мартын Иванович Мержанов никогда в звонок не звонил.

Просто оставляя в почтовом ящике Другого Дедушки свежий номер своего детища.

Еженедельно.

В течение лет.

И зим...

Я застал Другого Дедушку.

Хотя виделись мы нечасто.

Его последние годы, прошедшие по больницам и санаториям, совпали с первыми моими...

Другая Бабушка, дожившая почти до девяноста пяти, в моем дошкольничестве также общалась со мной лишь по праздникам и в дни, когда меня было не с кем оставить.

Чтобы попасть из нашего дома в гости к Другой Бабушке, требовалось перейти через Очень Большую Дорогу.

Наш дом находился (да и находится) строго напротив того, в котором обитала Другая Бабушка.

Из окна Большой Комнаты, кухни или ванной окна Другой Бабушки и один из двух ее двух балконов просматривались как нельзя лучше.

Вот я порой и устремлял туда взгляд юного естествоиспытателя...

Если я оказывался у Другой Бабушки, первым делом она куртуазнейшим образом предлагала мне снять верхнюю одежду в прихожей.

— Разоблачайся! — величественным полубасом произносила она, иногда имитируя посильную помощь.

Следом снятые вещи отправлялись на вешалку, где среди постоянно висящих неизменно привлекал мое внимание светлый потертый овчинный полушубок Другого Дедушки, пришедший на нем с войны, а теперь иногда использующийся в качестве одеяла.

Любил я им накрываться, да позволяли мне редко...

Взамен снятых мной валенок с галошами или ботинок Другая Бабушка выдавала мне чуваки — мягкие овечьи тапочки.

Чуваки мне нравились, потому что в них было удобно скользить по длинному широкому коммунальному коридору — в сторону кухни и обратно.

Немного приволакивая ноги и представляя себя всамделишным конькобежцем.

Каким-нибудь знаменитым чемпионом вроде Виктора Косичкина, Евгения Гришина, Антса Ансона, Валерия Каплана...

В сторону кухни с балконом, где помимо четырех столиков находился встроенный в стенку мусоропровод.

В нашем доме такого не было — и мусор мы выбрасывали на дворовую помойку (это у нас называлось — вынести ведро...).

А между этажами стояли совсем иные — эмалированные зеленые ведерки, покрытые разноцветными крышками.

На этих ведерках красовались бумажные наклейки с всеподъездно тиражированной надписью «Для пищевых отходов» (это у нас называлось — для свинок...).

Другая Бабушка и кормила меня иначе, чем кормили дома.

Коронным здешним блюдом считалась жареная картошка с яичницей.

Причем еда приносилась из кухни и подавалась к столу в огромной чугунной сковородке, для которой на буфетной полке имелась специальная крутobкая массивная подставка из железа.

Мне же приносили жареную картошку, залитую яйцом (картошечка с яйцом — так это здесь называлось), в маленькой аккуратной сковородочке и — тоже! — позволяли прямо с нее есть, еще дымящуюся.

Напрочь игнорируя такой жанр, как мелкая тарелка.

И подставочка своя для сковородочки наличествовала.

И вынималась она — тоже — из вышеупомянутого буфета.

У нас дома жареную картошку не готовили: либо — отварную, либо — пюре, в крайнем случае — отварную Бабушка чуть поджаривала.

А тут...

И стихи какие-то другие читала мне Другая Бабушка:

Каспар Шлих, куры табак,
Нес под мышкой двух собак!

После чего меня так и подмывало курить спички, которые у Другой Бабушки лежали не в бумажном коробке, как у нас, а в маленьком серебряном корбочке.

Коробочек она от меня не прятала и курению спичек не препятствовала...

Сказки Другая Бабушка тоже читала другие.

Наизусть.

Из книжки «Чтец-декламатор», которую проштудировала от корки до корки в своем давнишнем южнорусском детстве с гимназией и украинской капеллой.

И с двойной красивой фамилией Поляк-Молдавская, полученной по факту рождения.

Очень смешно.



Потому что после того, как Другая Бабушка вышла замуж, фамилия Поляк-Молдавская превратилась в Белорусец...

— Когда придет моряк, мы отправимся на художественную выставку, — похоже, похвасталась мне Другая Бабушка и запела какую-то другую песню.

Под аккомпанемент пианино отечественного производства.

Взятого напрокат...

«Что за моряк?

И когда он придет?

И зачем ему художественная выставка?» — пронеслось у меня в голове, но — все-таки — я постеснялся спросить это у Другой Бабушки.

И не решался спросить много лет.

И не спросил.

Ведь в один прекрасный младшешкольный день догадался, кто такой этот загадочный моряк: Марьякльна, сотеатралка, совывставочница (и прочее, и прочее) Другой Бабушки, соседка по ведомственному дому, вдова академика архитектуры.

9. Аденоиды и гланды

Не сказать чтобы я в детстве много болел.

Скорее, наоборот: мало и коротко.

Из инфекционных детских болезней меня осалила только одна — через несколько недель после того, как, вернувшись вечером из детского сада, я сообщил Старшим Родственникам, что у Алеши дома заболела свинка...

Болел я мало.

Когда вдруг со мной это случалось, мама не шла на работу и вызывала мне врача на дом.

Чтобы врач появился в тот же день, надо было сначала — причем обязательно утром, до полудня! — сходить (или съездить) в поликлинику и записаться там в специальном журнале, который так и назывался — «Вызов врача на дом».

Вызов врача по телефону тогда еще не практиковался.

Днем (реже — вечером) приходил врач.

Раздевшись, первым делом направлялся в ванную комнату, где тщательно мыл руки с мылом.

Далее он спрашивал чайную ложечку для осмотра горла пациента — и, естественно, получал ее, заранее подготовленную к его приходу.

Следом доктор (как правило, женщина — тетя-врач) беседовал со Старшим Родственником (как правило, с Мамой) и осматривал больного, не обделяя беседой и его (меня то есть...).

А по результатам анамнеза и осмотра доктором делались диагностические выводы, озвучивались рекомендации и выписывались рецепты.

Большого всего мне, естественно, нравилась сладкая микстура от кашля.

«Капли датского короля» — как ее называла Мама.

Порой меня, простуженного, мазали скипидаром. Горчичники же ставили всегда.

И на грудь, и на спину.

Без газеты в качестве прокладки.

А наградой за мужество терпения было Мамино чтение во время того, как я держал горчичники (так это у нас называлось...).

Я любил, чтобы Мама читала мне Гайдара.

И еще мне нравилось, что Гайдар и скипидар отлично рифмуются...

Болел я действительно мало.

Однако носоглотка моя не внушала доверия.

Ни участковому педиатру, ни поликлиническому отоларингологу.

И чем дальше, тем больше.

Где-то с моих пяти стали они на пару пугать Старших Родственников необходимостью операции.

Мол, аденоиды надо вырезать — и все проблемы сразу рассосутся.

Проблем особых видно (и слышно) не было, но врачи становились настойчивей и настойчивей.

Старшие Родственники на первых порах вежливо сопротивлялись двуединому напору, а потом сообразили записать меня к профессору.

На консультацию.

Спустя несколько месяцев консультация состоялась.

Вердикт профессора был конкретнее некуда: надо вырезать!

Старшие Родственники им все-таки не удовлетворились — и отыскивали по разным местам еще некоторое количество ухогорлоносовых профессоров.

Дабы сравнить их мнения с уже записанными в моей медицинской карте.

Даже возили меня к некоему светилу в платную (единственную в Москве!) поликлинику имени Семашко (первого советского наркома здравоохранения).

Но вердикт — неизменно — был один и тот же: надо вырезать!

Причем чем раньше, тем лучше!

Старшие Родственники вынужденно смирились — и начали мне периодически рассказывать, как это здорово — аденоиды вырезать.

Чик-чик — и готово!

Вдобавок мороженое после операции дают...

Действительно, на заре подобного рода операций пациентам давали мороженое.

Для убыстрения процесса заживления...

Подоспело время моего укладывания в больницу. Но мне об этом Старшие Родственники сказали как-то обтекаемо.

То ли ложишься, то ли не ложишься, а просто идешь на очередную консультацию.

Скорее всего, так они пытались смягчить очевидно однозначную и не подлежащую корректировке информацию.

Короче, мы с Бабушкой прибыли в больницу, которая находилась там же, где и наша районная поликлиника.

В том же здании.

Только подъезды разные.

Но и больничные подъезды мы с Бабушкой к тому времени уже несколько раз посещали.

Документы отдавали, с заведующим отделением разговаривали...

Поэтому я надеялся, что и на сей раз все пройдет примерно в том же режиме.

Бабушка меня не разубеждала...

Однако довольно скоро я догадался, что меня хотят оставить в больнице — и, плача, принялся просить Бабушку так бесчеловечно со мной не поступать.

Бабушка пообещала, а сама испарилась, передав меня с рук на руки медсестре приемного покоя.

На самом деле описываемая сцена происходила несколько иначе.

Медсестра силой отрывала ревущего и брыкающегося меня от пятящейся в нерешительности к лестнице Бабушки.

Пока не оторвала.

В общем, Бабушка меня обманула.

Второй раз в жизни.

Первый возник года за полтора до моего попадания в больницу.

Тогда меня по грандиозному благу устроили в новый детский сад неподалеку от нашего дома (старый-то располагался довольно далеко, меня туда возили на Дедушкиной служебной машине или на троллейбусе).

И вот Бабушка повела меня в новый детский сад.

Якобы исключительно в ознакомительных целях.

А дальше все разыгрывалось точно так же, как в уже описанной сцене в больнице.

С той лишь разницей, что в роли медсестры выступала детсадовская воспитательница...

Попадание в больницу пришлось на зиму — и в больнице был карантин.

В переводе с отечественного больничного языка отепельного советского периода это означало, что все пропущенное сквозь сито приемного покоя вместе с поступившим на лечение (или операцию) больным, а также дополнительно принесенное следом в

качестве разрешенных передач родственниками и прочими — домой к выздоровевшему не вернется.

Оставшись навсегда в стенах больницы.

Правило касалось и произведенных руками пациентов рисунков, слепленных ими в палатах пластилиновых фигурок, всевозможных других поделок.

Даже в знак дружбы подаренный однопалатником значок или свою же собственную домашнюю игрушку было нельзя уносить из больницы выпивавшемуся...

Палатные окна выходили на больнично-поликлинический дворик — и почти все время я старался проводить перед ближним к моей кровати окном, сидя на подоконнике.

В ожидании Дедушки.

Либо другого Старшего Родственника.

Потому что в первый день моего недельного заточения (хотя первоначально речь шла всего лишь о трех днях), повинувшись то ли тонкому душевному порыву, то ли надежде на чудо, я тупо уставился в окно — и вдруг — отчетливо — с третьего этажа — увидел Дедушку, сиротливо стоящего внизу.

Не помню, кричал ли я, призывая Дедушку увидеть меня ответно, дабы забрать домой, но руками жестикулировал точно.

Дедушка заметил меня в огромном окне старинного казенного здания — и вместо того, чтобы забрать домой, спрятался за широкое облепленное снегом дерево...

Медсестры и — особенно! — нянечки злостно запрещали сидение на подоконнике, считая сие занятие непростительной вольностью.

Но я все же исхитрялся просиживать перед окном.

Часами.

Для меня это был тот последний рубеж, который я сдать не мог.

И не сдал...

Ежедневно кто-нибудь из Старших Родственников приносил мне передачу, слабо отличающуюся от передач, которые получили мои разновозрастные (от четырех до одиннадцати лет) соседи по палате: бутылочный яблочный сок, зефир, упакованный по три штучки в прямоугольные картонные фасовки, сквозь целлофан коих просвечивали белые и розовые зефиринки (между двумя одноцветными — всегда! — одна иноцветная), альбом для рисования, цветные карандаши...

Вечером накануне операции лечащий врач дал мне знать (или дала?), что пить воду категорически запрещается.

Наверное, именно поэтому ночью мне захотелось пить.



Нестерпимо.

Сколько-то времени я продержался, но жажда брала свое.

И взяла, заставив меня выпить стакан кипяченой воды из коридорного титана, до которого я добрался крадучись.

Пряча под полой больничной пижамной куртки (байковую пижаму, предварительно забрав все мои носильные вещи, выдали мне еще в приемном покое) фаянсовую больничную кружку.

А утром была операция, в ходе которой меня, прикрепленного ремнями к хирургическому креслу, пытающегося при этом извиваться и ревушего бланком матом (несмотря на упреждающий укол заморозки), рвало кровью пополам с водой...

В результате этой успешно проведенной операции вырезали мне не только аденоиды.

Но и гланды.

Отдельно аденоиды тогда уже не вырезали.

И мороженого не давали.

На выписку Бабушка принесла мне новый шерстяной костюмчик, синий в белую узкую полоску, привезенный дедушкой из туристической поездки по освобожденной им двадцать лет назад Чехословакии...

Да, моя операция прошла успешно.

Так считали врачи.

Правда, болеть я меньше не стал.

Впрочем, и больше — тоже...

Однако из ребенка, с момента рождения соответствующего нижнему весовому пределу нормы, за пару лет превратился в почти толстяка.

Предоставив Папе возможность в шутку называть меня перекормышем.

А в качестве иллюстрации к моему будущему утрированно показывать (Маме и мне), как я стану возить пузо на тележке по ВДНХ, при входе в павильон «Свиноводство» демонстрируя прогуливающейся публике выдающиеся (вперед) собственные достижения.

Все это Папа регулярно и проделывал (не забывая комментировать).

С нескрываемым (для себя) удовольствием.

Вплоть до моего шестого класса.

10. Юный динамовец

Мне было лет шесть или вроде того, когда меня решили водить в бассейн.

Чтобы ребенок научился плавать, а заодно приобщился к регулярной физкультуре, попутно оздоровившись...

Бассейнов тогда (даже в Москве) еще толком не строили, но, по счастью, мы жили довольно близко от уже построенного — бассейна «Динамо».

Впрочем, купить абонемент в тамошний лягушатник считалось делом почти безнадежным.

Только не для Дедушки.

У него был знакомый, который работал в спортивной редакции Всесоюзного радио и к тому же носил звание судьи международной категории по водному поло...

Короче, абонемент был благополучно куплен — и меня принялись по три раза в неделю туда водить (а чаще возить): бассейн находился в двух троллейбусных остановках от нашего дома и в двух с половиной от моего детского сада...

Тренер мне достался громогласный и немногословный.

Как правило, во время занятий он молча ходил вдоль бортика бассейна, облаченный в белую короткорукавную футболку с динамовской сине-белой эмблемой, тренировочные синие брюки с широкими белыми лампасами и зелено-рыжие отечественные вьетнамки...

Порой он что-то коротко выкрикивал. Что конкретно — разобрать поначалу мне было трудно. А потом я и не пытался...

Длина лягушатника равнялась девяти метрам, ширина — трем, глубина — то ли семидесяти, то ли девяноста сантиметрам.

Народу же дошкольного и младшешкольного собиралось в лягушатнике, как сказали бы нынче, выше крыши...

Может, в таких условиях кто-то плавать и научился.

Только не я.

О чем честно и несколько виновато признался Старшим Родственникам по окончании срока действия абонемента, включавшего в себя трехмесячный курс обучения.

Старшие Родственники меня выслушали, задали какие-то вопросы, получили на них какие-то ответы, а очень скоро я узнал, что принято решение о продолжении моих занятий плаванием.

До победного конца, то есть — по крайней мере — до того времени, когда я научусь нормально держаться на воде...

Судья международной категории по водному поло в очередной раз не подкачал, и я в сопровождении Бабушки был отправлен на повторный курс обучения в тот же лягушатник и, как выяснилось чуть позже, к тому же тренеру...

Тренер, неожиданно для моего восприятия умудрившийся узнать меня еще в вестибюле, сразу же напряженно прогромыхал:

— Зачем ты тут?

— Купили абонемент! — ответил я.

— Ну-ну! — прогрохотал тренер неопределенно, хотя, похоже, его это здорово задело.

Как только новая группа разделась и сгрудилась перед лягушатником, тренер обратился одновременно и ко мне, и ко всем новичкам:

— Вот он — сюда уже ходил... Плавать здесь учились... А теперь вам покажет, чему я его научил... Давай!

И — через мгновение — я оказался стоящим по грудь в бассейновой воде лягушатника.

Один-одинешенек. Впервые в жизни...

Нужно было проплыть девять метров.

А прежде мне удавалось от силы полтора...

«Господи!» — вблизи неотвратимо приближающегося разоблачения подумал я — и поплыл, беспорядочно суча всеми четырьмя конечностями...

И — весьма удивился, когда спустя несколько секунд — вдруг — воткнулся резиновошапочной головой в противоположный край лягушатника...

— Вот, — пророкотал тренер, обращаясь к группе — и вы так будете. Как он!.. Я учил!..

Меня же поманил пальцем. А после того, как я вылез на бортик, молча повел в соседний с лягушатником семнадцатиметровый бассейн.

Мы прошли по внутреннему перешейку, разделявшему бассейны, и вблизи семнадцатиметровика тренер снова пробасил: «Давай!»

И тут я с ужасом понял, что от меня требуется очередное спортивное плавание на дальность.

Каким образом удалось мне справиться с этими семнадцатью метрами, я не знаю.

Просто зажмурил глаза, задержал дыхание — и очнулся, лишь когда, уже нахлебавшись воды и выдохшись окончательно, все-таки доплыл до противоположного края бассейна.

Тренер снова поманил меня пальцем, предлагая вылезти наружу.

Я с огромной радостью подчинился.

— Не твой бассейн! — прогудел тренер, и мы пошли дальше (причем ноги мои еле плелись) — через мужскую душевую, приведшую нас к самой большой здешней — ватерпольной бассейновой ванне.

В ней обычно тренировались (а реже играли матчи) ватерполисты, которых сейчас не наблюдалось...

Кстати, о ватерполистах.

Иногда после занятий в лягушатнике мне удавалось упросить забиравшего меня из бассейна Старшего Родственника, чтобы мы хоть несколько минуток понаблюдали с настоящей деревянной трибуны за могучими дядьками в матерчатых маленьких шапочках на завязках...

Между прочим, и плавки у ватерполистов тогда были матерчатые, на завязках.

Черные, синие или красные (под цвет шапочек), с белыми каемочками по низу.

Да и почти у всех были такие плавки.

У меня — в том числе...

— Давай! — продудел тренер, когда путь от среднего динамовского бассейна до самого большого был нами пройден.

И я догадался, что живым я сегодня домой не вернусь.

Поскольку большой бассейн славился не только длиной, но и глубиной: здесь кроме ватерполистов тренировались и прыгуны в воду...

Но сколько-то десятков метров кролем на груди, а правильнее сказать, весьма вольным стилем я все-таки осилил.

А тренер куда-то делся.

Вернее всего, отправился в лягушатник, к своей новой группе.

Когда он вернулся, я был еще жив, потому что все это время судорожно цеплялся за легкий, с нежным звуком вибрирующий под моим весом и смешно шлепающий по воде, но — без вариантов — спасительный (для меня) горизонтальный канат, отделяющий одну плавательную дорожку от другой...

Тренер поманил меня пальцем, а по дороге назад разразился привычно громогласной, но неожиданно продолжительной речью, смысл которой сводился к тому, что абонемент надо вернуть в кассу, где отдадут потраченные на него деньги, потому как отныне я член секции плавания спортобщества «Динамо», называюсь «юный динамовец», занятия бесплатные, следующая тренировка послезавтра, нужно обязательно принести две маленькие фотографии: одну для пропуска в бассейн, вторую — для удостоверения юного динамовца...

За семейным ужином я поделился со Старшими Родственниками сегодняшними моими приключениями, опустив некоторые незначительные подробности.

Через пару дней было принято следующее решение: хождение в бассейн приостанавливается.

Плавать-то ребенок научился.

А оздоравливаться можно и другими способами.

В том числе — домашними...

Меня такой поворот событий вполне устраивал.

Тем более что я совсем не хотел быть юным динамовцем.

Ведь еще с четырех лет я страстно болел за «Спартак»!

11. Вокруг футбола

Папа болел за ЦСКА, Дедушка и я — за «Спартак», Дядя — за «Динамо».

Почему-то считалось, что и Бабушка болеет за «Динамо».



А Мама ни за кого не болеет.

Впрочем, я подозревал, что Мама испытывает тайные симпатии к «Динамо».

Речь шла в первую голову (идеально круглую, как мяч!) о футболе.

Кстати, когда меня, поначалу длинноволосого и мелкокурчавого, стали стричь в парикмахерской, всякий раз после стрижки мама любовно проводила рукой по моей голове и ласково произносила одно и то же слово: «Футбол!»

Хотя стригли меня под полубокс...

В мужском зале парикмахерской, находящейся в доме, который кто-то называл ажурным, а кто-то кружевным...

Футбол вошел в мою жизнь рано.

Можно сказать, влетел в открытый ближний угол детской души...

Уже с четырех лет я был ярим спартаковцем, смотрящим по телевизору и слушающим по радио все футбольные трансляции.

У Дедушки наличествовал служебный пропуск, обеспечивающий проход в ложу прессы на матчи высшей лиги чемпионата СССР по футболу.

Вернее, два пропуска.

Один для прохода на Центральный стадион «Динамо», на Северную трибуну, а другой — в «Лужники», на БСА — Большую спортивную арену.

Дедушка почти всегда, если шел на футбол, брал меня с собой.

На «Динамо» мы ходили значительно чаще.

Ибо жили в двадцати минутах ходьбы...

Пропуск был на предъявителя, поэтому я ходил на футбол не только с Дедушкой.

Случалось, что с Папой, случалось, что с Дядей.

В зависимости от того, какие команды играли...

Да и сам я в футбол играл (как правило, с Дедушкой).

Дома в качестве мяча мы обычно использовали воздушный шар из тех, что приносились Старшими Родственниками с первомайских демонстраций или покупались мне во время народных гуляний.

Играли в незахламленном идеально прямом и даже не слишком узком коридоре.

Воротами (Дедушкиными) служила обитая дерматином внутренняя часть входной двери (снаружи дверь была целостно деревянная, с висящим на ней синим типовым, при свисающем снизу замке почтовым ящиком «Для писем и газет»).

А моими — находящаяся ровно напротив дверь Маленькой Комнаты.

Порой дверь Маленькой Комнаты оставляли открытой — и моими воротами тогда становился дверной проем, который я защищал самозабвенно...

Если Дедушка брал меня на прогулку, я обязательно прихватывал с собой мяч, чтобы мы могли «постукать» друг другу в каком-нибудь подходящем местечке.

На худой конец — во дворе или в примыкающем к нашему дому скверике.

Или на аллее Стадиона юных пионеров, который находился к нашему дому даже ближе, чем стадион «Динамо».

На СЮПе, как и на «Динамо», было большое футбольное поле, окруженное гаревой дорожкой и секторами для прыжков и метаний.

И трибуна на три, что ли, тысячи зрителей.

Иногда на поле играли в футбол.

Иногда в регби.

Но регби меня совсем не интересовало.

Куда пойти?

На футбол!

Либо в цирк!..

Альтернативных вариантов в моем дошкольном детстве не предусматривалось.

Цирк возник по причине знакомства в доме отдыха «Плесково» с Неким Работником Союзгосцирка.

Тому в «Плескове» понравилось.

Мне в цирке — тоже.

Как следствие — я бессчетное количество раз ходил в цирк.

С Бабушкой.

В ложу дирекции.

Благодаря Некому Работнику, исправно выдающему нам контрамарки (или что-то вроде).

А тот регулярно ездил отдыхать в «Плесково».

Благодаря Дедушке, исправно достающему ему путевки.

В цирке меня больше всего занимало, как играли в футбол.

Клоуны.

Или медведи.

...Из Маленькой Комнаты открывался вид на ипподром.

Там, внутри гигантского бегового круга, кроме дистанции конкура да прочих спортплощадок располагалось и поле для игры в футбол.

Футболисты — такие маленькие издали — играли, а я смотрел на них из окна.

Тоже такой маленький.

Как ни посмотри...

Вообще футбол привлекал меня во всех своих формах и обличиях.

Я мечтал о настольном футболе, где жестко закрепленные за своими позициями игрушечные футболистики забивали голы в миниатюрные ворота.

Короткими ударами по крохотному блестящему шару светлого металла.

Посредством нажатия противоборствующими людскими сторонами на специальные тугие крючки — спусковые механизмы, приводящие в движение нижние конечности статичных трехцветных фигурок...

Я мечтал о настольном футболе — и однажды получил его в подарок.

Я в принципе любил, когда мне дарили мячи.

Кроме них признавая за игрушки лишь разнокалиберных плюшевых медведей да похожих друг на друга человекообразных обезьян...

И — еще железную дорогу с вагончиками.

Играя в нее, я вспоминал о настоящей железной дороге.

Только детской.

Про которую мне рассказывали Старшие Родственники.

И планировали как-нибудь меня туда сводить...

Моим любимым мультфильмом был «Необыкновенный матч», рассказывающий о футбольной встрече команды фабрики мягких игрушек с командой, составленной из твердых, жестких, но беспринципных игрушек-хулиганов.

Мягкие победили жестких.

В упорной борьбе.

Я даже настоял, чтобы мне купили книжку, сделанную по мотивам этого мультфильма.

А довоенную кинокартину «Вратарь» про Антона Кандидова мы смотрели с Дедушкой в кинотеатре «Динамо», который находился под Северной трибуной стадиона.

Перед началом сеанса какой-то зритель, садясь на соседнее деревянное кресло, нечаянно прищемил мне палец.

О чем, постеснявшись, я не сказал до конца фильма.

Ни соседу, ни Дедушке...

Впрочем, сосед об этом так и не узнал.

А Дедушка, узнав, не ругал меня вовсе...

Правда, Дедушка был тем единственным Старшим Родственником, который обещал мне «заставить ремня».

За мое плохое поведение.

Множественно.

Но так свое обещание и не выполнил.

Вернее, однажды он все-таки вытащил из встроенного в стену туалета шкафа Дядин школьный ремень середины пятидесятых и предложил мне оголить пятую точку.

Я с ужасом повинился — и приготовился претерпеть муки...

Но Дедушка, видно, спохватился.

Хотя и ударил мне по мягкому месту кожаной частью ремня.

Очень слабенько.

Ради проформы.

Чтоб только не обмануть ожидания горячо любимого внука.

А вот пупликами — шумными, эксцентрически обставленными поцелуями в область пупка (и в другие телесные области) Дедушка одаривал меня регулярно, вызывая ответную благодарную щекотку.

«Делать пуплик» — так это у нас называлось...

Папа мне рассказывал о футболе пуговичном — была такая мальчишеская игра в его небогатом на дары и разнообразия послевоенном детстве.

Футболистами в пуговичном футболе выступали самые обыкновенные пуговицы, мячиком являлся малюсенький шарик из воска для натирки полов, а полем становился огромный кусок твердого картона.

Причем абы какой картон здесь не годился.

Опытным путем игроки выяснили, что лучшее поле для игры в пуговичный футбол — это картон второй категории с комбината «Правда», где работали родители большинства юных футболистов-пуговичников.

Я видел тогдашнее игровое поле.

И даже играл на нем в пуговичный футбол с Папой.

Он принес свое старое коричневое размеченное по стандартам настоящего футбола картонное поле, все же найденное им в глубине темной комнаты (чулана) той коммуналки, в которой Папа жил, будучи мальчиком и юношей.

А две команды пуговичных футболистов, аккуратно сложенные в специальные металлические мини-тубусы вместе с кучкой восковых не прилипающих к поверхности картона мячиков, до поры хранились в ящике Папиного Письменного Стола...

Пуговицы для игры тоже подходили не всякие: требовались имеющие достаточную толщину, чтобы они могли прочно стоять на картоне во время удара по восковому мячу.

На дороге подобные пуговицы практически не валялись, поэтому Папе и его друзьям приходилось выискивать их повсюду.

Выменивать, даже иногда брать без спросу из домашних материнских шкапулок или самовольно отрезать с лучших (и зачастую единственных) отцовских костюмов...

Пуговицы (а по-здешнему — игроки) не были безымянными.

У каждой (каждого) имелась фамилия или кличка.

И — обязательно! — персональное место на площадке, свое постоянное игровое амплуа...



Естественно, пуговичные игроки являлись собственностью их владельца, совмещавшего в одном лице должности тренера и директора команды.

Короче, всякий мальчик, занимающийся пуговичным футболом, весьма напоминал своеобразного кукловода на манер Карабаса-Барабаса.

Пуговицам же отводились роли послушных кукол...

Футбол не отпускал меня, усаживая за телевизор или вовлекая в то, что люди, равнодушные к нему, определяли скучно-безликим словосочетанием «гонять мяч».

Помню, впервые оказавшись на даче в Салтыковке, в начальные часы пребывания там я из окна второго этажа (шел мелкий дождик) увидел ребят, игравших на участке (так это у нас потом называлось) в футбол, и прибежал поближе: посмотреть.

А они, которые были намного старше, сами (!) пригласили меня сыграть с ними, доверив место в воротах.

Почему-то играли баскетбольным мячом, еще допотопным.

Даже не ниппельным, а со шнуровкой.

От воды тот разбух, отяжелел, затвердел.

Глухо и плохо он отскакивал от почвы, состоящей из промокшей смеси вытопанной травы и неглубоко взрыхленной земли...

Удар, пришедшийся в створ ворот (потом я узнал, что наносивший его шестнадцатилетний парень занимался в ФШМ — Футбольной школе молодежи при «Лужниках»), располагавшихся между стволами двух корабельных сосен, я отразил, но моя левая рука в запястье под тяжестью мяча не выдержала и хрустнула.

Был субботний вечер, а следом — ночь с субботы на воскресенье, которую я провел не сомкнув глаз от боли.

Наутро Старшие Родственники повезли меня на машине в Москву, в Морозовскую детскую больницу.

Откуда к вечеру я и возвратился на дачу.

С переломом лучезапястного сустава и с обвивающим шею бинтом, который поддерживал наложенный мне на руку до локтя гипс.

Годом позже там же, на даче, мы смотрели английский футбольный чемпионат мира по телевизору.

Соседи по участку (на нем помещалось аж четырнадцать двухэтажных дач) телевизоры из Москвы не привезли — посему приходили смотреть наш.

Чтобы всем было видно, Дедушка выставлял телевизор, стоящий на подоконнике первого этажа, экраном к толпящимся перед нашей дачей соседям.

Стульев, табуреток и скамеек, выданных мужскому народу Бабушкой, явно не хватало.

Ближайшие соседи приносили свои.

Дальние довольствовались местами стоячими...

Первый раз советское телевидение вело репортажи с чемпионата мира по футболу.

Первый (и последний) раз сборная Советского Союза вышла в полуфинал этого наименее престижного планетарного турнира.

Первый раз я почувствовал необходимость поделиться с кем-то собственными ощущениями от увиденного.

В письменной форме.

Бабушка мне выдала Дедушкин пустой блокнот в красном твердокаменном переплете и толстый начальственный (опять же Дедушкин) синегрифельный карандаш.

И я написал отчет о матче СССР — КНДР.

На пяти блокнотных страницах.

Целых семь безумных предложений.

Крупными корявыми печатными буквами, с невероятным количеством ошибок...

Блокнот потом потерялся.

А символ чемпионата мира по футболу 1966 года — симпатичный британский львенок Вилли — остался в моем сердце и на цветной картинке-закладке в Папиной компактной научной картотеке, хранящейся внутри Папиного Письменного Стола...

Тогда же, в мое последнее дошкольное лето, на дачу к Дедушкиной начальнице Валентине Фоминичне привезли погостить какого-то узбекского мальчика из Ташкента, города, пострадавшего в конце весны от сильнейшего землетрясения.

Мальчик был на пару лет старше меня — и увлекался футболом, болея, естественно, за ташкентский «Пахтакор».

И мы сыграли с мальчиком в футбол.

И я победил.

С разгромным счетом.

А еще высокий длинноногий узбекский мальчик увлекался бегом — и по совету Валентины Фоминичны (а может, по личной инициативе) предложил мне сбегать наперегонки.

На всю длину далеко не маленького участка — от забора до — нет, не до обеда — до забора...

Пробежать следовало метров двести.

Валентина Фоминична взмахнула рукой, как флажком, дав нам старт — и мы одновременно приступили.

Во весь опор.

Не жалея сил.

И я его обогнал.

Метра на полтора.

Очень удивившись.

Потому что боялся, что позорно проиграю.

Я его обогнал — и был обессилен.

Но это уже не имело значения.

Ведь я его обогнал!

А он, отставший от меня на полтора метра, задыхаясь и переходя на плач, вдруг сказал, что мы договаривались бежать не от забора до забора — нет! — от забора до забора и обратно...

Из последних сил я попытался возразить.

Но мальчик не хотел меня слушать.

И мы побежали назад.

Вернее, поплелись.

Потому что бежать уже не могли.

И он доплелся метра на полтора раньше меня.

Впрочем, на месте старта, обернувшегося финишем, никто нас не ждал...

А еще в то же лето там же, на даче в Салтыковке, учил меня Папа кататься на трехколесном велосипеде.

Называлась красная машина «Школьник» — и мне это льстило.

Сидя в седле, я почти уверенно нажимал педали — и ехал.

Зигзагообразно.

Поддерживаемый за седло семенящим сзади Папой.

Папа обещал, что седло не отпустит.

Но — все-таки — отпустил.

А мне — не сказал...

Когда я это понял — я упал в салтыковскую траву.

Правда, не сразу — метров через десять...

...Папа болел за ЦСКА, Дядя — за «Динамо», мы с Дедушкой — за «Спартак».

Когда «Спартак» проигрывал, я плакал.

Горько, долго, безутешно.

Впоследствии мои безутешные плачи коснулись и проигрышей сборной.

А вот радости от выигрышей «Спартака» и сборной я почти не испытывал.

Воспринимая их как что-то само собой разумеющееся.

Болельщиком я стал в четыре года.

Меня заразили Старшие Родственники.

О чем я теперь весьма сожалею, ибо излечиться удалось лишь отчасти.

Зато мой сын абсолютно свободен от этой мировой заразы...

12. Дед Мороз

Я тогда ходил в старшую группу детского сада.

Вернее, меня туда водили Старшие Родственники.

Водить было, к счастью, недалеко: через Очень Большую Дорогу и еще через одну, поменьше.

Детский сад, принадлежавший Союзу художников, располагался во дворе кооперативной кирпичной хрущевской одиннадцатизэтажки.

Пайщиками кооператива являлись члены московского отделения вышеупомянутого Союза, преподавательский состав ведущего педагогического вуза столицы и музыканты, в основном представляющие могущественный симфонический оркестр.

Впрочем, количество обитающих в доме разномастных мастеров кисти, карандаша, фломастера, резца (список можно продолжить) было несоизмеримо с количеством педагогов и примкнувших к ним исполнителей.

А у некоторых особо отличившихся художников даже свои весьма габаритные мастерские имелись.

Самым верхним стеклянным этажом неизменно бросаясь в глаза тем, кто впервые оказывался в этом престижном районе Москвы.

Ну и всякой падкой на гигантизм окрестной малышне...

Первый же этаж уличной стороны дома украшали огромноростые витрины на манер ушедших в небытие «Окон РОСТА».

Сатирические, годящиеся для журнала «Крокодил» плакаты отдельных членов МОСХа и стихотворные подписи к ним, сложенные государственно ангажированными рифмоплетами, предсказуемо бичевали пьянство и тунеядство.

Плюс к тому — часть площади первого этажа была закреплена за выставочным залом.

С регулярно обновляющейся экспозицией.

В силу вышеперечисленных причин описываемый дом у нас назывался словосочетанием Дом художников.

Редкие в тогдашней (да и теперешней) столице доги и эрдельтерьеры, выгуливаемые (на поводках) их элегантно одетыми владельцами, ежеутренне встречались мне по дороге в детский сад.

Чуть чаще попадались на глаза трусящие в намордниках рядом с хозяевами бульдоги и боксеры, а также безнамордничково семенящие таксы да болонки...

В детский сад меня устроили по грандиозному благу.

Притом что сам блатмейстер, регулярно исполняющий партию первой скрипки в оркестре под управлением Юрия Силантьева и активно совмещающий в себе уйму других социально полезных обязанностей, был карликово мал.

Перед тем, как меня перевели в старшую группу детского сада, я некоторое время провел в средней, которую посещал без особого рвения.

А на первых порах — и вовсе с очевидным отвращением.

Видимо, привыкая к новым обстоятельствам жизни.



Так прошел год, завершившийся поездкой с детским садом на дачу, в Тарусу.

Там я освоился, научился плавать (пока — руками по дну), потихоньку становясь верховодом в средней группе, которая по приезде назад автоматически превратилась в старшую...

Сохранилась фотография, где я в белой майке с разорванной бретелькой и в невесть каким образом ко мне попавшей то ли морской, то ли авиационной синей пилотке — заговорщицки приобнимаю за подручное плечо тогдашнего моего ближайшего прищешника с голым торсом и в тривиальной панамке.

Будущего соцреалиста и заслуженного художника.

Почувствовав во мне силу жоака, обратила на меня пристальное внимание и девчачья половина детсадовской группы.

Да так, что, не прилагая почти никаких усилий, я мог (оправданно!) считать моей практически любую из одноклассниц.

Больше никогда в следующие годы жизни не было у меня столь ошеломляющего и долговременного (около двух лет) успеха у женщин.

Пусть маленьких, но все-таки...

Это вдохновляло, радовало, держало в тонусе.

Порой даже толкало на авантюры.

Скажем, зимой, о которой пойдет речь, я вместе со своей Главной Любовью Того Времени самовольно покинул пределы детского сада ради экскурсии в соседний двор, где построили Большую Горку.

Моя Главная Любовь Того Времени гарантировала мне отличное катание с Большой Горки, ведь сама жила в этом дворе.

И, возвращаясь домой из детского сада, не упускала возможность разок-другой-третий скатиться с Большой Горки (наша-то детсадовская той в подметки не годилась...).

Когда мы по сугробам (так нам казалось интереснее, причем я был без шапки-ушанки и залихватски размахивал ей) добрались до соседнего двора, Большая Горка оказалась занята.

Мальчиком в серо-коричневой импортной социалистической куртке с капюшоном, разрезанным молнией надвое — так, что он лежал на мальчиговых плечах вроде воротника матроски, только воротника, открывающего любопытствующему взору цигейковую подкладку...

— Знакомьтесь! — сказала Моя Главная Любовь Того Времени, одновременно обращаясь и ко мне, и к мальчику в куртке. — Это Мой Первый Любовник!

Похоже, мы с мальчиком оба не слишком ожидали подобного представления.

А Моя (Наша) Главная Любовь Того Времени как ни в чем не бывало забралась на Большую Горку

и стала раз за разом съезжать с ее деревяннольдистой поверхности.

Мы с мальчиком потихоньку пришли в себя — и тоже последовали примеру Нашей Главной Любви.

Чтобы по-настоящему встретиться друг с другом почти через год.

В первом «А» классе спецшколы с преподаванием ряда предметов на английском языке...

В первом «А» классе, где мне не пригодится почти ничего из школьно-письменных принадлежностей, входящих в состав симпатичного деревянного ящичка под названием «Подарок первокласснику», преподнесенного мне в день окончания детского сада его руководством.

Не подойдет, потому что перьевыми ручками тогда в первом классе уже не писали.

И тетрадей в косую линейку не использовали...

И дневник не требовался...

Когда я освоился в новом детском саду, плакать я на его территории перестал.

Напрочь.

Помню лишь одни мои страстные слезы — реакцию на слова приехавшего осматривать нас окулиста.

— Надо носить очки! — строго произнесла тетя-врач, и в глазах моих свет померк.

Не хотел я носить очки — и все тут!..

Игровая комната детского сада считалась игровой с перерывом на прием пищи (здесь ближе к огромным окнам с фрамугами стояло несколько столиков, сидя за которыми детсадовцы завтракали, обедали, полдничали).

И дневной послеобеденный сон.

На время сна игрушки компактно складывались совместными усилиями детсадовцев и воспитательницы.

В самой дальней части комнаты.

А из кладовки нянечкой (техничкой) доставались раскладушки.

Для того чтобы спустя пару часов отправиться обратно.

Дневной сон в детском саду едва ли какой детсадовец жалует.

Особенно если детсадовец опытен и уже второй год посещает старшую группу.

Вот и я мертвый (или тихий) час обычно просто переждал, лежа в закрепленной за мной и поставленной на определенное место в комнате скрипучей раскладушке.

Но только не в тот день, о котором сейчас, наконец, пойдет речь.

Близился Новый год — и детсадовцы под началом музыкальной руководительницы Розы Марковны уже разучивали праздничные песни и танцы.

Да и вообще предпраздничные ощущения витали в воздухе.

Все это вместе взятое (вкупе со многим другим) и привело к тому, что я вдруг поймал себя на том, что сочинил две стихотворные строчки.

Я страшно поразился и очень обрадовался.

Но — целиком — на стихотворение пришедшее ко мне двестише явно не тянуло.

Тогда я начал целенаправленно придумывать продолжение.

Надеясь, что там недалеко и до окончания.

И стихотворения, и послеобеденного сна.

Как ни удивительно — так и получилось: и стишок, и тихий час завершились практически одновременно.

Оставалось не забыть сочиненное до прихода Мама.

Чтобы она записала.

Сам я, конечно, тоже мог.

Но понимал, что эта задача для меня слишком длительна и утомительна.

В ожидании Мама я все время повторял про себя праздничный стишок, а заодно и вносил в него некоторые дополнительные правки.

Окончательный вариант звучал так:

Дед Мороз

Дед Мороз! Дед Мороз!

Привези игрушек воз!

Целый воз игрушек!

Целый воз хлопушек!

Елочка сверкает

Золотым дождем!

Всех ребят мы угощаем

Вкусным пирогом!..

Правда, я до конца не решил: окончательно-окончательный это вариант или окончательно-предварительный.

Меня смущали два места в моем стихотворении.

Рифма «дождем-пирогом» не казалась мне совершенной.

В запасе у меня находилась елочка, сверкающая «золотым огнем», что с точки зрения рифмы выглядело получше.

Однако с точки зрения смысла меня больше устраивало «золотым дождем».

Хотя, если честно, дождь, который я имел в виду (такое елочное украшение), был серебряным.

С небольшими вкраплениями зелени...

Да и «вкусным пирогом» нравилось мне не слишком.

Впрочем, запасной вариант — «сладким» — нравился еще меньше...

Мама за мной вскоре пришла — и первым делом я заставил ее записать мое стихотворение.

Благо и ручка, и блокнот у Мама в сумке водились всегда.

А через несколько дней — шла уже последняя декада декабря — меня пригласил в гости мой новый друг по детскому саду.

Он жил в том же доме, что и детский сад.

Нужно было только выйти из двери детсада, завернуть за угол и войти в ближайший подъезд.

Что мы вместе с нашими мамами и сделали...

Втиснулись в лифт.

Поднялись на нужный этаж.

А там уж и до квартиры было рукой подать.

В смысле, ногой...

Ну и начали мы играть с моим новым другом.

И хорошо так играли.

И призы, между прочим, вручались знатные: золотые шоколадные медальки на ленточках.

Чтобы удобнее на шею вешать.

Я уже выиграл штуки три таких медальки, когда в комнате появилась Мама и сказала:

— Только что звонила Бабушка и просила быть дома как можно скорее: нас там ждут...

Кто ждет?

Зачем?

Почему нужно немедленно срываться с места и менять чудесное времяпрепровождение неизвестно на что?

Ответы на эти вопросы я от Мама так и не получил.

Ни в чужой прихожей, когда мы одевались, ни по дороге домой.

А дома ждал меня Дед Мороз.

Вместе с внучкой своей, Снегурочкой.

Ждал, чтобы персонально поздравить с наступающим Новым годом — первый и, возможно, последний раз в моей жизни.

Поздравить и торжественно преподнести «целый воз игрушек, целый воз хлопушек»!

А конфеты и прочие сладости в качестве подарков мной никогда не воспринимались.

О чем Дед Мороз, видимо, знал.

Поэтому мне их и не привез.

13. Школьничек...

Мою коляску держали на первом этаже.

У соседей.

Притом что жили мы на пятом.

Коляски тогда были тяжелые, а лифта в доме еще не было.

Вот и договорились Старшие Родственники (в лице Бабушки) с соседями о такой услуге.



Перед прогулкой коляску брали, после — возвращали.

Лифт как жанр возник в нашем доме через несколько лет.

Помню, как я рвался к лифту сквозь Бабушкины руки, тщаь помешать Маминому отбытию в очередную длительную командировку...

Помню, как не желал спускаться к лифту по ступенькам (лифт останавливался только перед междуэтажными площадками), чтобы идти с Мамой в театр, смертельно обиженный на нее за то, что она постриглась...

Помню, как летел к лифту, держа в руках тяжелые санки, направляясь на единственную зимнюю прогулку с Папой, когда он растормошил пьяного человека, спящего в опасной близости от железнодорожных путей.

А следом, поддерживая одной рукой (в другой была веревка, тянущая санки, груженные мной), долго водил его по окрестностям, чтобы — в конце концов — привести к нужному дому и нужной квартире...

Помню, как Мама стаскивала к лифту мой красавец велосипед «Школьник», на котором под Маминым приглядом я катался перед рестораном «Бега».

По гладкоасфальтовому безмашинному, похожему на плац прямоугольному пятачку, на котором весной и осенью шумно, с нетрезвыми подбаянными утренними песнями, провожали в армию и который почему-то назывался словом «круг»...

Помню, как я с Мамой и Папой степенно, по-взрослому, вышагивал к лифту, предвкушая семейный поход в кафе «Молодежное», где на какое-то время разрешили играть джаз и где Папу выбрали членом совета кафе...

...Первым делом во всех восьми подъездах шестизэтажного дома появились прозрачные стеклянные, просматриваемые насквозь — с обеих сторон — встроенные лифтовые шахты.

Далее — поставили лифты (по штуке на подъезд), которые первоначально могли везти людей и грузы только вверх, возвращаясь к месту старта порожняком.

Так продолжалось несколько лет.

Наконец лифт модернизировали, в результате чего он стал и поднимать, и опускать.

И народ, и добро народное...

Основной домовый массив был сработан в конце двадцатых, а двухэтажная надстройка (пятый и шестой этажи) добавилась незадолго до войны.

Эту надстройку заселили Руководящими Работниками в купе с их семьями.

Первоначально Дедушке дали квартиру в другом подъезде (будущий наш к тому времени еще не достроили...).

Да и в нашем Дедушке первоначально выделили совсем другую квартиру.

Удобную.

Просторную.

С двумя, что ли, балконами.

Но Бабушка настояла, чтобы Дедушка от нее отказался.

В пользу той, которая стала нашей.

Менее просторная и удобная.

Зато без балконов.

Чтобы маленькие дети оттуда ненароком не вывалились...

Материализуя Бабушкино желание, светившая Дедушке трехкомнатная квартира моментально превратилась в двухкомнатную.

Окна Большой Комнаты, кухни и ванной, где на крюке с утра до вечера висела Дядина раскладушка, выходили на Беговую улицу.

А окна Маленькой — почти на финишный створ Центрального московского ипподрома, так, что можно было следить за бегами — не только рысистыми, но и собачьими.

Порой на ипподроме устраивались и человеческие кроссы — забеги на круг длиною в одну сухопутную милю.

Или даже проводились автомобильные гонки.

Отсюда же, из окна Маленькой Комнаты, по советским праздникам скопом смотрели салют, который тогда средства массовой информации не догадались еще величать фейерверком.

Видно было хорошо.

Несмотря на то, что артиллерия была из района, примыкающего к Софийской набережной, расположившись в самой непосредственной близости от Кремля.

Салют я неоднократно смотрел и оказываясь на Софийской набережной, где в одной комнате коммуналки с высочайшими потолками жила Бабушкина старшая сестра — Баба Маня.

А в соседнем подъезде, в другой комнате такой же коммуналки, жила внучка Бабы Мани, по совместительству — моя троюродная сестра, моложе меня на год.

Вот с нами, малолетними дошколятами, Баба Маня зачастую и сидела.

Тем более что Бабушкина работа — если мерить московскими расстояниями — находилась рядом, в четверти часа ходьбы...

А еще Баба Маня, единственная из всех Бабушкиных сестер и вообще окружающих меня представительниц рода человеческого, была женщина религиозная.

И никакие хрущевские нападки на церковь ее, Бабу Маню, от регулярных посещений церкви не отвратили.

И от обрядов церковных.

Вроде бы даже Баба Маня меня, закинутого однажды по причине очередной занятости Старших Родственников к ней на однодневную побывку, взяла да в храме окрестила...

В чем через какое-то время Бабушке и приналась.

Законопослушная беспартийная советская Бабушка в ответ вроде бы промолчала — и мой крестильный крестик остался у Бабы Мани.

На вечное хранение...

Салют смотреть доводилось мне и будучи на Красной площади.

В честь пятидесятой годовщины Октябрьской социалистической революции (или октябрьского переворота — как сказали бы теперь) залпов назначили сверх нормы — ровно по количеству лет, прожитых неодоушевленной юбиляршей.

Мама, Папа и я стояли на воспетом безумными поэтами булыжнике (пролетариата?) в пятидесяти юбилейных шагах от Мавзолея, окруженные плотным живым кольцом из разновозрастных детей и взрослых.

И одна девочка лет тринадцати после каждого залпа маниакальным шепотом повторяла:

— Смерть Мао Цзэдуну! Смерть Мао Цзэдуну!

Как рефрен и молитву.

Впрочем, это будет потом, в моем школьном детстве...

А в дошкольном — мавзолей В. И. Ленина, выстояв предварительно четырехчасовую очередь, я посетил.

Вместе с Мамой, которая работала в специальном НИИ — и под страшным секретом по дороге домой после посещения, разочаровавшего нас обоих, мне сообщила, что исключительно благодаря ученым из их института немощные мощи вождя, пусть отдаленно, но все-таки соответствуют стандартам качества (нормам ГОСТа?..).

Но вернемся на предвоенную Беговую, где четырехлетняя Мама регулярно, два раза в неделю, смотрела детские передачи.

По телевизору.

Одному из нескольких десятков на Москву.

На весь огромный СССР.

Тогдашний наш дом хоть и был оснащен газовыми плитами и колонками, но теплоцентраль на Беговой аллее еще даже не спроектировали.

В коридоре квартиры, доставшейся Дедушке и его семейству, прямо на стене вблизи кухни имелась печка, а во дворе базировались крепкие бревенчатые сараи.

Внутри которых жильцы держали другие бревна — дрова.

В мои дошкольные годы по-прежнему крепкие сараи использовались для других нужд: по большей части для хранения собираемой кем ни попадя макулатуры...

Во время войны, когда Дедушка был на фронте, а Бабушка с Мамой и Дядей в эвакуации, квартиру оккупировали какие-то средние военные чины.

Впоследствии выбитые Бабушкой с исконно нашенской территории...

За годы проживания они сожгли весь паркет, пустили на стельки, варварски изрезав, практически все семейные фотографии и зачем-то сняли с петель кухонную дверь.

Вернее всего, тоже пустив на растопку.

Старшие Родственники в силу так и не прояснившихся для меня обстоятельств новой дверью кухню обнесли, поэтому когда Бабушка на кухне что-то жарила, она меня туда жестко не пускала.

Боялась, что обожгусь.

Играя в прихожей, я строго-настрого обязывался никогда без спросу не переходить порога кухни.

Только на время еды.

По ее окончании от меня требовалось произнести придуманную Бабушкой фразу:

— Спасибо! Можно выйти из-за стола?..

Без спросу я вообще почти ничего не делал.

Но тут была своя (моя!) хитрость.

Обилие Старших Родственников позволяло в случае отказа одного из них обращаться за разрешением к другому.

Ну а если отказывал тот, в запасе имелось еще несколько.

На худой конец годился и Дядя, которому едва перевалило за двадцать...

Вдобавок Бабушка прятала от меня спички.

Предлагая и остальным Старшим Родственникам поступать так же.

К тому же спички в доме — на всякий случай — в целях конспирации с Бабушкиной подачи спичками не назывались.

И постоянного места хранения (от меня) у спичек — опять же в целях конспирации и камуфляжа — не было.

Поэтому Папа, который как-то раз вознамерился перепрятать спички в отсутствие Бабушки, оставил ей на видном месте такую вот пояснительную записку:

Это, это, это —

На верхней полочке

Кухонного буфета!..

Я читать еще не умел.

Даже по слогам...

...Мою коляску держали на первом этаже.



Ведь на пятом у меня была собственная кроватка.
Она стояла посредине Маленькой Комнаты.

Я лежал в кроватке — и тарасил глаза на Маму
с Папой.

А они глядели на меня.

И Папа сказал Маме:

— Смотри, какой он серьезный!

Давай будем звать его Школьник...

Тогда Дедушка стал называть меня Сергей-
чик-Воробейчик.

А Мама все равно звала Сережик-Ежик.

И меня это уже не раздражало...

Даже нравилось!

Вы спросите:

— Почему?

Нет, вы не спросите.

Хэпилог

Бабушкино «Сереженчик» я с собой не ассоции-
ровал.

Мне было два года, и на сакраментальный во-
прос: «Как тебя зовут?» я отвечал неизменно:

— Сиддей!

Сережа или Сереженька меня категорически не
устраивало.

Тогда у Дедушки возник вариант Сергейчук, ав-
томатически потянувший за собой Папино Сер-
гейгек.

Мамино Сережик-Ежик почему-то воспринима-
лось мной в штыки.

После моего первого посещения зоопарка (под
водительством Мамы с Папой), где я катался на
пони, смотрел на хищников и кормил бегемота,
Папе взбрело в голову поинтересоваться:

— Сергей! Кто тебе сегодня в зоопарке понравил-
ся больше всех?

— Водобей! — честно ответил я, рассмешив Стар-
ших Родственников.

Р. S. В дошкольном детстве я больше всех других
сказок любил сказку Андерсена о стойком оловя-
ном солдатике.

Некоторые современные психологи утверждают,
что любимая дошкольная сказка определяет после-
дующий жизненный сюжет человека.

А некоторые предполагают, что этот сюжет
закладывается еще раньше, в перинатальном со-
стоянии.

Р. Р. S. При всем здешнем разнообразии чело-
веческих типов (и архетипов) мы (человечество)
довольно легко делимся лишь на дошкольников и
пубертатников.

Дошкольники лучше.

И мне они значительно ближе.

Вы спросите:

— Почему?

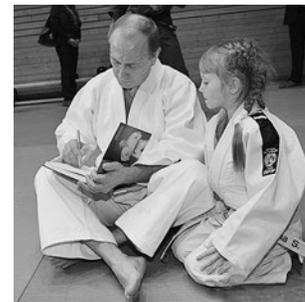
Спрашивайте!

Себя — тоже...



«Юность» открывает новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что сейчас идут споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем.



Елена САЗАНОВИЧ



Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008–2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала ТРАФИКА (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».

АРКАДИЙ ГАЙДАР: ВОЕННАЯ ТАЙНА МАЛЬЧИША-КИБАЛЬЧИША

Он погиб в октябре 41-го. Семьдесят один год назад. Одна пуля. Единственная. Прямо в сердце. Аркадий Петрович Гайдар (Голиков). Один из ста. Которого прочитать не просто стоит. Его произведениям нет цены. Как нет цены жизни. И смерти ради нее. И потому — бессмертию. Книги Гайдара издавались сотни и сотни раз. На восьмидесяти пяти языках мира. Тиражом свыше пятидесяти четырех миллионов экземпляров. Практически все они экранизированы. Без этих книг можно, но сложно понять смысл жизни. Но уже выросло два поколения подростков, которые в глаза этих книг не видели. Как не могут увидеть и смысла единственной жизни...

«Страницы честных, чистых книг / Стране оставил в дар — / Боец, Писатель, Большевик / И Гражданин — Гайдар» — такие стихотворные строки посвятил ему Сергей Михалков.

БОЕЦ. Участник Гражданской войны. В четырнадцать лет вступил в ряды Красной армии, где прослужил шесть лет. В пятнадцать окончил Киевские командные курсы. В шестнадцать возглавил атаку полка.

ПИСАТЕЛЬ. Классик и основоположник советской детской литературы. Его книги — об искренней дружбе, о верности идеалам и вере в идеальное будущее. «Р. В. С.», «Дальние страны», «Школа», «Чук и Гек», «Судьба барабанщика»... А повесть «Тимур и его команда» положила начало уникальному тимуровскому движению.

БОЛЬШЕВИК. Добровольно ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной корреспонденции «Комсомолки». После окружения в районе Киева попал в партизанский отряд, стал пулеметчиком. Погиб в первые месяцы войны в бою. Когда вскочил



в полный рост и повел товарищей в атаку: «Вперед! За мной!..» Смерть он принял стоя. Как и жил.

ГРАЖДАНИН. Военная гимнастерка. Широкий ремень. Папаха, сдвинутая на затылок. Открытое светлое лицо. Открытое светлое сердце. Жизнь Гайдара — пример военного и гражданского подвига. Когда в 41-м грянула война, тысячи ребят ушли добровольцами на фронт. Они были воспитаны на Гайдаре. Они знали главную военную тайну своей страны.

ГАЙДАР. Сегодня детским писателем пугают детей. Дожили! А вам не страшно, что они начинают жизнь с Гарри Поттера? Возьмите ребенка за руку и идите на Воробьевы горы. К первому в Москве памятнику литературному персонажу Мальчишу-Кибальчишу. В дедовской буденовке. Отцовская сабля в одной руке, горн брата — в другой. Он рвется вперед. Только вперед. Чтобы за них отомстить. И не только. Чтобы за них погибнуть. Или выжить и жить за них. Это и есть преемственность поколений. А потом дайте ребенку почитать «Сказку о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». Или почитайте сами. И вам захочется читать Гайдара еще и еще. Потому что эта сказка (которую автор чуть позже сделал частью повести «Военная тайна») откроет вам тайну жизни. И тайну смерти тоже. И еще — главную тайну своей страны.

«Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуйин. — Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово?..»

Это — гениальная сказка о свободе. Свободный стих в гениальной прозе. Или свободная проза в гениальных стихах. Она разве что сравнима с «Маленьким принцем» Сент-Экзюпери. Потому что эта проза-загадка. Попытка разгадать будущее. И его смысл. Вне времени и вне страны. Несмотря на конкретные символы эпохи. Все гораздо глубже, гораздо шире и гораздо-гораздо выше. Наверное, там, где



Памятник герою повести Гайдара Мальчишу-Кибальчишу — первый в Москве памятник литературному персонажу (скульптор — В. К. Фролов, архитектор — В. С. Кубасов)



Аркадий Гайдар

и находится главная идея Земли. И образ всадника — возможно, образ свободы. И смерти во имя нее. За которую и погиб Кибальчиш. Он погиб за свободу. Преданный Мальчишом-Плохишом, который таки выжил (Красная армия не убивала детей). И притаялся на время трусливый и жадный Плохиш, и наржал еще плохишей, а те — еще и еще. И заполнилась наша страна плохишами. Которые за бочку варенья и корзину печенья продали нашу страну... Грустный конец у этой сказки.

К счастью, Гайдар этого не увидел. Тот Гайдар. Для того чтобы вообразить «страну плохишей», нужно извращенное воображение. А он был наделен светлым и чистым талантом. Его страна — Кибальчишей и тимуровцев.

«Плывут пароходы — привет Мальчишу! / Пролетают летчики — привет Мальчишу! / Пробегают паровозы — привет Мальчишу! А пройдут пионеры — салют Мальчишу!» Салют и Гайдару! Которого оболгало поколение 90-х. И потеряло сегодняшнее. Так пусть же следующее его вернет. И вернется к нему. Как и к остальным 99 писателям.



Продолжение. Начало в № 7, 8, 9 за 2012 г.

Рисунок Юлии Спасовской

ГОНКИ НА ЛАФЕТАХ

РОМАН

Добролюбовский переулоч

Воха Павлюк, Гарик Точилин и Вадик Черновол недолго жили втроем, после того как Губарь освободил койку. Место не запустовало.

Нового сожителя, своего одноклассника круглолицего Пашу Накутного, опять же привел общительный Павлюк. Он же и дал ему кличку Узбек. За вечную хитрую крестьянскую ухмылку за узкими щелками глаз.

Вадик попробовал было возражать. Проявился голос. Был у него на примете свой кандидат. Но вырваться вверх в иерархии у Вадика не получилось. Его невнятный, непродуманный бунт Павлюк подавил. Угрозой буквального давления.

Заселение Паши Накутного совпало с переездом в другую комнату. События слились. Губарь, из уважения к его габаритам, числился в студсовете общежития. Так что с его уходом комнаты с видом на площадь их лишили. Остались на том же четвертом этаже, но с видом из окна на унылый Добролюбовский переулоч.

С появлением практичного Паши и при его непосредственной активности начали происходить изменения, наводиться некий порядок. При разборе завалов нашлась даже знаменитая ершистая пластмассовая зимняя шапка Губаря. Казалось, безвозвратно утраченная.

— Каково Олежке без нее, — фальшиво посочувствовал Павлюк.

Гарик усмехнулся.

— Надо бы Муле отнести.

— Зачем она ему. Вида нет.

Павлюк безуспешно выворачивал превратившийся в мохнатую кепку сплюснутый головной убор для придания формы. Шапку он один сезон все же относил, пока не оставил где-то. Маловероятно, что ей приделали ноги.

По рациональному Пашиному предложению сделали из коек двухъярусные кровати, вставив ножки верхних в стойки от выбитых изогнутых перекладин нижних. Никелированные трубки Паша отложил за батарею. Могли пригодиться.

Бравый мореман Юрик Сорокалетов по-соседски зашел посмотреть на подвигающуюся работу, дать несколько советов и стрелкнуть закурить (если ничего съестного не лежит в пределах досягаемости).

— Матросский кубрик. Как у нас было.

— Галеры, — бросил интеллектуальный Гарик, вытирая пот со лба.

Недалекий Юрик отмолчался. В непонятные дискуссии он не ввязывался.

После приборки в угол вечно разбросанных вещей безалаберного Павлюка и всеобщей инвентаризации символом нового порядка выступила толстая тетрадь. Накрепко прибитая Пашей к входной двери. Рядом на бечевке с того же гвоздя свисала ручка.

Оптимизация гвоздя двойного назначения методом теории операций проводилась прикладными математиками академиком Накутным и Павлюком. По правде говоря, подлинными академиком они не являлись. Так как ни разу в академическом отпуске



не были. Так сказать, являлись только по четным академиками, а по нечетным нет.

В импровизированный журнал обязан был записываться всяк входящий, кто что-либо брал на время взаймы. Обещая вернуть. Начиная от кассет и заканчивая инструментами.

До этого все это свободно перетекало из комнаты в комнату. Но имелись такие места в общежитии, где, как в водовороте, предметы гинули. Что сразу и выявилось.

Первая черная стеклянная табличка с золотистой надписью появилась на шкафу у входной двери в тему: «Инвалиды обслуживаются вне очереди». В дополнение к заветному журналу-реестру.

Притаранил ее Павлюк. Спер в винно-водочном отделе. Там ее, похоже, разместил такой же юморист.

Надеялся он еще обзавестись дополнением о ветеранах ВОВ, также обслуживающихся вне всяких очередей. О значении непонятого ВОВ, впервые увиденного в контексте сервиса в одной кафетерии, пришлось поломать голову. Наконец Гарика осенило, что это Великая Отечественная война, зашифрованная в сокращении.

Потом все включились в состязание, кто утащит табличку покрупнее. Образовалась некая доска почета.

Так появились «Лифт не работает» и «Юрист». Их недосчитались в таганрогском Белом доме силами Гарика с Павлюком. Заходили они туда по какой-то надобности. Не по большой, по малой.

«Прием заказов с 16:00 до 18:00» умыкнул Вадик из химчистки с улицы Третьего Интернационала.

Штандарт «Свалка мусора запрещена. Штраф 50 рублей» приволок ночью нетрезвый Гарик. Оторвал от какого-то забора.

Апофеозом достижений Паша признал уличный металлический эмалированный указатель «Переулок Красный». Отвинчивали его от стены частного дома поздним вечером с риском для жизни Павлюк с Гариком. Вадик стоял на стреме на углу самого развенчиваемого в безымянные переулка и улицы Октябрьской.

Постоянно заходил побираться экономный моряк Юрик Сорокалетов. А также посмотреть телевизор. (У него в комнате телевидение отсутствовало. По причине отсутствия телевизора. Надо скидываться.) И закусить. Если нальют. Выпив, он, естественно, просил закурить.

— О, Юрик! В нашу гавань заходили корабли! Большие корабли из океана, — приветствовал земляка Павлюк.

Суровый, заматеревший в штормах Юрик реагировал образно:

— Спокойно, Маша, я Дубровский.

От Юрика ждали первых слов.

— Хотел спросить...

Сразу же ему отовсюду встречно неслось:

— Нету! Юрик, извини, уже отдали... Вот недавно еще было — и все... Заходи завтра... Кончилось... Утром подвезут... Ей-богу, раздали...

Подобная отповедь на его постоянно возрастающие запросы стала привычной. Если же Юрику удавалось что-либо унести в клюве из внезапно понадобившегося, ему хором, в несколько ртов, оповещалось с указанием журнала:

— Записывайся!

После появления журнала вести учет стало легче.

— Где дрель? — пытал беспечного Павлюка Паша.

— А? А-а... Жамс заходил, взял.

— Записал его?

Павлюк подскакивал с кровати.

— Счас запишу.

— Сверлянка, говорит, есть? — начал, вспоминая, хохотать Гарик.

— Что, и сверла взял?! — ужасался недостатке хозяйственный Паша.

— Нет, только сверлянку! Дрель... Шелезянку еще спрашивал.

— Взял?

— Не знаю, дали ему напильник. Сказали, шелезянки нет. Кончилась вся.

— Рвал и метал, уходя... Волосы, — радостно припоминал Павлюк. — Но напильник взял.

— Занес в список? — Пашина бдительность не ослабевала.

— Угу.

Прозвище Марату Мдивани дали после того, как он появился однажды с просьбой о неведомом жамсе. Разговаривал Марат с сильным акцентом. С упрямой настойчивостью он многократно спрашивал о наличии непонятого предмета:

— У вас жамс есть? А? Ну, такой, э...

И он тер пальцы друг о друга щепоткой.

— Эта, ну жамс... Немного надо.

— Какой еще жамс? — старался вникнуть в словообразования склонного к неологизмам кавказца Вадик.

— Да ты не догоняешь, э! — кипятился Марат. — А? Жамс!

Он остервенело мямл что-то невидимое пальцами.

Вадик пожимал плечами и морщил лоб.

— Не знаю...

В бешенстве от неспособности объяснить требуемое, Марат разворачивался на каблуках и стремительно покидал комнату. По общаге он всегда ходил с голым торсом и сзади был сильно похож на шерстяное верблюжье одеяло. Как, впрочем, и спереди.

Но на груди такое обилие волос смотрелось менее неординарно.

— Как накидка на спине, — говорил Павлюк.

Поняли Жамса только после серьезного анализа переговоров. Говорил он, предположительно, о замше. Для каких целей она ему понадобилась, так и осталось тайной. Вторично просьба не прозвучала. Где-то раздобыл, наверное.

На первое же посещение Марата Павлюк откликнулся присказкой по мотивам детских стишат Маршака про вездесущего ленинградского почтальона.

— Перепевы из Жамса, — назвал плагиат Павлюка Гарик.

Четверостишие впоследствии использовали по весьма разнообразным поводам. Декламация производилась с грузинским акцентом, коим рифмоплет Павлюк владел в совершенстве:

Кто стучится в дверь ко мне?
Видишь, дома нэт никто?
Вай, то я — твоя жена
С толстой сумкой на ремне...

Юрик Сорокалетов неплохо подходил для упражнений на нем с апробацией нового репертуара.

На стук дверь вскрывал крайний к ней Вадик, нехотя сползая с кровати. Телевизор предпочитали смотреть лежа. Двухъярусные кровати стояли тандемом вдоль одной стены.

Бравый мореман встряхнул вялую руку Вадика, который со скрипом суставов и панцирной сетки ухнул обратно в провал койки. Пройдя ближе к окну, поручался с Гариком, обосновавшимся на втором этаже.

— Привет. Что идет? — задал дежурный вопрос Юрик, рассчитывая мягко войти в беседу.

На экране стоящего на холодильнике телевизора с каменным лицом расхаживал неуловимый капитан Клосс. Юрик протянул пятерню лежавшему внизу Паше. (Тот тоже был невозмутим.) Паша пожал ее.

Юрик облокотился о верхнюю кровать.

— Что за дела, не видно! — раздался голос из-за Пашиной спины.

— Уйди с экрана, — сказал Паша. — Дети смотрят.

Юрик приподнял свисавшее с верхней кровати покрывало и увидел за Пашей тощего Павлюка, расположившегося в глубине у стенки. Юрик слегка наклонился и протянул земляку руку.

— Привет, малахольный.

Паша с серьезной рожой опять пожал ее.

Гарик свешивался сверху и чуть не рухнул на пол от смеха. Павлюк тоже урывался, ухая из своего угла. Вадик негромко хихикал. Юрик несколько смутился за маской вечной унылости.

По-крестьянски же хитроватый Паша сдерживал себя. Работал под непроницаемого капитана Клосса.

— Садись. Кинушку смотрим. «Ставка больше, чем жизнь».

— «Чем фронт без пощады», — прибавил Павлюк.

Гарик опять захохотал. Как взнузданная лошадь. На него всегда оборачивались в людных местах.

Моряк упал на стул. На его лице явно боролись какие-то проявления двух мыслей. Требовалось как-то ответить на участвовавший не теплый прием и придумать объяснение визиту.

На экране появились титры, закончилась пятнадцатая серия саги. Из всех углов понеслись звуки душераздирающих зевков.

— Ну? — степенно поинтересовался Паша у сбито-го с толку гостя.

Все в предвкушении замерли.

Ухмылка блуждала в уголках Пашиных губ и за щелками век.

— Картошку, поди, вернуть хочешь?

Он издевательски отогнул край спортивной кофты Юрика. Не принес ли тот клубни за пазухой? Да нет вроде...

— Я, собственно, за солью, — помедлив, выдал Юрик.

Гарик чуть не свалился в щель между кроватью и стеной на стенающего в конвульсиях Павлюка.

Сошлись Павлюк с Пашей на радиоделе. Оба с трудом волокли в заумных формулах навязываемой им автоматике, телемеханики, не говоря уже о прикладной математике. Тянулись к чему-то вещественному.

Освободившееся от кроватей пространство они тут же принялись захламлять.

— Своей мотней, — выражался Гарик.

На деньги Павлюка был куплен огромный фанерный ящик спичечных коробков. Что-то около четырехсот штук. Четыре рубля. Ящик пришлось выбросить — занимал много места — большую часть самих спичек тоже. Как ни страдал по этому поводу Паша. Охапку спичек унес Юрик Сорокалетов.

А коробки склеивали этажерками, подписывали и раскладывали в них радиодетали. Диоды, сопротивления, микросхемы. По ранжиру.

Напротив своего богатства они обычно и сидели за столом. Пропаивали медные дорожки каких-то мудреных плат. Предварительно собственноручно травленных кислотой.

— Не оставляй сопли! — командовал рачительный Паша, присматривая за партнером.

И Павлюк слушался, подтирал. Приглаживал олово на контактах изогнутым жалом паяльника.



Воняло канифолью. Поднимались струйки голубоватого дыма. Воздух страдал. Вадик боролся за чистоту открыванием форточки зимой и окна летом. Радиомастера миазмов не замечали.

— Рабочая атмосфера, — говаривал Паша.

Для тренировки творцы собрали коробочку управления бегущими огнями. Развесили по комнате гирлянду разноцветных лампочек. Красили их мебельным лаком, добавляя в него пасту. Ее выдували из стержней для шариковых авторучек.

Игрушку включали на всех домашних мероприятиях.

Потом углубились в сборку из подручных материалов мощнейшего усилителя. Открытыми внутренностями радиодеталей на алюминиевой панели он являл собой силу разбуженного разума.

Ближе к зиме умельцы сколотили два ящика под колонки. И занялись доводкой усилителя.

При первой проверке на басах огромных динамиков мухи попадали с потолка замертво. Стены входили в резонанс и, заметно вибрируя, вздрагивали. Стекла звенели. Холодильник откликался каким-то ультразвуковым зудением. Но создатели нового звука в творческом непокое все еще не были довольны детищем. Прислушивались.

— Хрипит на низах, — склоняясь над примитивной акустической системой, выводили они.

Уши действительно закладывало. Приходилось орать. Гарик махал руками с перекосившимся лицом.

Далекий от начал электроники, он регулярно подначивал самоделкиных с их посиделками за пальниками.

— Цветные телевизоры есть? — спрашивал Гарик без всякой надежды на ответ.

Анекдот он рассказывал сам себе. И сам смеялся.

— Есть... Ну, мне зеленый тогда...

Вадик, правда, тоже посмеивался.

Павлюк с Накутным насмешки игнорировали.

В запале лентяй Павлюк в приступе доселе неведомого позыва к облагораживающему труду воспылал тягой к обустройству жилища. Под облагораживающим влиянием Паши.

Он лично покопался под панелью выключателя (с минимальными потерями для общества), просверлил дырочку и вставил маленький светодиод. Тот горел красным огоньком, в темноте обозначая искомое место.

— Да будет свет! — скромно объявил Павлюк, любуясь на дело рук мастеровых своих.

— Со временем реостат можно поставить, — довольно говорил Паша для Гарика с Вадиком. — Прикручивать свет постепенно.

— Интим! — поддержал Вадик.

— Очень удобно, — приглядываясь к светодиоду, скептически оценил новшество Гарик. — Новаторы прямо.

— Конечно, удобно, перестанешь на меня натывать сослепу, — отрезал Павлюк.

— Странно, что он именно на тебя натывается, — съязвил вечно обиженный Вадик.

— Знаем мы его наклонности, этого старого ш-ш-ш... — договорить Павлюк не успел.

Гарик замахал пудовыми кулаками и немного побегал за прытким Павлюком. Так, не по злобе: ушел Павлюк, ускользнул от расплаты. По нему, правда, было трудно попасть — узок был изящный Павлюк.

От бурной деятельности Павлюка с Пашей выбивало даже здоровые, похожие на патроны к мелкокалиберному пулемету, предохранители. Уж бог его знает, на сколько сотен ампер. Во многих комнатах общежития всевозможной аппаратуры стояло штабелями. Институт все же был радиотехнический.

Когда электричество отрубалось, народ выскакивал из комнат в коридор. Лишенные хлеба в виде ужина и зрелищ посредством телевизора и различной аудиотехники люди жаждали крови. В связи.

Здесь важно было отвести от себя подозрения. Первыми поднять шум, пометаться, крича:

— Кто «козу» сделал!

В конце концов лицедейство надоело, и Паша приладил к предохранителям по куску толстой проволоки, замкнув контакты напрямую.

А как коротким замыканиям было не случиться?

Как они случались?

От избытка мозговой активности обычно.

Например, в минуты безделья для проверки закона Ома на практике излавливался таракан. Несчастное плоское рыжее насекомое пыталось использовать малейшие складки местности, щели в паркете, пряталось под тумбочками. Но, тем не менее, его толпой загоняли в угол. Таракан в отчаянии бросался спиной на плинтус, раскинув в стороны лапки. Изверги!..

Кто-нибудь из экспериментаторов от электротехники принимал изловленного прусака на руки. Отвертками сообща бережно растягивали его за членистые ножки на жертвенном столе. Таракан корчился в ожидании казни. Павлюк подносил щупы, оголенные провода, подведенные от розетки, к хитиновому покрову безвинного насекомого.

Сколько товарищей погибло столь жестоким образом... Как он не послушался аксакалов и высунул свой нос в неурочный час... Вся короткая жизнь яркой вспышкой пролетала в голове.

— Аутодафе, — объявлял ученый крот Гарик.

Паша соглашался:

— Во имя науки.

— Джордано Бруно, — хмыкал Павлюк.

Молния, дымок, запахок. Паленым.

Обугленная тушка таракана скукоживалась от разряда электрического тока. Свет мигал и гас.

— Да, электричество до конца еще не изучено, — говорил кто-нибудь знаменитую фразу.

Обычно она еще произносилась пострадавшим по каждому случаю неожиданного удара током. После рефлекторного отдергивания ущипнутой электродами руки.

— Какая сволочь?! — раздавалось в коридоре привычное.

Павлюк с Пашей постоянно прозванивали электропроводку тестером.

До окружающих доносилось:

— Не работает тестер чего-то...

— Или контакт?

— Стрелка, смотри, стоит...

— Ну. То потухнет, то погаснет, — дерзил Вадик.

Его отгоняли.

— Батенька, просыпайся, — стучал по циферблату прибора в помощь Гарик. — Не, никто не живет.

Его не отгоняли.

Микросхемы и прочий расходный материал выносился из лаборатории информационно-измерительной техники. Благодаря сложной цепочке взаимоотношений.

Поставлял их оптом и в розницу Пашин земляк из небольшого донбасского городка Снежное. Друг детства Эдик Семенов, скрывавшийся под партийной кличкой Ленин. Или просто Ильич.

Эдик часто заходил посидеть. Невысокого роста, головастый, с отчетливо намечающейся лысиной. Потеря волос в столь молодом возрасте заметно выделяла его среди окружающих. И предопределила причину, по которой его прозвали Лениным.

Собственно, таскал радиодетали знакомый Эдика бессребреник Толик Сирота. Работал он лаборантом на кафедре ИИТ. А Эдик проживал с ним на квартире. До этого они вместе учились в ПТУ. Не смогли поступить в институт с первого раза. Сирота сломался и перешел в пролетарии, а Эдик добился своего со второго захода.

Уходим в сторону. Это другая история...

Появился Эдик и вечером 31 декабря. Цивильно одетый. В лиловом костюме с отливом и в галстуке нейтральными ромбиками разных цветов. В отполированных туфлях.

— Как новая копейка, — хохотнул Павлюк.

Паша же извлек из чемодана джинсы. Чем вызвал фурор и шквал подначек. Долгое время он колдовал товарищей, буквально, за низкопоклонничество перед Западом. Не мог он понять, и почему за какие-

то рабочие штаны нужно платить сто пятьдесят, а то и двести полновесных целковых.

Павлюк цокал языком:

— Паша, какой колор, синий-синий... Настоящие?

Гарик дотянулся до штанин.

— Дай пощупать. Фактура...

— Что ты... Котон! — добавлял в том же тоне Павлюк.

— «Вранглер» никак? — лыбился Вадик.

— Италия?

— Куда там, подымай выше — мэйд ин Ю-Эс-Эй!

Да, Павлик?

— Фирма!

Паша аккуратно расправил джинсы, намереваясь разложить на кровати. К своим вещам Паша относился бережно. Не теряя серьезности, он обратил внимание скромного Эдика на придурковатое поведение товарищей. Отповедь он дал всем разом:

— Дурносмехи.

Прижимистый родитель наконец расстался с нужной суммой, и Паша смог прибаракхлиться. Из потока его нравов учений исчезла тема клеймения вещиц.

Новый год собирались отметить запоминающимся образом.

Паша выступил организатором. Распределили обязанности. Готовились. В смысле, на все свободные деньги Павлюка и Гарика закупалось спиртное. Подсчитав финансовый резерв, взяли одуряюще пахнущую дешевую «андроповку» с зеленой этикеткой.

Кое-какие продукты оставались. Вадик под давлением обстоятельств сдал в общий котел весь запас колбасы.

Паша выставил остатки засахарившегося комками меда в мисочке.

За две недели до праздника на часок заехал его отец. На пенсии — пчеловод. Расторговался медом на рынке и заглянул посмотреть на сына и его друзей. Привез мед в сотах.

Павлюк жрал его с воском, капая себе на рубашку. Откусывал куски с ножа и мотал головой в пароксизме довольства. Пока Паша профессионально поддерживал разговор с отцом о маточкином молочке, пыльце и медоносах. Вощина какая-то всплывала. Вадик с Гариком прислушивались, выказывая уважение...

Остепенившийся Гарик на праздник прибыл со своей девушкой. Светка, как и договаривались, захватила подругу. Они же принесли несколько судков с салатами (один, естественно, оливье), селедку под шубой, винегрет и кастрюлю с чем-то мясным. Новогодний набор советского человека. Недостающие апельсины и шампанское позже притащил Губарь.



Он забегал отметиться. От него остались и две симпатичные бойкие девчонки из медучилища.

Девушки вчетвером с возбуждением накрывали на стол. Даже салфетки бумажные обнаружили. Принесенные с собой чистые вилки, ножи, ложки клались с нужных неудобных сторон от тарелок. Невиданное зрелище завораживало.

Павлюка приходилось отгонять от яств полотенцем. Женщины раскраснелись от энтузиазма.

Мужчины выходили перекурить, облизываясь, как коты. Медички тоже смолили, не отставая и не смущаясь. Подтверждая досужие разговоры о своем крайнем цинизме, бытующие в студенческой среде.

На них упали Павлюк с Вадиком. Вадик всегда падал на хвоста. Флирт выглядел многообещающим. Павлюк искрометно шутил. Объекты насмешек находились рядом. Вадик с Пашей терпели.

Эдик подбивал клинья к Светкиной подруге. Но та после объявления танцев довольно быстро втянулась в водоворот событий. Она лихо отплясывала с растрепанными волосами и постоянно заливисто смеялась. В общем, была заметна. Люди к ней тянулись.

А нерешительный Паша остался один. Оказался застенчив. Наверное, потому и напился быстро.

Собственно, всех подкосило резвое начало. Не успев как следует закусить, начали отмечать Новый год по грузинскому времени. На час раньше.

Как нельзя вовремя материализовался Юрик Соркалетов.

— О, Юрик! Пить будешь?

Просто сказать, что Юрик оживился, мало.

— Что — водку?! Теплую? Без закуски?

— Стаканами.

— Конечно, буду!

Задав тон, Павлюк ненадолго отлучился. К своему генацвале на Кавказский проспект. Короткий аппендикс, оканчивающийся дверями на балкон, где компактно проживали сплоченные южные диаспоры, гудел. Доносились здравицы и многая лета. Нестройный хор вразнобой тянул «Сулико». Под аккомпанемент лезгинки, выстукиваемой ложками о стол. Родик заехал на мотоцикле на четвертый этаж. Коридор заволокло дымом.

Вернулся Павлюк уже на бровях.

— Павлючидзе! — приветствовали его.

— Гамарджоба! — кричал он всем.

Он махал руками, как мельница, и обнимался. Без разбора лез целоваться. Пытался танцевать танцы народностей.

Процесс пошел.

Колоритная процессия со скорбными лицами поднялась из сизого чада снизу. (Родик с ускорениями катался по коридору.) Четверо человек с повяз-

ками на рукавах несли на плечах грубо сколоченный вымазанный морилкой гроб. Без крышки.

Изнутри выглядывала белая картонка с размашисто начертанными цифрами — 1984.

Впереди с протокольным лицом вышагивал Шура Сыромятин, профорг третьего курса. За что и слетел с поста по итогам разбора безобразной годоводней пьянки на бюро комсомола. Переизбрали, конечно. Легко отделался, несмотря на усердие товарища Тарашука. Суровое время борьбы с пьянством еще не наступило.

В белой майке, зеленых бриджах и черной фуражке железнодорожника с молотками на околыше Шура махал кадиллом из заварного чайника на цепи. Позади гроба двигался барабанщик, сборный оркестр духовых инструментов в простынях и несколько человек с непонятными флагами из мужских семейных трусов на лыжных палках. Дальше в шлейфе гурьбой шел веселящийся народ с кастрюлями, крышками и столовыми приборами. Барабанили по всему истошно. Какофония поднялась жуткая.

Провожался старый год.

Родик присоединился к шествию на своем стальном друге, периодически ставя его на дыбы. Он опрокинул пару рюмок с тыльной стороны ладони, стоя на сиденье мотоцикла. Его, правда, поддерживали. Все друг другу наливали. Толпа на марше в достаточном количестве запаслась напитками в путь. Им встречно подносили из всех комнат.

Теплое шампанское разлили под бой курантов. В смысле оно разлилось по стенам. Павлюк, как тамада, что-то длинно и косноязычно говорил. И поднимал стопки. Все словно куда-то торопились.

Аппаратуру, колонки вытащили в проход. Музыка гремела. Мерцали бегущие огни.

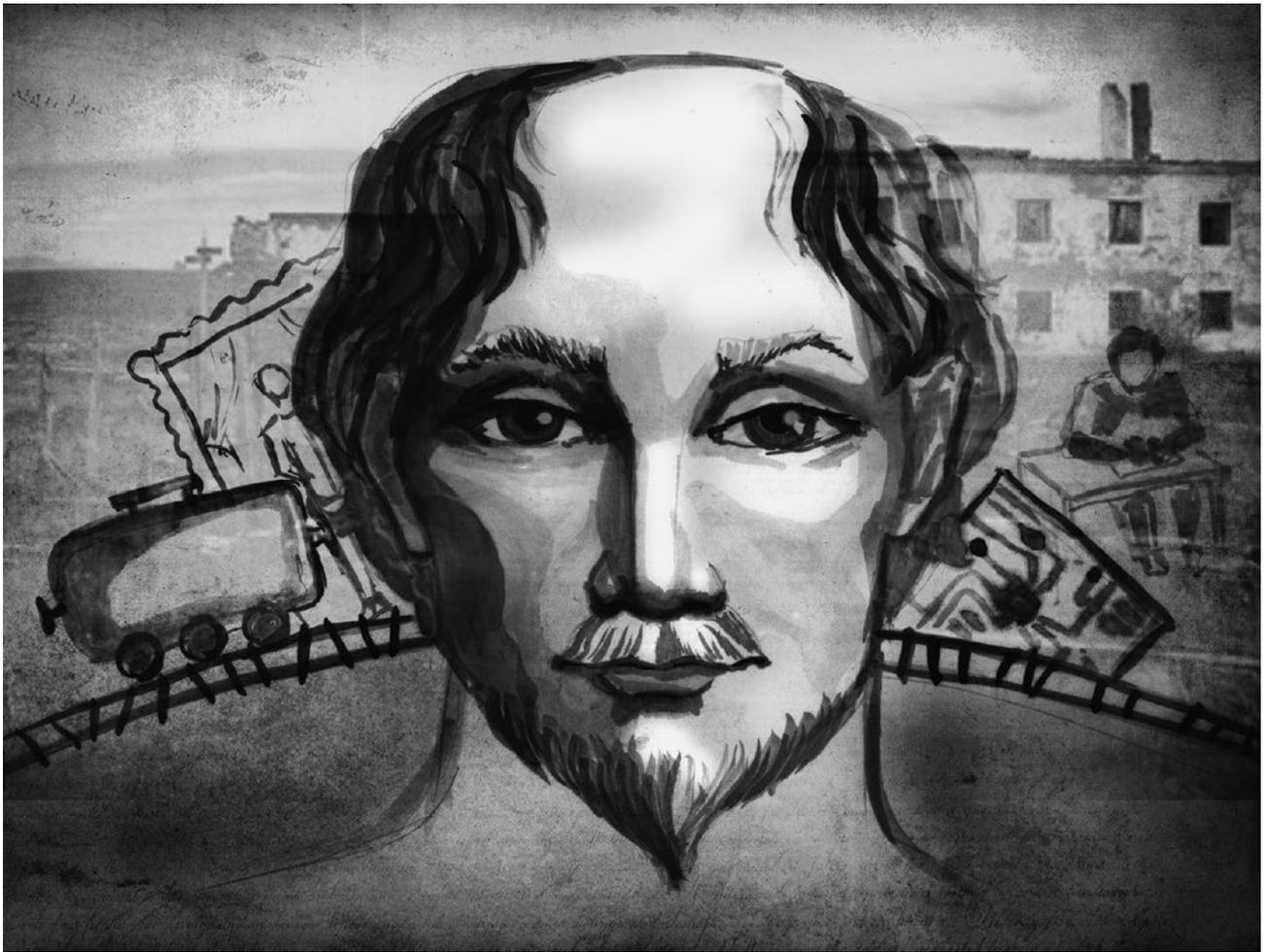
Навстречу друг другу из концов длинного коридора неслись рваные звуки шлягеров. На этаже, ровно в противоположных концах, открылись две дискотеки. Паша заряжал музон, выжимая усилитель до пределов его возможностей. Топорно сработанная техника продолжала работать даже после того, как в нее кто-то уронил тарелку с объедками. Шла битва — кто кого перебьет по звуку.

Самодельный усилитель «Паша энд Павлюк» забивал слабый «Амфитон» институтских дискотечников. По этому поводу тоже поднимали. Успех был полным. Враг был разбит наголову. У их комнаты собралось больше пляшущей публики. Павлюк с Пашей ходили проверять.

Паша чувствовал себя героем вечера.

Что было потом? Пашины воспоминания становились отрывочными...

Бобины с пленкой падали и разматывались. Через них не переступали. Обломки пластмассы.



Гордый от достижений диск-жокей Павел Владиславович Накутный отобрал микрофон у Павлюка и пытался в него говорить. Поздравлял присутствующих, объявлял песни, но не мог выпутаться из придаточных предложений. Микрофон нещадно фонил. Ему не давали закончить речь.

Пелена налезала на глаза чаще. Наливали...

Вздыхающиеся вверх руки... Вспотевшие искаженные лица...

Все кричат, девчонки беззвучно смеются... Крашенные стены...

Паркетный пол, натертый воском. Крошки на полу. Очень четко...

Выпачкались джинсы. Пятна... Разборки на лестнице и в туалете...

Тупик коридора. Кто-то чуть не сверзился с невысокой железной ограды балкона. Вышли покурить...

— Выпьем за женщин!

— Где они?..

Облевались сразу после салатов.

Довольного, с окаменелой улыбкой Пашу водили под руки в умывальник сквозь толпу. Вода лилась на лицо, струйками затекала за воротник, не принося ожидаемого облегчения. Танцующие на Пашиной дискотеке не расступались, грубо толкаясь. Никто не узнавал ведущего праздника. Герои были забыты.

В комнате среди перевернутой вверх дном посуды за столом кто-то механически жевал, не задумываясь о ближайших последствиях, горячее.

А вот до пирога дело не дошло. Хотя перепуганные девчонки заикались о чае и сладком столе, чтобы отвлечь от спиртного невменяемых мужчин. Выжившие до конца торжества не нашли торт, как ни старались. В круглой комнате все разъезжалось, вставало на дыбы и падало...

Только когда все проснулись к обеду следующего дня — по времени к обеду, есть никто не мог, — выяснилось, что на торте, который собственноручно испекли Светка с подругой, спал, не разуваясь и в костюме, Эдик. Головой на нем, навзничь, с терракотовой маской на лице. Исторгнутых салатных



масс. На грудь стекал гармонично сформировавшийся «галстук». Покрывая тот, что с ромбиками.

В туфлях и костюме Эдик Ленин выглядел как экспонат из мавзолея. Мумифицировался. И с прищипом сопел сквозь корку посмертной маски фараона.

В осадок он выпал одним из первых.

Раздавленный торт никто так и не решился попробовать. Даже Павлюк. Предусмотрительно завернутый девушками в серую вощеную бумагу, он превратился в плоский корж, вогнутый по центру. И сливался с подушкой. По цвету тоже.

Эдик унес его домой. Паша подложил торт ему в портфель. Вполне возможно, Сирота полакомился...

А ночью перед уходом в астрал Эдик Ильич Ленин проявил себя как настоящий советский пионер. Который всегда готов.

Уже находясь в сомнамбулическом состоянии, не соображая, что делает, он пробуровил наконец подвернувшейся под руку Светкиной подруге:

— Я готов!

Расстегнул ширинку и отключился.

Потрясенная боеготовностью Эдика подруга окончательно испарилась.

Юрик-мореман метал харчи профессионально и аккуратно. Опершись локтем на кровать, он нацеленно использовал проем за ее боковой спинкой. При этом, явно находясь в сознании, носком туфля Юрик заталкивал подальше в угол Пашин клетчатый пиджак, некстати выпавший из шкафа.

Сумочку Светкину от его художеств окосевший слепой Гарик оттирал рукавом пиджака. Своего. Состояние Пашиного даже ему было понятно. Протирал и присматривался... По его мнению, сама Светка этого не заметила.

Гарика Светка увела рано. Часа в три. Подруга потерялась. Ее искали недолго.

Компания распалась.

Серый проблеск утра, смешанный с безжизненным светом фиолетовых фонарей, переkreщенным прямоугольником падал из окна. Омертвевший Паша проснулся на жестком полу. Отлежал все, что мог. Затеckшие члены не разгибались. Он пошевелил пальцами ног.

Одетый и помятый, он лежал на тонком половике на правом боку. Бок нестерпимо болел. Что его и разбудило, видимо. Всю ночь, похоже, он провел в одном положении. И не в своей постели. Тело одеревенело, как у покойника.

Он не знал, что при массовом отходе ко сну он последовательно лишился некоторых личных теплых вещей, которые ему первоначально заботливо выдали. Сначала у него забрали подушку, потом

реквизировали и одеяло. Экспроприаторы посчитали, что в его состоянии не до комфорта.

Он пошевелил рукой, ногой, попробовал потянуться. Стало легче, но тут же тело начало превращаться в газированное. Мышцы волнами схватило щипцами.

Будильник громко тикал на металлической полке. Семь утра.

Вспомнился спроваженный старый год...

Паша обвел взглядом комнату. Все кровати были кем-то заняты. Спали вповалку. Из знакомых лиц просматривалась фигура Юрика Сорокалетова. Налитая кровью опрокинутая голова с разверстым ртом свешивалась вниз и храпела.

Эдика Паша не узнал.

Паша поднялся, распахнул окно, грудью упал на широкий подоконник. Глотнул обожженной алко-голем гортанью студеной воздух.

Перед ним на улице метелками болтались концы длинных голых веток пирамидальных тополей. Летом они заваливали все вокруг ватными горами горячего пуха. Напротив по пятиэтажному дому из светло-серого силикатного кирпича струились вверх черные корявые стебли дикого винограда.

Он высунул чугунную голову наружу, охладить, и осторожно поводил ею вправо-влево, боясь зацепиться за что-нибудь и расколоть.

Тишайший Добролюбовский переулочек, в провал которого сбегали истертые и обломанные каменные ступеньки крыльца общежития, спал. Пользовался редкой передышкой. Тротуар был засыпан различным мусором, обертками, мишурой, россыпью разноцветного конфетти и пыжами от хлопушек.

Общага угомонилась.

За спиной кто-то нечленораздельно замычал. Мороз все-таки. Мимо Пашиного плеча в окно вылетел какой-то твердый предмет. Павлюк промахнулся.

И уж затем пришел Михал Сергееч Горбачев. Который поначалу взбудоражил неокрепшие умы, посеяв несбыточные надежды своей перестройкой и ускорением. Было еще — новое мышление. И общечеловеческие ценности.

На одном из выступлений в цехах Волжского автотрестового завода, отгороженный от работяг габэщиками в штатском, он выдвинул клич: «А не стать ли нам законодателями моды в автомобилестроении?!»

Чем поверг более осведомленных состоянием дел в промышленности собравшихся в ступор.

Хотелось верить, что все у нас получится и не все так плохо. Тем более что, как выяснилось, не все идеалы потеряны. Владимир Ильич — не путать с Леонидом Ильичом — был все же всегда прав и непо-

грешим. На него и следовало равняться, не допуская шельмования. Последователи, те несколько подкачали. Случались отдельные недостатки, перегибы на местах. Хотя в целом, конечно, товарищи шли верным трактом. Не путать с Владимирским. Дорогой коммунизма.

И партия наш рулевой.

Бюсты и памятники Ленину, с кепками и без, разбросанные по городам и весям, отмыли и заново покрасили бронзой.

Народ, правда, быстро раскусил его словоблудие. И по стране пошли гулять новые анекдоты.

Включая рассказ о неудачливом главном агрономе колхоза. Все успели перестроиться — председатель, главный инженер. А он не смог. Шифера не хватило.

Тем более что новый правитель зачем-то потащил с собой по странам и континентам свою жену.

К слову. Была такая передача — «По странам и континентам» — по одному из двух каналов советского телевидения. Народ шутил: «Передача к Дню ракетчика».

Женщины, замордованные бытом и действительностью, первые не простили ей ее положения. Каждая примеряла ее платье на себя, и по всему выходило, что на ее месте она повстречалась бы с Маргарет Тэтчер не хуже. А лучше. Раису Максимовну находили вульгарной. Короче, она была не на своем месте. Таково было общее мнение.

Но подрубил основы своего могущества Горбачев эпохальным антиалкогольным указом. Так называемого сухого закона ему не простили.

Вырубались виноградники под посадку столовых сортов, и это еще куда ни шло, все это происходило где-то далеко от густонаселенных районов и потому малозаметно. Но закрывались линии по производству родного населению плодово-выгодного шмурдяка.

Бесчисленных вермутов — знакомых в целом как «Вера Михайловна». Портвейнов, включая знаменитые «Три семерки», с выдающимся по своим качествам азербайджанским «Агдамом» — женским портвейном «Ах, дам». И многочисленных клонов грязно-рубинового цвета на один тяжкий терпко-сладкий вкус, начиная с «Осеннего сада» — «Слезы Мичурина» — и до «Яблочного», «Солнцедара» и «Ароматного»... Что тут сказать и придумать больше.

Ушлый народ на пищекомбинатах, слившийся в едином порыве с начальством, не торопившимся расставаться с доходной статьей, привычно консервировал оборудование в солидоле в расчете на очередную скорую смену курса. Тем более что подобный явню не выглядел долгоиграющим.

Таким, какое делал каждый советский человек труда для домашнего потребления, разрешенного при борьбе с самогоноварением. В трехлитровых банках из-под сока с добавлением к тому супердефицитных дрожжей и сахара. Подобная купорка «долгоиграющего» отстаивалась с резиновыми перчатками на горлышке по кладовкам для внутреннего применения.

Продажа спиртного с двух часов (вместо либеральных одиннадцати) при тотальной нехватке горючего превратилась в осаду магазинов со сложной системой переписи очереди и ранениями при прорывах особо болящих.

Отдельные винно-водочные магазины перепрофилировались в магазины по торговле некондиционными товарами и отходами с производств. Смело, конечно, можно было бы вывозить туда продукцию большинства заводов, но начали с разных обрезков металла и кусков тканей, рассчитывая простимулировать пилл к выпиливанию лобзиком миниатюрных дачных сортиров, авиамоделированию, кройке и шитью рабочих фартуков и рукавиц.

Новые очаги пестования народного творчества назывались «Сделай сам».

Шутники рекомендовали приписку: «А где взять дрожжи?»

Большой проспект

Вырос Эдик Семенов там, где родился и откуда до поступления в институт никуда не выезжал. В маленьком городке на Донбассе. Городок назывался Снежное. Похожий на многие другие пыльные шахтерские поселения. Окруженные степью с оврагами и конусами терриконов с отвальной породой.

Отец, естественно, работал на шахте. В свободное время, конечно, пил. Маленьким Эдик любил носить его каску с фонариком во лбу. Она почему-то называлась смешным словом «коногонка». Каска казалась ему рыцарским шлемом. Щит он смастерил из картона, а меч — из деревянной планки от овощного ящика. На мечях мальчишки бились во дворе.

Отец иногда сажал его на колени и подбрасывал вверх на одной ноге. Он был высокий и сильный. С кирпичного цвета лицом, вечно небритой щетиной и запахом табака.

Мать работала учительницей русского языка в школе. Днем она учила чужих детей, а вечером проверяла стопки их тетрадей. Бледная, с синими кругами под глазами, она шевелила тонкими бескровными губами, склоняясь над исписанными красной ручкой листами. Дополнительные деньги платили за классное руководство.

Так что Эдик был предоставлен самому себе. Весь день он проводил на улице. Ключ от квартиры ему



привязывали на ботиночный шнурок, он носил его на шее под рубашкой.

В детстве он часто болел ангиной, простужался. Мать ставила горчичники, компрессы, заставляла пить горячее молоко с маслом, медом и содой. И все равно он неделями валялся дома с температурой.

Болезнь ему нравилось. Лежа на диване, он смотрел телевизор, если показывали спортивные передачи или фильмы. Но показывали их редко, телевидение ограничивалось одним каналом с бесконечными сводками из будней трудовых коллективов. А ленинскими университетами миллионов Эдик не проникся.

Позже, в старших классах, ему вырезали гланды. Было больно, наркоза, кроме мороженого, тогда не знали.

Но зато потом Эдик зимой щеголял в распахнутом овчинном тулупе.

Мать всегда кричала ему в окно вдогонку:

— Ты что опять расхристанный пошел! Живо застегнись!

После занятий ребята сбивались в команды и рыскали по округе, ища приключений. Иногда не зная, чем заняться. Или играли в карты, крышки от пивных бутылок, ножички, в пристенок монетками, в фантики от конфет, в мяч. Ходили на свалку, рылись в выброшенном мусоре. Разбивали автомобильные аккумуляторы. Там находились решетчатые свинцовые пластины. Из них отливали медальоны, крестики и маленькие револьверы в формочках, сделанных в мокрой земле. Жгли костры и пекли картошку.

Как-то они с пацанами повесили за сараями на проволоке кошку. Кошку убили не по злобе, она просто подвернулась под руку. И никто не знал, что с ней делать. А играть с ней постеснялись. Жестокость была чем-то обыденным.

Играли в казаков-разбойников. Или войнушку. В немцев и наших. Причем немцами никто не хотел быть. Доходило до потасовок. Прятались на заброшенных стройках между бетонными трубами коммуникаций и осыпающихся фундаментам неизвестного назначения. Пленников из вражеского лагеря связывали и с упоением пытали. Добивались признаний.

Строители иногда возвращались на свой долгострой, возводили несколько стен и вновь исчезали. Брошенное оборудование простаивало бесхозным.

Один из приятелей Эдика забрался в привлекательно открытый зев огромной, покрытой коростой цемента бетономешалки. Второй приятель нажал на кнопку. Машина загрохотала, все бросились врассыпную. Кто мог подумать, что она подключена к питанию. Да и не думал никто. Мальчишка погиб.

Ему переломало все кости. Взрослые прибежали поздно.

Однажды в четвертом классе Вовка Кушнаренко, лучший друг Эдика, упал в железнодорожную цистерну с жидким битумом. Они пошли вдвоем на склады. Там всегда можно было чем-нибудь разжиться.

Вовка залез на цистерну, хотел посмотреть, что там внутри. Люк был открыт, он перегнулся внутрь, но поскользнулся, неловко крутнулся худеньким телом и исчез. Эдик не смог ему помочь, Вовка захлебнулся липкой зловонной жижей у него на глазах.

На всю жизнь он запомнил: Вовка тянул руку, пальцы сжимались, хватая воздух, затем окунулся с головой. И пропал. А Эдик просто не достал до протянутой руки, свалился с цистерны и долго ревел навзрыд, не в силах уйти с места и сообщить о трагедии. Он задыхался от слез, упиравшись лбом в пропитанную мазутом черную жирную землю и затыкая кулаками уши, чтобы не слышать последний хриплый крик утонувшего друга.

Вовкина мать оттирала его лицо от черного въевшегося битума тряпкой, смоченной в спирте. Терла до кровоподтеков и ссадин, срывая кожу. Если бы Вовка был жив, то потекла бы кровь. Волосы сына она так и не смогла отмыть. Они слиплись, и белобрысый Вовка превратился в bruneta.

— Как я его в гроб положу, — причитала она, плача, и постоянно подвязывала черную газовую козынку.

Словно от того, как он будет выглядеть на похоронах, что-то зависело.

Но ведь все должно было быть как у людей. И что люди скажут. Эти слова Эдик часто слышал от матери.

Гроб стоял у их подъезда. Крышку и венки прислонили к стене. Женщины рыдали в голос. На кладбище Эдика не пустили. Заперли дома.

К шестому классу компания друзей Эдика плавно превратилась в одну из подростковых банд. Подобные группировки вели казавшиеся осмысленными территориальные войны. Город был поделен на контролируемые ими районы.

Зоной ответственности Эдика и его приятелей были дома-стандарты, как они их назвали и в которых проживали. Первый «стандарт», второй, третий... Адресов никто не называл. Это был микрорайон хаотичной застройки однообразными двухэтажными бараками с неизменным рядом сараев перед каждым домом.

Воевали с ребятами, жившими в поселке железнодорожников за железной дорогой. Которая была полосой отчуждения. Переезд был контрольно-пропускным пунктом. Нарушать границу осме-

ливались только серьезными группами. В ход шли камни, палки, потом самострелы. Войнушка обрела плоть и кровь. С жертвами. В перестрелках из-за брустверов железнодорожной насыпи случались раненые.

Забавы ради кидали камнями в окна проезжающих скорых пассажирских поездов. Стреляли. Один раз даже, может, убили человека. Как-то странно упал он позади беззвучно рассыпающегося от свинцового жакана стекла. Или прятался быстро, попав под обстрел. Они не знали. Состав с грохотом пронесся мимо них к другой жизни.

Одного из друзей — Витьку Дейнеку — убило его же собственным самострелом. Вообще-то свой Витька в тот день потерял. А нашел, по странному стечению обстоятельств, другой. И они вдвоем — Эдик и Витька — пошли его пристрелять. Витьке не терпелось опробовать находку. Отлично сделанный самострел из очень прочной трубы. А убило его болтом, который закрывал задний канал. Он оказался плохо прикрученным и попал прямо в глаз. Витька целился по консервной банке...

Отец как-то нашел у Эдика запрещенный самострел и поймал, догоняя, в гаражах. Отлупил ремнем так, что Эдик долго ходил с лиловыми полосами на ногах ниже шорт. Выше синяков не было видно. Штаны для закрепления наказания ему не разрешали надевать. Эдику было жутко неудобно, ведь он к тому времени уже перешел в седьмой класс и считался взрослым.

Вскоре отец купил ему сигареты.

— Он возьмет сигарету и рюмку из моих рук, — сказал отец робко возразившей матери.

По красным дням календаря отец Эдику уже наливал по одной. У Эдика кружилась голова, но он выпивал рюмку.

А вот закурить он совсем не смог. Закашлялся и покраснел. Его вырвало. Отец слабости сына не одобрил. Эдик несколько раз потом еще пробовал курить, но с тем же результатом.

Учился он, как ни странно, хорошо. Был отличником. И школу окончил на одни почти пятерки. Пришлось поставить ему четверку по физкультуре. В лимит золотых медалей Эдик Семенов не укладывался.

В нем каким-то образом уживалось два разных человека. Он шел в школу с портфелем, причесанный и чисто одетый. Мама всегда выглаживала ему накрахмаленные до хруста белые рубашки. Он не мог посрамить ее. Так она всегда говорила, заглядывая ему в лицо.

У мамы были такие глубокие синие глаза, что казалось, будто она плачет.

В большой комнате на горке с посудой, покрытой белой вышитой кружевами салфеткой, стоя-

ла закрепленная на ножке фотокарточка старшего брата Эдика. Снимок был упрятан под прозрачный пластик. Сделанный в местном фотоателье постановочный кадр был старым и черно-белым.

Толик в темных брюках и светлой водолазке под горло стоял в напряженной позе у какой-то стойки с комнатным цветком в горшке. Локтем он опирался на нее. Лицо и одежду слегка подкрасил фотохудожник. Брюки в коричневый цвет, водолазку — в голубой. Под цветную фотографию.

Мать часто стирала салфетку, и она всегда была кипенно-белой. Брат должен был быть на одиннадцать лет старше. Эдик долго не решался спросить, где он.

— Убили, — ответила однажды мать.

И так это было сказано, что он не попросил продолжить. Узнать, как, когда, кто убил...

Может, он погиб, как сосед Васька Первухин, который вернулся из армии и разбился, убегая на краденом мотоцикле.

Васька тогда попал в полосу невезения. Все к тому шло.

— На роду, знать, было написано, — сказали бабки у дома. Когда гроб из подъезда выносили на плечах мужики.

До этого Васька болел и харкал кровью. С друзьями они распили банку денатурата. И ему он не пошел. Дружков откачали быстрее. Хотя хилыком Васька не был.

А вскоре после случая с денатуратом его до полусмерти избили. Он потом кровью мочился. Все ходили смотреть. Васька сказал, что побили ни за что. Какие-то ребята незнакомые прицепились от самого кинотеатра компанией. Шли сзади. Куда он — туда и они. Он сворачивает — и они тоже. Он от них — они за ним. И избили.

Могло такое быть.

Бывали случаи, бывшие уголовники на поселении, на спор или в карты, проигрывали человека. Колония строгого режима рядом с городом располагалась. Называли ее почему-то «Семь-восемь». Эдик думал, сроки там такие. А молодежь могла избить того, кто, например, на люк канализационный наступит. Разминались. Поджидали ничего не подозревающую жертву за углом. Это могла быть и женщина. Уговор дороже денег.

А может, украл Васька что-нибудь еще да не признался. Прикинулся безвинным мучеником...

Или брата убили, как Тимоху Зайцева, который как-то рассорился с Давыдовым. У Давыдова была своя банда. Он, собственно, одной ногой уже в тюрьме стоял. Крут был Давыдов. Его побаивались и уважали. Сидел он всегда на своей лавочке под шелковицей в домашних тапочках, окруженный корешами. «Скамейка Давыдова» все ее называли.



На танцах пьяный Давыдов припомнил Тимохе размолвку за картами. Со своими дружками он вывел Тимоху за забор, ограждавший бетонную коробку танцплощадки, разобраться в сквер. И Тимоху принялись бить. А напоследок Давыдов ударил уже падающего Тимоху замком из сплетенных рук по затылку. И тот свалился на землю. И падал так, что уже было ясно, что он не встанет. Но, тем не менее, его еще пинали ногами с разбега.

Многие с танцев вышли гурьбой посмотреть. Перекурить. Девчонок, правда, было мало. Но это всегда. Разборки — не женское дело. Визгу, соплей, если что, не оберешься.

Тимоха пролежал в сквере до утра. К нему никто не подошел. Давыдовский дом был недалеко. Судмедэксперт сказал, что он умер только на рассвете...

Или, может быть, брата застрелили. Или ножом пырнули в разборке. Или в армии погиб.

А сестра Эдика умерла в роддоме. Очень маленькой. Мать показывала, как держала ее на руках. Фотокарточки ее не сохранилось. Только холмик на кладбище с покрашенным серебрянкой маленьким железным ящиком, к которому они ездили в поминальные дни весной. Обновить. Оставляли на могилке конфеты и печенье. И пластмассовые цветы.

Над ней рос куст душистой сирени. Эдик всегда искал среди маленьких лиловых соцветий те, что с пятью лепестками. Они попадают редко. Если съест такой цветочек, то это к счастью.

В другую жизнь Эдика вытащил школьный друг Паша Накутный.

Они много разговаривали о дальнейших шагах после окончания школы, Паша убеждал, что надо уезжать из захолустного Снежного. Они съездили в Таганрог посмотреть город и радиотехнический институт. Паша увлеклся радиоделом.

Эдик всегда шел за другими. И делал. Мать так всегда считала. Хотя это и был не совсем тот случай.

— Ведомый ты, — говорила она Эдику. Часто бросала в сердцах: — А если все прыгнут с крыши, ты тоже за ними?

— За компанию, говорят, и жид повесился, — отшучивался, когда стал старше, Эдик.

— Добрый ты слишком, — говорила мать. — Людям веришь.

С первого класса они вместе учились с Пашей, только Паша жил в другом районе. Отец у него работал в милиции. Замначальника отдела кадров.

Круглолицый Паша был выше ростом, заметно рассудительнее. Серьезный, немногословный, он выглядел основательнее друга, как-то осмотрительнее, что ли. Хотя были они одногодки. Эдик даже на несколько месяцев старше.

Паша убедил Эдика, так что поступать в институт поехали вместе. Конкурс был большой. В институте была военная кафедра и соответственно освобождение от армии. Многие ехали за этим. Для Паши это тоже был аргумент.

Сдавали документы вдвоем, но Эдик попасть в институт с первого раза не смог. Не прошел по конкурсу. Так и отстал от друга Паши на один год.

По возвращении Эдика домой отец начал внушать, что надо приобретать рабочую профессию. Лучше вообще позабыв о высшем образовании.

— Держись трубы, — твердил он Эдику (имелась в виду заводская труба), — и все по жизни будет нормально.

Эдик отдал документы в ПТУ в Таганроге, учиться на радиотелемеханика. По будущему профилю.

— Откинулся на год, — рассмеялся Паша.

Прозвище свое Эдик и получил от быдловатых однокашников по профтехучилищу. Теле- и радиомастеров. Им показалось подходящим погонялово Ленин.

Эдик был заметно самым умным в группе будущих работяг. Выделялся, хоть и был невысок. К тому же слегка картав и лобаст. В довершение Эдик отпустил бородку и усы. Правда, выстригал их подковкой. Но все равно — готовый экранный образ... Да и голова он был для бурситета.

В среде учащихся профтехучилища на местном наречии оно называлось шарагой, чертятником, бурсой или бурситетом.

Неказистое каменное здание из красного кирпича окружали огромные клены. Когда-то здесь располагался то ли монастырь, то ли еще какая богадельня. Настраивать на определенный лад должно было. Но воображение учащихся ПТУ поражали только стены. Своей толщиной. На каменных подоконниках размером с кровать могла бы лечь целая семья. Стрельчатые окна не пропускали свет, затененный разросшимися деревьями, и в здании всегда было холодно. Зимой топили плохо.

Учились здесь рабочим профессиям. Слесари, токари, фрезеровщики, более экзотичные карусельщики и даже револьверщики. Подростающий пролетариат слонялся по сводчатым гулким коридорам, плевал на каменные плиты пола, курил в кельях-подсобках, с неохотой заходя в классы и мастерские. К станкам. Радиотелемастера считались белой костью. Почти голубой кровью.

Неподалеку от ПТУ на Большом проспекте — не самой широкой, запущенной улице города — Эдик и поселился на хате у одной бабушки. Жили вдвоем с Толиком Сиротой. Фамилия его была Казанцев. Так что Сиротой он стал закономерно, путем несложной трансформации.

Как и прежде в школе, Эдик успешно овладевал знаниями, но бухал с друзьями из шараги наравне. Участвовал, точнее. Среда.

Только так и не закурил Эдик. Отвращение к никотину осталось у него навсегда. Прививка работала.

Паша иногда присутствовал на диких праздничных посиделках с горластыми конфликтными друзьями Эдика по бурситету. Те постоянно самоутверждались в беспощадных драках и шумных попойках. Одно состояние перетекало в другое незаметно. Завершая один из праздников, гости расползались на карачках. А Эдик, пав в глазах окружающих, чтивших его светлый образ, всю ночь проспал под жаркой, не в силах добраться домой.

— Заступил на охрану не менее пьяных пожарников, — смеялись одноклассники.

Как-то его забыли в Алексеевском лесу после весенней поездки на пикник с мастером. Собственно, это была женщина. Все звали ее мастачка. Палатки собрали, вещи раскиданные, котел...

А Эдик подъехал только ночью на последней электричке. С зелеными от травы коленями и не менее зеленым лицом.

Сирота впечатлился.

— Сколько ты прополз? — заливался он смехом и припадал на корточки. — От самого Алексеевского?

ПТУ Эдик Ленин, однако, окончил круглым отличником. По окончании заведения тоже выдавали дипломы. Эдик получил красную корочку с одними пятерками и третий разряд. Четвертый не положено было присваивать.

И, сдав всего один экзамен, как окончивший с отличием среднее специальное учебное заведение, он прошел в институт.

В их комнату в общежитии Эдик перебрался с Большого проспекта в январе на четвертом курсе. Сразу после сессии. Гарик Точило скоростно ушел к будущей жене. Отмечание Нового года с близкими друзьями будущего мужа подкосило Светку.

— Увели на аркане жеребца, — высказался Павлюк.

Родители Светки взяли над Гариком шефство. Очки он не снимал уже, наслаждался открывающимися перед ним новыми горизонтами. У него появилась хорошая оправа. Приходя на экзамены, выглядел ухоженным. Брился, однако, частенько так же неаккуратно.

В комнате Эдик числился молодым. Учился он на курс младше.

Спать его положили под беспокойным во сне Вохой Павлюком, дальше от окна. Считалось, что из его матраса сыпется труха. Вадик занял верхнюю койку Гарика. На нее никто из старожил не пре-

тендовал. Паша с Павлюком прижились на своих местах.

Вадик, чувствовавший себя изгоем, предпринял попытку задружить с новым жильцом. Еще не испорченным друзьями.

Наводя мосты с Эдиком, Вадик в первый же день выступил с трепетной личной темой. Теплый контакт, как говорится.

— Ага, знаю я Снежное... — протянул Вадик.

Он наморщил лоб двумя продольными морщинами.

— У меня много родичей... в ваших краях... Два двоюродных брата, вообще, там живут. Один прямо в Снежном живет... А другой, правда, — в Торезе. Рядом как раз...

— Это один город, — сказал Паша, улыбаясь привычным прищуром, когда из щелок сверкали темные зрачки.

Ему было достаточно того, что Павлюк ржет в голос.

— Переименовывали, — подтвердил Эдик, кивнув крупной головой.

Снежное, на памяти, всегда было Снежным...

Потом по велению родной партии на короткое время превратилось в Торез. Имени чем-то знаменитого французского революционера.

Знал ли Морис при жизни о существовании славного своими шахтерскими традициями городка на Украине? Где рабочие после смены собирались в кафе почитать газеты, сыграть в шахматы, выпить рюмочку кальвадоса или пропустить стаканчик красного винца.

А затем Снежное опять стало Снежным. Спасибо партии за это...

Плохо знакомый со своими близкими родственниками Вадик тем не менее стал звать Эдика земляем. Снежное-то совсем недалеко от такого же рабочего Комсомольска. Эдик казался ему ближе. Он над ним все же не подтрунивал.

Растягивая рот в улыбке, Вадик хлопал Эдика по плечу. Пашу он так никогда не называл. Эдик терпел навязчивое панибратство.

— Пошли погуляем, — регулярно приглашал Вадик нового кореша.

Случалось, ему удавалось вытащить домоседа Эдика, и они выходили прошвырнуться по Ленинской. Или в парк. Знакомиться.

Звали все Эдика — Ильич. Отчеством Ленина. С легкой руки Паши. Он сообщил о славном прошлом товарища Ленина, подчеркивая преемственность великих идей и людей.

— Зовите его просто... Ильич, — представил новым сожителям своего друга Паша.



Павлюк ехидно гордился товарищем перед соседями:

- Прост — как правда!
- Наш Ильич, — вякал Вадик.

С общей тенденцией в русском языке коверкать слова и переставлять ударения он быстро превратился в Йлича.

Павлюк, правда, иногда фамильярно именовал его — Эдди. Но для всех он был своим, родным Ильичем. Йличем. Редко Владимиром Ильичом. Ленин звучало слишком пресно.

К учебе Эдик подходил ответственно. Бегал он в институт быстрой спортивной ходьбой, низко нагнув крупную лобастую голову и размахивая портфелем. Свободной рукой методично рубил воздух.

Не учиться хорошо Эдик не мог. Не привык. Лекции он не прогуливал, конспекты писал, а если отсутствовал по какой-либо причине, переписывал. Зачеты получал автоматом, экзамены сдавал досрочно. Было в нем что-то армейское. Надежность и исполнительность.

— Лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом, — бравировал Воха Павлюк, вечно балансирующий на грани отчисления.

Паша ерничал над походкой Эдика:

- Знания голову переполняют, вот и гнется к земле.
- Скоро в землю упрется, — поддерживал друга Вадик. — Борозду будет делать.
- Совсем облысеет, — тревожился Павлюк.
- Не уследили мы, — сокрушался Вадик.

Смеялись-то не над ним. Он действительно отошел на второй план в этом смысле. Павлюк упражнялся все больше над новым коллегой.

Действительно, Эдик, как по заказу, начал лысеть. Нетленный лик Ильича, приклеившись, не отпускал его. Вошел Эдик, как говорится, в образ.

Переживал он по этому поводу страшно. И боролся за каждую волосину. Красивые вьющие кудри терялись на глазах.

Где он узнавал рецепты, кроме журнала «Здоровье», — тайна, покрытая мраком. Но вскоре он обзавелся обширной коллекцией разнообразных пузырьков, склянок и баночек. Сверяясь с рекомендациями знатоков народной медицины, чем-то обмазывал волосистую часть головы, разводил в воде черный хлеб, квас и полоскал волосы. Может, еще какие продукты применялись. Пользовался и сборами лекарственных трав, благоухал ароматами.

У зеркала он придавал волосам объем массажной щеткой.

— Ромашка, — читал на картонной упаковке Вадик.

— И чистотел с чередой, — знакомил Эдик общество с новым средством.

- Сено? — осведомлялся Паша.
- Силос, — констатировал Павлюк, нюхая Эдика.

На некоторое время Эдик прикипел к хне и басме. Но натуральные укрепляющие средства давали в его неопытных руках стойкий эффект по окраске остатков волос. Эдик заметно порыжел, и от них пришлось отказаться. На него начали коситься. Не-либеральные времена были.

Рассматривал он всерьез и возможность остричься наголо.

- Правильно, нам некогда ждать милостей от природы, — поддержал Павлюк. — Чего тянуть...
- На лыску помогает, — поддакивал Вадик.

Однако от столь радикального способа укрепления волос Эдик все же решил пока воздержаться.

Тема борьбы за волосную покров стала превалировать в разговорах Эдика. Он следовал всем советам. Зачастую не замечая не самых тонких издевательств. Некоторые рекомендации обсуждались неоднократно.

Паша серьезным тоном изрекал:

- Куриный помет.
- И поднимал указательный палец.
- Страшное дело, как помогает.
- Пробовал? — уточнял Павлюк. — Внутрь, говоришь, применять?

— Наружное, баран... Народное средство, что ты понимаешь. Так только люди и спасаются в деревнях.

Вадик вставлял:

- Да-да, я тоже что-то слышал.
- Павлюк смеялся.
- Помет некуда девать? Весь съесть невозможно? Эдик, однако, прислушивался.
- Надеешься, воспользуется советом? — интересовался Павлюк, когда Эдик уходил в душ для ритуальных омовений.

— Опасаюсь, — отвечал Паша.

К тому времени при проведении сеансов лечения к Эдику уже невозможно было подойти. Его сторонились. Тонко организованный Павлюк зажимал нос. Но Эдик был стоек в своих усилиях. Он расхаживал по комнате с целлофановым пакетом на голове и источал специфические запахи. Перешел к более радикальным методам. Втирал он теперь в остатки волос чеснок, лук, яичные желтки. Вонь ощущалась в коридоре.

Юрик Сорокалетов расстраивался в связи с бесполезным переводом продуктов.

— Луковицы укрепляются, — оправдывался Эдик.

Осторожно ощупывая пальцами шелестящий целлофановый пакет, под которым укреплялись луковицы.

Павлюк кивал на сетку с луковой шелухой.

— Вот эти?

Постепенно к его хобби привыкли, на процедуры обращали все меньше внимания. Принюхались.

На исходе борьбы Эдик съездил на пересадку волос в Москву в Институт красоты. С перебинтованной головой ночью с поезда он заявился домой к Точило. Постеснялся идти в общагу. Выглядел он как раненый командир, ускоренно выписанный из госпиталя на фронт.

Светка ему не открыла, испугалась. Разбудила Гарика. Точило разглядел в мутный глазок широкую улыбающуюся физиономию не унывающего товарища.

Отсиделся Эдик пару дней, пока бинты не снял.

— С груди надо было пересаживать, — встретил его Паша.

— Из-под мышек, — ржал Павлюк.

Воспользовался ли Эдик для притираний куриным пометом, неизвестно. Но лысеть он не перестал. Закончив в недалекой перспективе последней стадией — блестящей лысиной. Только несколько пересаженных лоскутами с затылка кустиков торчали в височных долях.

В общем, Эдик был в общаге заметной личностью. В институте в каком-то роде тоже. Народная тропа из халявщиков не зарастала к нему.

Он всегда был готов помочь, если к нему обращались с просьбой. Никому не отказывал. Сидел допоздна, объяснял задачи. Многие терпеливо дожидались, когда он решит их.

Кроме того, он вел конспекты по всем предметам, которые, на всякий случай, хранил, не выбрасывал. В тумбочке штабелем лежали общие тетради, исписанные красивым убористым почерком.

— Женским, — заклеил Павлюк.

Даже девушки не стеснялись лично приходиться к Эдику за знаниями, сберегаемыми в бумажном виде. Меркантильный интерес, безусловно, преобладал. Но они пытались его скрыть за добрым отношением, улыбками и разговорами.

С серьезными намерениями повадилась одна только Лариса Борискина. Ей нравилось, когда ее звали Ляля. Невысокого роста, худенькая, она красила в медно-рыжий цвет свои жиденькие волосы и собирала их сзади в пучок резинкой.

В отличие от подруг, она маскировала свой интерес к положительному доброму Эдику под разными производственно-учебными вопросами. Слушала его скупые ответы и неизменно повторяла:

— Во-во-во... точно-точно...

Словно он делал открытия. Эдик, правда, поначалу ее посещениям не придавал особого значения.

Больше внимания им уделяли Павлюк с Вадиком. Всегда готовые позубоскалить.

Эдик с Лялей даже принялись похаживать в кинушку. Выражаясь словами Эдика. Хотя вытащить тяжелого на подъем Эдика из общежития было еще той задачей. Он любил действительность опосредованно, то есть любил посмотреть телевизор. Был в курсе программы передач и отсматривал все фильмы. Западал на многосерийные картины. Короче, был киноманом, но предпочитал выпитывать искусство не выходя из дома. На дому.

Любил попить наваристого чаю, обсудить достоинства и недостатки фильма, покритиковать.

— Чайку, батенька, чайку, — приговаривал он, приготавливая зелье.

Вадик, не вставая с полатей, просил:

— Плесни и мне чуток.

— Чайник, — командовал Эдик, не отрывая глаз от голубого экрана, стоящего на холодильнике.

И Вадик «по-бырому» мелся на кухню.

У Эдика имелся свой порыжевший от чайной настойки граненый стакан в никелированном подстаканнике с кремлевскими башнями. Для скорости приготовления он пользовался кипятивником из двух толстенных бритвенных лезвий «Нева». Засыпал несколько добрых щепотей древесной стружки грузинского чая, и чифирь быстро закипал.

Вадик удовлетворялся четвертью кружки, разбавляя крепленую заварку Эдиковского разлива водой.

Производство чаеводов с солнечных грузинских плантаций оба регулярно охаивали в пику Павлюку. Эдик — как профессиональный дегустатор и знаток тонизирующего напитка.

Ляля всегда сама заходила за ним — напомнить о договоренности выйти в свет. У подъезда ждать быстро перестала.

Любитель телика Эдик, как всегда в белой майке и тренировочных штанах, с неохотой отрывался от кровати. Не смущаясь, почесывая волосатую грудь, он одевался при подруге. Сворачивал треники. Надевал рубашку, натягивал брюки. Доставал из-под кровати туфли. Все это не прекращая просмотра очередной кинушки. Уже полностью одетый, он до последнего досматривал фильм.

— Ну, пойдем уже, — не выдерживала стоящая рядом Ляля. — Опоздаем.

— Ага... А я эту кинушку видел уже, — сообщал он напоследок. — Там этот еще играет... как его... Риги-мантас.

— Хороший фильм, — улыбался Паша.

Эдик отсылал его.

Павлюк вольным пересказом белых стихов пролетарского классика высказывался вслед паре:



— Глупый Эдик робко топчет бабу жирную в утесах...

— Песня о птице? — с лукавой усмешкой интересовался Паша.

— О буреветнике, — отвечал знакомый с творчеством Максима Горького со школьной скамьи Павлюк. — Революции... Ильиче.

— Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах?

— Во-во-во, точно-точно...

Ляле, наверное, икалось.

В терминологии Павлюка Эдик был топтун-надомник.

— На палку чая пригласил бы ее, что ли? — удивлялся Вадик.

Совместные просмотры сближали Эдика с Лялей. Однако отношения их как-то не развивались, точнее сказать, вяло развивались несмотря на предпринимаемые Лялей усилия. Видимо, выбранное ею направление мало интересовало конкретного Эдика.

Возвращались из кино под сенью величественных крон деревьев. Сквозь листву пробивался желтый лик луны. Лялю тянуло к возвышенному.

Она делилась с ним мечтами:

— Я хочу любви настоящей...

Эдик философски соглашался:

— Кто ж не хочет.

— Разве так не бывает, что раз — и на всю жизнь? — сомневалась Ляля с противоречивым чувством.

— Бывает, наверное, но редко, — вяло возражал, или соглашался, Эдик.

— А ты меня любишь?

— Ну, люблю.

— Правда?

— Конечно.

— Точно-точно?..

— Ну да. Но сейчас тебя, ты, в смысле, нравишься, а потом, может, как-нибудь вдруг увижу другую женщину, глаз на нее положу...

Не влекло Эдика к ней.

Продолжение следует.



Продолжение. Начало в № 4, 5, 6, 7, 8, 9 за 2012 г.

СНЫ МОЕЙ ЖИЗНИ, или ПОЛУЗАБЫТЫЕ СНЫ

(Воспоминания Михаила Моргулиса. Начаты в 2008 году, в августе)

Или вот есть у меня замечательный знакомый, доктор математических наук Александр Александрович Болонкин. Был в СССР обеспеченным ученым, служил в засекреченных лабораториях академиком Королева и Антонова. Строил двигатели для космических ракет и вроде бы ни в чем не нуждался, ни о чем ненаучном не задумывался. И вдруг приходит это озарение, и вдруг — открытие, возможность достигаемости простой тайны, что ли? И начинает доктор Болонкин выпускать листовки, где и свои мысли о свободе излагает, и где перепечатывает мысли из радиопрограмм вражеских голосов — «Свободы», «Голоса Америки». Три года КГБ не мог постичь, что эта контрпропаганда выходит из засекреченной лаборатории. Наконец нашли, арестовали, посадили, издевались. Не отказался этот интеллигентный вежливый человек ни от чего. Получил пятнадцать лет лагерей и не просил помилования, отсидел от звонка до звонка. И мне во время телевизионной программы с ним говорит: «Я атеист, а это ваше дело, Михаил, верить в Бога и служить людям». А уж как он послужил, жизнью своей послужил и отразил свет Христа, как и Сахаров, как Солженицын, как Григоренко, Буковский, Гинзбург, Горбаневская и многие другие. Прошу прощения у тех, кого не упомянул, вас так много.

Или вот великий Мстислав Ростропович. В Америке о нем говорили так: «Личность Ростроповича и его деятельность уникальны. Как справедливо пишут, “своим магическим музыкальным дарованием и фантастическим общественным темпераментом

он объял весь цивилизованный мир, создав некий новый круг “кровообращения” культуры и связей между людьми». Так, национальная академия звукозаписи США в феврале 2003 года наградила его музыкальной премией «Грэмми» «за экстраординарную карьеру виолончелиста и дирижера, за жизнь в записях». Его называют Гагариным виолончели и маэстро Славой. А вообще, у него столько наград и званий (их хватило бы человек на пятьдесят), от Сталинской премии до включения его имени в число «Сорока бессмертных» — почетных членов Академии искусств Франции. Всем известно, что Ростропович помогал Солженицыну, в дни гонений дал ему свою дачу для жилья. За это партийное руководство страны лишило его возможности ездить на гастроли за границу. Затем последовали более жестокие санкции. Но в самом начале нажима тогдашний министр культуры Фурцева объявила ему:

— Вы покрываете Солженицына. Он живет у вас на даче. В течение года мы не будем пускать вас за границу.

Ростропович, пожав плечами, ответил:

— Вот уж никогда не считал, что выступать перед своим народом — наказание.

Когда-то в Америке по рекомендации Андрея Седых я позвонил ему и стал называть по имени-отчеству. А он в ответ так искренне ласково заграссировал: «Пожалуйста, так не надо. Меня все называют Слава, и вы так называйте». Это говорил по-настоящему великий музыкант, на котором было Божье прикосновение. Потом, через много лет, в Москве, в



Михаил Моргулис и Александр Лукашенко

гостинице «Октябрьская», я получил приглашение от него встретиться внизу в ресторане. Но в этот день ко мне пришли солдаты, воевавшие в Афганистане. И я сидел в ресторане с ними. Я не мог от них уйти. Он изредка бросал взгляд на наш достаточно шумный стол. Мне показалось, что его жена, знаменитая Галина Вишневская, которой он сказал о предстоящей встрече, была очень недовольна, но, конечно, вида не подавала. А великий маэстро, потом проходя мимо нас, на ходу сказал: «Нет-нет, не беспокойтесь. Понимаю, это нужнее». Только великие и озаренные Богом люди могут и в быту непроизвольно демонстрировать благородство мудреца и чистоту ребенка.

А вот представитель другой музыки, шансонье, вульгарный и обаятельный, некрасивый и обворожительный Михаил Гулько. Слушая его, я всегда вспоминал легендарного русского певца из Франции, певца парижских ресторанов Алешу Димитровича. Да, того самого, который с голливудской звездой Юлом Бриннером записал альбом цыганских песен. Так вот, Михаил Гулько в основном тоже пел в русских ресторанах, но в Америке. Он лихо исполнял песни о белых офицерах, о журавлях, о госпоже удаче, хороший актер, перевоплощался, страдал, хрипел, публика, как пишут критики, стонала. Меня Михаил называл отцом, падре, при встречах показывал нательный крестик, говорил, что от юродивых Киево-Печерской лавры получил, намоленный и очищенный. Я к нему относился с большой симпатией, примечал в глазах тоску большую, тяжелую.

Были у меня двое знакомых, родные братья, рослые, бело-волосые и уже пожилые. Американцы, но русского происхождения. Были они смиренными верующими христианами-баптистами. Захотели они посмотреть, как живет Брайтон-бич. Я поехал с ними и пригласил в ресторан, где пел Гулько. Пел он в ресторане, кажется, «Кавказ». Сели мы за дальний столик, но Миша увидел нас и решил сделать мне приятное. Позже я понял, что моих гостей он принял за бывших белых офицеров. Заиграла музыка, он подходит к нашему столу, вытягивается по-военному и поет с надрывом, со слезой: «Четвертые сутки пылают станицы...» и т. д. И кладет им руки на плечи во время слов: «Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте

вина...» А потом роняет голову на следующих строчках: «А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет...» Мои гости таких песен никогда не слышали и подумали, что Миша поет о том, что происходит в России сейчас. И на глазах у этих мощных людей появляются слезы. А Михаил поет дальше: «Зачем нам, поручик, чужая земля...» Мои американцы плачут навзрыд. Тут заплакал и Гулько. И вдруг встают все посетители ресторана, у многих на глазах слезы, и аплодируют. И Михаилу, и этим чистым верующим людям. Но Миша нарушил идиллию. Все знают, что во время выступления он всегда носил широкополую шляпу. Вот он после аплодисментов снимает шляпу, а под ней оказывается небольшая бутылка водки. Миша разливает и говорит на весь ресторан: «Господа офицеры, выпьем за Россию...» Потрясенные гости шепчут: «Мы не русские офицеры, мы американские баптисты и водку не пьем...» Теперь Миша ошалело смотрит на них. Но находит выход и произносит: «Ну раз вас так наказали, я выпью за Россию и за вас!» И опустошает свой и их бокалы. Что это было? Не знаю точно. Наверное, тоже жизнь... В таком вот гротесковом преломлении.

Я часто говорю своим детям: люди собирают коллекции — марки, монетки, спичечные коробки... А я всю жизнь собираю коллекцию хороших людей. И у меня самая ценная коллекция в мире. Посмотрите, сколько их у меня... Почти в каждой стране. Среди них известные и неизвестные, талантливые и неспособные, но все они вместе, и все они мои друзья...

Но дети также узнали от меня, что, имея тысячи друзей, человек остается страшно одиноким...

С достаточно популярной певицей Любой Успенской нас также познакомил Нью-Йорк. Она тогда пела в ресторане «Садко». Пела дуэтом с Мариной Львовской, и нам очень нравилось их исполнение. Любино озорство и несколько консервативное поведение Марины дополняли друг друга, да и пели они просто хорошо. Люба попросила написать о ней очерк в газете «Новое русское слово». Я не поленился, написал, называлась статья как у Александра Дюма — «10 лет спустя», где рассказывалось, где и как пела она раньше и где и как поет сейчас. Помню, что хвалил ее, но заметил, что ей нужен режиссер. А также обратил внимание, что в словах песни «Без тебя, любимый мой, лететь с одним крылом...» есть фактологическая ошибка: с одним крылом лететь нельзя, с одним крылом птица или певица падают на землю. Люба обиделась, мол, эту песню поет Алла Пугачева, на что я заметил, что госпожа Пугачева отличная певица, но на роль профессора-филолога претендовать не может. Помню, мы однажды встретились с ней в спортивном клубе, была она с одним из своих поклонников Францем и стояли они возле бассейна. Люба, видимо, своим несдержанным язычком сказала что-то не то. И тут же от толчка воздыхателя улетела в бассейн. В ней были юмор и постоянное озорство, и это ей очень шло. Потом она разошлась с Мариной Львовской и стала петь одна. А потом началось ее восхождение по лестнице короткой славы, где она сообщала всем, что «Люба, Любочка, целую тебя в губочки» и что сегодня она поет на Брайтоне, а «завтра, может, выйдет на Бродвей». На Бродвей не вышла, но бывший СССР любил ее полуворовские «глубоко философские» песни. Когда я видел ее, расфуфыренную, по телевизору, это уже была не Люба, а пополневшая дама после массы перетяжек. Ее насмешник Задорнов даже назвал «кукла Образцова». Но все равно, певица хорошая, со своей босяцкой милой хрипкой, со своей провинциальной живой непосредственностью.

Один из отличнейших поэтов военного времени (времен Второй мировой войны) Виктор Аркадьевич Урин обиделся на советскую власть и эмигрировал в Америку. Он был из группы наиболее заметных «военных» поэтов того времени, где было много достойных: Александр Твардовский, Константин Симонов, Борис Слуцкий, Александр Межиров. Говорят, что в Москве Урин носил на руке настоящего сокола, пугал им чиновников от литературы. Мы с ним познакомились и подружились в Нью-Йорке. Одно стихотворение даже посвятил мне, «Краеугольный камень». Поэт он настоящий, сильный. В годы войны был ранен. Стихотворение

«Лидка» стало знаменитым, советские солдаты заучивали его на память. Фронтовики вспоминали, что читали стихотворение перед боем. Человек был неумный, страшно энергичный, доходивший в своем кипении почти до безумия. И был очень добр сердцем. Жил в Бруклине. Однажды пригласил нас с Титовой в гости. Жил одиноко. На жарил мяса, потом все уронил на пол, разнервничался, поднимал мясо с пола и клал в наши тарелки. Он писал статьи и вступления под названием «Почему я буду жить до 100 лет?». Но умер в восемьдесят. Был настоящий советский поэт с авангардными изломами. Почему он уехал? Мне говорили, потому, что в СССР отказались выпустить три тома его книг. Хотя он был продуктом своей эпохи, но редким продуктом, чистым продуктом, сохранившим свою цельность, чистоту и органические качества. Наверное, лучше для него было жить и умереть в Москве. Кто знает. Но Бог его привел в Америку, и было чудесно слушать здесь его стихи. Часто и постоянно повторяю: все наши встречи и расставания на земле Бог назначает на небесах. Вот и ему Бог назначил встречу на земле в России, а расставание с землей — в Америке. Это и есть Путь. Недавно, беседуя с Евтушенко, я вспомнил Урина, и он сразу же стал читать его знаменитую «Лидку».

Лидка

Оборвалась нитка — не связать края.
До свиданья, Лидка, девочка моя!
Где-то и когда-то посреди зимы
Горячо и свято обещали мы:
Мол, любовь до гроба будет все равно,
Потому что оба мы с тобой одно.
Помнишь Техноложку, школьный перерыв,
Зимнюю дорожку и крутой обрыв?
Голубые комья, сумрачный квартал,
Где тебя тайком я в губы целовал?
Там у снежной речки я обнял сильней
Худенькие плечики девочки своей.
Было, Лидка, было, а теперь — нема...
Все позаносила новая зима.
Ах, какое дело! Юность пролетела,
Лидка, ты на фронте, там, где ты хотела...
Дни идут окопные, перестрелка, стычки...
Ходят расторопные девушки-медички.
Тащат, перевязывают, поят нас водой.
Что-то им рассказывает парень фронтовой.
Всюду страх и смелость, дым, штыки и каски.
Ах, как захотелось хоть немножко ласки,
Чтоб к груди прильнули, чтоб обняться тут...
Пули — это пули, где-нибудь найдут.
Что ж тут церемониться! Сердце на бегу
Гонится и гонится — больше не могу.



...Ты стоишь, надевшая свой халат больничный,
 Очень ослабевшая с ношей непривычной.
 Ты ли это, ты ли с дочкой на руках?
 Почему застыли искорки в глазах?
 Почему останутся щеки без огня?
 Почему на танцы не зовешь меня?
 Почему не ждала? Почему другой?
 Неужели стала для меня чужой?
 Я стою растерянно, не могу понять,
 Лидия Сергеевна, девочкина мать.
 Я стою, не знаю, как найти слова...
 — Я ж не обвиняю, ты во всем права.
 Может быть, сначала все начнем с тобой?..
 Лида отвечала: — Глупый ты какой...
 То, что было в школе, вряд ли нам вернуть,
 А сейчас — тем более, так что позабудь.
 Вспоминать не надо зимнюю дорожку,
 Как с тобою рядом шли мы в Техноложку
 И у снежной речки ты прижал сильней
 Худенькие плечики девочки своей...
 Было, Лидка, было, а теперь — нема...
 Все позаносила новая зима.
 Оборвалась нитка, не связать края...
 До свиданья, Лидка, девочка моя.

Вот так, не шальными строчками, а прицельными, попал Виктор Аркадьевич в сердце. И застряли они там. Навсегда.

Виктор Урин

«Не мезтью воздаешь, а снисхождением...»

Михаилу Моргулису

Да, фарисействуют кнуты и пряники,
 беснуются опять,
 Но в Господе к ним не приходят правнуки,
 чтобы воздать.

Пусть что ни день, то злее и пронзительней —
 Навылет, в грудь...
 О Камень, что отбросили строители,
 Краеугольным будь!

«Свободолюбцы», обругав насильников,
 Насилуют других,
 Но как ни брызжут циники из циников
 и подслонятя их,

не осквернит их зависть полуподлая,
 их нищая мазня,
 Краеугольный Камень в твоём подвиге
 день изо дня.

Есть люди веры, бескорыстной миссии,
 приходит их пора.
 Без их служенья скромного немислимы
 ростки Добра.

И ты один из тех моих товарищей,
 кем я горжусь,
 Кто, обжигаясь, дарит нам пылающий
 духовный груз.

Не мезтью воздаешь, а снисхождением
 заблудшему врагу...
 Ещё б нежней сказал и сокровеннее,
 Да жаль, что не могу.

Продолжение следует.



Ренэ БАЗЕН

Рубрику ведет Евгений НИКИТИН



Евгений НИКИТИН



Ренэ Базен (1853–1932) — французский романист, представитель «регионализма» (областничества), то есть литературы, противопоставляющей «идеальную» жизнь провинции «отрицательному» большому городу в целом и Парижу в частности. Был профессором уголовного права в католическом университете, в 1903-м стал членом Французской академии. Получил известность благодаря книгам о путешествиях (в особенности об Италии) и о сельской жизни. К его лучшим произведениям относят романы «Стефанетта» и «Чернильное пятно».

Рисунок Юлии Спасовской

ПТИЦЫ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ

Трудно описать словами мир и покой, царившие в сельском приходе. Приход был небольшим, в меру благочестивым и привыкшим к старому аббату, управлявшему им более тридцати лет. С одной стороны от дома аббата тянулась дорога в город, с другой начинались доходящие до реки и благоухающие ароматами летних цветов луга. Позади дома был сад; вишня тут созревала в мае, смородина — еще раньше, а за неделю до Успения Богородицы сладковато-терпкий аромат дынь можно было учуять за несколько десятков метров.

Однако не стоит делать поспешных выводов, будто аббат был гурманом; в его возрасте от аппетита остались одни воспоминания. Его плечи сутулились, лицо сморщилось, он был подслеповат и глуховат на одно ухо: если подойти не с той стороны, кричать становилось совершенно бесполезно.

Конечно — боже упаси! — он не съедал все выросшие в саду фрукты сам. Свою (и немалую) долю урожая получали соседские мальчишки, однако больше всего доставалось птицам: черным дроздам, которые жили там круглый год и угощали слушателей благодарными песнями; симпатичным иволгам, появляющимся каждое лето; воробьям; разнообразным певчим птицам; синицам, которые стаями висели на ветвях, поклевывая виноград или груши, — настоящим маленьким хищникам, чьим единственным выражением благодарности был пронзительный, напоминающий визг пилы крик.

Впрочем, старый священник из аббатства святого Филимона относился снисходительно даже к ним.

— Если бы я сердился на птиц за то, что они не меняются, — повторял он, — то мне бы пришлось сердиться и на многих моих прихожан!

Потому он ограничивался громким хлопком в ладоши каждый раз, когда входил в сад, чтобы не видеть своими глазами птичий грабеж. В таких случаях одновременно распускалось множество крыльев, словно ветер срывал и уносил все цветы в саду; серые, белые, желтые и коричневые оттенки мелькали перед глазами, листья взметались от ветра, а потом наступала пятиминутная тишина. Но что за тишина!.. Представьте себе: в деревне ни ткача, ни кузнеца, ни крупного хозяйства, и звуки, издаваемые людьми, лошадьми и рогатым скотом, разносясь по широкому пустым дорогам, быстро таяли и затихали в шепоте ветра. Тут никто в глаза не видел фабрики, сюда почти никто не приезжал, а до железной дороги было очень далеко. Так что если бы нарушители спокойствия раскаялись и отступились от сада, аббат заснул бы над книгами в мертвой тишине.

Но птицы возвращались быстро; первыми мчались воробьи, за ними следовали сойки, и вскоре вся стая слеталась на привычное место. Аббату оставалось только ходить взад-вперед с захлопнутой (или раскрытой) книгой и сетовать: «В этом году они не оставят мне ни ягодки!»

Ропот не имел ни малейшего воздействия: ни одна птица не бросала свою добычу, считая доброго аббата чем-то вроде переваливающейся с бока на бок при ходьбе живой груши с толстыми листьями. Птицы хорошо знают, что те, кто много жалуется, не прини-



мают решительных мер. Они каждый год вили вокруг дома множество гнезд. Лучшие места занимались в первую очередь, и там и сям из дупел, щелей в стенах, ветвей яблонь и вязов подобно острию меча высовывался длинный клюв. Однажды, когда все места оказались заняты, озадаченная этим синица сумела пробраться в щель под крышкой висящего на воротах почтового ящика. Она осмотрелась, удовлетворилась результатами и сразу стала таскать туда материалы для гнезда, не пренебрегая ни перьями, ни конским волосом, ни шерстью, ни даже лишайником.

Однажды утром разъяренная домоправительница аббата вошла в дом, держа в руке найденное у ворот сада под лавром письмо.

— Посмотрите, мсье, теперь уже и письма грязные! И они на этом не остановятся!

— О ком ты говоришь, Филомена?

— О наглых птицах, которым вы разрешаете здесь жить! Скоро они начнут вить гнезда в супницах!

— У меня только одна супница.

— Они вздумали отложить яйца в почтовом ящике! Я открыла его из-за звонка почтальона — а это, сами знаете, происходит не каждый день. Ящик оказался набит соломой, конским волосом, паутиной, кучей перьев — хватило бы на стеганое одеяло, а посреди всего этого мусора сидела какая-то тварь и шипела на меня, как гадюка!

Аббат начал хохотать, словно услышавший о детских проказах дедушка.

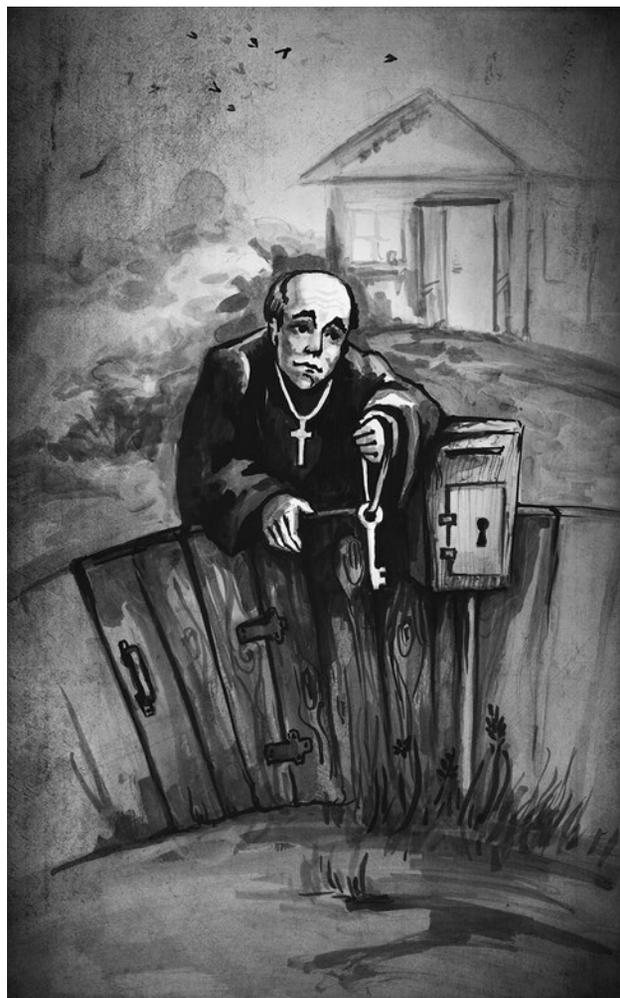
— Должно быть, это синица, — объяснил он, — единственная птица, способная придумать такое. Постарайся не тревожить ее, Филомена.

— Не беспокойтесь, я не собираюсь приближаться к ней!

Аббат быстрым шагом прошел через сад, дом, засаженный спаржей внутренний двор, остановился у стены, отделяющей дом от проселочной дороги, и осторожно заглянул в большой почтовый ящик. Там хватило бы места для писем, полученных всеми жителями деревни за целый год. Шишкообразная форма гнезда, цвет и торчащие наружу веточки вызвали у аббата улыбку. Услышав шипение сидящей внутри птицы, священник промолвил:

— Отдыхай спокойно, крошка, я знаю, что тебе нужно. Три недели на высидывание яиц и столько же на воспитание потомства, верно? Очень хорошо. Я заберу ключ.

Он действительно забрал у Филомены ключ от почтового ящика и, закончив с утренними делами — посетить больных прихожан, объяснить мальчишкам, какие фрукты можно взять в саду, осмотреть колокольню, потому что после бури из кладки выпал камень, — вспомнил о синице и испугался, что какое-нибудь пришедшее письмо нарушит ее покой.



Страх был практически беспочвенен, потому что во время обхода деревенский почтальон, как правило, просто наслаждался супом в одном доме, выпивкой — в другом и лишь изредка доставлял письмо родным от ушедшего в армию солдата либо налоговое извещение на какую-нибудь далекую ферму. Однако приближалось 29 апреля — день святого Роберта, именины аббата. И он решил послать трем оставшимся у него адресатам, достойным называться друзьями, — одному мирянину и двум священникам — такие письма: «Мой дорогой друг, не поздравляй меня с днем святого Роберта в этом году, пожалуйста. Получение письма в это время причинило бы мне неудобства. Я объясню все позже, и ты все поймешь».

Друзья подумали, что он стал хуже видеть, и ничего не написали.

Аббат был счастлив. Три недели он думал о лежащих в почтовом ящике пестро-розовых яйцах, а на двадцать первый день наклонился к щели и прислушался, после чего, просияв, поднялся на ноги:

— Я слышу их щебет! Щебет! Они появились на свет благодаря мне!

У этого старика в груди билось сердце ребенка.

В это же время в своей резиденции в главном городе провинции епископ, собрав совет из двух наместников, настоятеля собора, секретаря и директора академии, размышлял над кандидатурами на вакантные церковные посты. Назначив несколько викариев и священников, он выдвинул такое предложение:

— Господа, у меня на примете есть идеальный во всех отношениях кандидат для прихода N; однако следовало бы — по крайней мере ради приличия — сперва предложить такую ответственную должность одному из наших старейших аббатов из аббатства святого Филимона. Он, несомненно, откажется, и причиной этому ничуть не в меньшей степени, чем возраст, послужит его скромность. Однако так мы продемонстрируем, насколько это в наших силах, что ценим его усердие.

Пять советников единодушно проголосовали «за» и тем же вечером отправили письмо с печатью епископа и постскриптумом: «Пожалуйста, напишите ответ немедленно, дорогой аббат, или же приезжайте сами, так как нужно составить окончательный список кандидатур в течение трех дней».

Письмо пришло как раз в тот день, когда вылупились птенцы. Почтальон с большим трудом протолкнул его в щель; оно исчезло внутри и улеглось незамеченным у основания гнезда.

Вскоре маленькие синички покрылись пухом. Их было четырнадцать; они щебетали, с трудом стояли на тонких лапках и с утра до ночи открывали клювики в ожидании еды — чтобы съесть ее, переварить и потребовать снова. В этот период жизни птенцы еще ничего не умеют, однако длится он у птиц совсем недолго. Очень скоро они начали толкаться в гнезде, потом выпали из него, дошли до края ящика, увидели через щель огромный новый мир снаружи и, наконец, решились...

Аббат наблюдал за первым выходом пернатых гостей в свет. Когда птенцы выбрались из ящика, совершили свой первый полет, вернулись к гнезду и снова закружились подобно пчелам вокруг улья, он произнес:

— Это означает конец их младенчества и то, что мой труд удался. Они все до единого сильны и выносливы.

На следующий день в час послеобеденного досуга аббат взял ключ, подошел к ящику и осторожно постучал. Не получив ответа, он открыл ящик — и ему в руки упали остатки гнезда и письмо.

— О боже! — воскликнул он, узнав печать. — Письмо от епископа... и в каком состоянии! Сколько же оно здесь пролежало?

Ознакомившись с содержанием письма, священник побледнел:

— Филомена, срочно запрягай Робина.

Подошедшая домоправительница решила сначала выяснить, что случилось.

— В чем дело, мсье?

— Епископ ждал меня три недели!

— Вы упустили свой шанс, — заметила старуха.

Аббат уехал и вернулся только на следующий вечер. Он выглядел очень спокойным. Когда он распряг Робина, дал ему сена, переоделся, распаковал с дюжину купленных в городе вещей, уже наступил вечер — время, когда птицы собирались на деревьях поболтать друг с дружкой о том о сем. Прошел дождь; прыгая по веткам в поисках подходящего местечка, беззаботные создания стряхивали с мокрых листьев множество капель.

Узнав своего друга и хозяина, пернатые слетели с веток и закружились у него над головой, подняв необычайно громкий шум, а четырнадцать еще не вполне оперившихся синичек выписывали первые круги над садом и издавали первые крики под открытым небом.

Аббат смотрел на них с нежностью, но одновременно с грустью — так мы смотрим на то, что дорого нам обошлось:

— Что ж, крошки, без меня вас бы не было, а без вас моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Я ни капли не жалею, но и не радуюсь. Ваша благодарность слишком шумна.

Он нетерпеливо хлопнул в ладоши.

Аббат никогда не был честолюбив и говорил совершенно искренне. Однако на следующий день, беседа с Филоменой, он сказал ей:

— Если в следующий год синица снова прилетит, сообщи мне, Филомена. Это доставляет слишком много хлопот.

Однако синицу в доме больше не видели — равно как и писем от епископа.

Перевод с английского Евгения Никитина

Евгений Никитин — студент пятого курса Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.



Даша ЯКОВЛЕВА



*Здравствуйте, я, Даша Яковлева, родилась в Уфе в 1996 году.
Учусь в школе, а свободное время уделяю изучению Древнего
Египта, прогулкам на велосипеде и стихотворениям.*

* * *

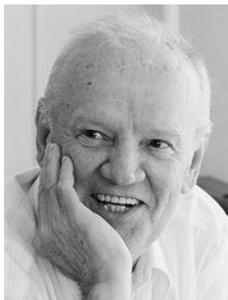
Ах, луна,
Так ярко светишь,
Постоянная.
Ты одна,
Как в поле пеший,
Ненаглядная?
Ах, луна,
Как серп крестьянский,
Вся блестящая.
Эта тьма?
С душой смутьянской?
Уходящая?
Ах, луна,
Стремится ночь
В неизвестное.
Ну и ты
Уходишь прочь
В межпланетное.

* * *

Сидит в глухой темнице
Полуголодный раб.
Он слышит пенье птицы,
Но крик далек и слаб.
Однако тусклый свет
Из окон на стене
Надежды шлет привет:
«Доверься, пленник, мне».
Уже на гильотине
Она спасла раба.
И с той поры поныне
Надежда — есть Судьба.

г. Уфа

Петр КЛАССЕН



Петр Классен — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Премии Правительства РФ, автор многих научных трудов и изобретений. Родился в 1939 году в Запорожье в семье русских немцев. В самом начале войны семью Классенов переселили в Южный Казахстан, где и прошли его детство и юность. Потом были годы учебы в институте, аспирантуре и многолетняя плодотворная научная работа.

А параллельно с юношеских лет Петр Владимирович писал стихи, рассказы, эссе и очерки. Его первые стихи были опубликованы в поэтическом альманахе «Третье дыхание», издано несколько поэтических сборников: «Золотая Мещера» (1996), «На краю» (1998), «Межсезонье» (2001), а также книга рассказов и эссе «Переселенцы» (2008). Один из рассказов опубликован в сборнике «Кольцо А».

В УГАНДЕ

Живут в Уганде угандийки,
В стране вечноцветущих роз,
Они стройны и полудики,
С косичками, как ночь, волос.

Они из племени баганда,
Живут здесь миллионы лет,
Питаются одной баландой,
Красою затмевают свет.

Их первобытность — от природы,
И первобытная краса,
И плоть их вызревают плодом
У угандийцев на глазах.

Разгадка красоты их в танце,
В природных ритмах бытия,
И увлекают иностранцев
Они, танцую и шутя.

И их открытость не фальшива,
Они бесстыжи иногда,
Их простодушие не лживо —
Они не ведают стыда.

Неужто так и наши предки
Мильоны лет тому назад
На бедра надевали ветки
И увлекались наугад!

Витим и Пеледуй

Вдруг вырвались из плена
Аж два притока Лены.

Свой дарит поцелуй
Витиму Пеледуй.

Приток — свой побратим
Приветствует Витим.

Упрямо ветры дуют
Навстречу Пеледую.

Наш путь неотвратим —
Витийствует Витим.

Продолжили объятья
При встрече с Леной братья.

Золотая Мещера

Тишина. Омертвело-былинная тишь.
Предзакатная дрожь, будто отзвук пещерный.
Будто ты о затеянной рати трубишь
И не спишь, золотая Мещера.

Шаг да шаг кобылиный печатает лишь
Отзвук зарева — отзвук ущербный,
Будто ты в этой рати всю нечисть палишь
И не спишь, золотая Мещера.

Тишина. Омертвело-былинная тишь.
Шаг да шаг на закат, оставляемый щедро.



Ты так долго, и страшно, и звучно горишь
И не спишь, золотая Мещера!

* * *

Как ладно жить в тверской глубинке
На берегу Холохоленки,
В которой телке по коленки,
В лесах рябит от голубики.

Здесь села есть в верховьях Волги,
Хоть неказисты, но прекрасны.
Здесь на закате воют волки,
А парни смолоду вихрасты.

Здесь на излучине — Паньково,
А чуть поодаль там — Лединки.
И люди здесь живут толково,
Справляют свадьбы и поминки.

Там, где впадает речка в Волгу,
На трех холмах — Холохоля
Стоит красиво, справно, долго:
Я был недавно там, на днях.

Ведерниково — всякий знает:
Сельцо всего-то в пять дворов.

Здесь есть собака — громко лает,
Отводит нечисть и воров.

Здесь парни смолоду вихрасты,
И девки тем парням под стать,
И на язык остры и страстны —
Как видно, повелось так встарь.

Любовь к поэту

Татьяне Кузовлевой

Когда-то я влюбился в поэтессу —
По фотографии в журнале.
Она явилась сказочной принцессой,
И все Эвтерпу в ней признали.

Но мне она была стократ дороже
Всех муз — Эвтерпы и Эрато.
Я в образ был ее влюблен — о боже! —
Тайком, застенчиво, приватно.

И вот минули зимы, весны, лета,
Пришла седая-преседая осень...
По-прежнему жива любовь к поэту
В том, кто ее и не достоин вовсе.

г. Москва

Виктория ЛЫСЕНКО



Виктория Лысенко родилась в Москве. В 1964 году окончила Московский финансовый институт. С 1965 по 1998 год работала во Внешэкономбанке в разных должностях — от экономиста до заместителя начальника управления.

С 2004 года начала писать рассказы. Член Союза писателей России (Московское отделение). Публиковалась в «Роман-журнале» и журнале «Российский колокол».

Живет и работает в поселке Сосны Московской области.

НА ОРБИТЕ НАДЕЖДЫ

Елена Николаевна, для ровесников просто Лена, жила в Ленинградской области в пятиэтажном кирпичном доме в квартире, которую она купила десять лет назад сразу после выхода на пенсию. Жила

она одна, бывший муж, стоматолог, эмигрировал в Германию в восьмидесятых годах прошлого века.

Ходила Лена с трудом из-за артроза с болевым синдромом. Не помогали уже ни мази, ни таблетки, ни

уколы. Боль в суставах немного ослабевала, если она была чем-нибудь увлечена, и почти прекращалась, когда что-то целиком захватывало ее мысли и чувства.

Чтобы скрыть редкие седые волосы, зимой она в помещении часто не снимала шапку, а летом носила или легкую шляпку, или бейсболку, или оригинально повязанную косынку. Лицо было почти без морщин, поэтому она выглядела моложе своих лет.

Ей удалось пару раз воспользоваться льготой для пенсионеров — съездить в санаторий по бесплатным путевкам. Она называла это «отдыхом в квадрате»: пенсия — и так отдых, а провести время без готовки и уборки — отдых, умноженный на отдых. На будущий год она также подала заявление на такую путевку.

Лена любила уезжать из дома в феврале-марте, потому что это самое трудное время для пожилых и больных людей — промозгло и скользко, легко простудиться или упасть и получить тяжелую травму. Она несколько раз падала, но все как-то обходилось.

У Лены была одна близкая подруга — Надя Лунева. С Надей они дружили с детства и долго работали вместе. В их организации борьба за карьерный рост часто сопровождалась подсиживаниями и интригами. Приходилось сталкиваться и с предательством. В такой обстановке они не раз выручали и даже спасали друг друга. На пенсии Надя начала писать очерки на основе опыта своей жизни, потом рассказы и повести, и ее даже приняли в Союз писателей. Сейчас они жили по соседству, и каждая знала, что в трудную минуту подруга окажется рядом, чтобы поддержать и помочь.

Собираясь в поездки, Лена всегда надеялась завести новые интересные знакомства. Ей хотелось обменяться с кем-нибудь номерами телефонов и хотя бы перезвониваться, а лучше — приобрести еще одну приятельницу. Найти друга, конечно, нереально. Да и какая может быть дружба между мужчиной и женщиной? Она в это не верила. Однако с женщинами тоже почему-то ничего не получалось. На курорте все

хорошо — полный контакт, а разъехались по домам — и отношения закончились.

Вскоре после новогодних праздников сотрудница управления социальной защиты предложила Лене путевку с конца марта в санаторий в Псковской области, и она согласилась.

Лена подошла к зданию метро, откуда отправлялся специальный автобус, и увидела группу пожилых людей с чемоданами и сумками. Среди них была пара, не похожая на супругов, — старик с недовольным выражением лица, явно старше восьмидесяти лет, и моложавая блондинка в простенькой синей куртке и вязаной шапочке. Кроме того, внимание Лены привлек высокий худощавый мужчина, похожий на киноактера, с зачехленной гитарой и большим портфелем, а также красивая дама в черно-белой шубке. Немного в стороне стояла женщина с самой обычной внешностью, чем-то похожая на Лену. Она что-то кричала в мобильник, размахивая рукой, в которой держала бутылку воды. Остальные пенсионеры ничем особенным не выделялись.

В автобусе Лена заняла место в середине салона у окна, и к ней никто не подсел. Дама в черно-белой шубке села где-то впереди, а женщина с бутылкой воды и мужчина с гитарой — сзади.

Недовольный старик и блондинка в синей куртке сидели сразу за ней, и она слышала, как женщина называла его папой. Наверное, дочь, хотя сейчас содержанки называют своих «спонсоров» папами, и некоторые жены зовут так своих мужей. Такая манера ей не нравилась.

У входа в жилой корпус санатория, где находилась и администрация, курил седой мужчина. Он сидел в инвалидной коляске.

На территории санатория — четыре строения, между которыми пролегла круговая прогулочная дорожка

длинной около километра. Направо от жилого корпуса — столовая, налево — лечебный корпус, напротив, на противоположной стороне круга, — здание клуба.

Дорожка, соединявшая здания, называлась орбитой. Обычно отдыхающие, расходясь по своим делам, говорили: «Встретимся на “орбите”». Лена спросила у медсестры, откуда взялось такое остроумное и меткое название, и получила ответ, что так впервые назвала дорожку писательница Надежда Лунева, отдыхавшая у них лет пять назад.

Лену поселили с женщиной, которая перед отъездом разговаривала по мобильнику. Ее звали Любой. Она была журналистом и до пенсии работала руководителем отдела в редакции популярной газеты. Они быстро выяснили, что обе не любили сериалы, много читали и обе — жаворонки, так что совместное проживание при таких одинаковых привычках не должно, по-видимому, доставить каких-либо неудобств.

Распаковав чемоданы, они пошли обедать. Возле столовой симпатичные кошки поджидали гостинцев. За столом Лена и Люба сидели вдвоем, два места пустовали.

На выходе из столовой они встретились с дамой, которую Лена запомнила по черно-белой шубке. В отличие от всех остальных, обедавших в бруксах, свитерах и сапогах, дама была при полном параде — в нарядном зеленом костюме и туфлях, на лицо нанесен легкий макияж. Когда она успела? Часа не прошло после приезда. Дама кивнула им как старым знакомым, представилась Натальей и спросила их имена. Обмениваясь первыми впечатлениями, они вместе дошли до спального корпуса.

Таких высоких, пушистых елок Лена давно не видела. Некоторые из них украшены электрическими гирляндами. Разноцветные огоньки зажигали после ужина, и казалось, что в неласковую зиму от них исходило тепло.



На ужин Наталья пришла в сиреневом облегающем трикотажном платье с воротником-шалкой, обрамлявшим довольно глубокий, но не вызывающий вырез на спине. Подол платья был не ровный, а выкроенный углами. Женщина проходила через всю столовую, держа спину прямо, не обращая внимания на немногие доброжелательные и многочисленные неодобрительные взгляды.

Вечером Люба сказала Лене:

— Наташка совсем из ума выжила, нашла где выпендриваться.

— По-моему, ее наряды смотрятся на ней довольно органично. Мне кажется, она просто не умеет одеваться по-другому. В ее внешности есть аристократизм.

— Она такая же аристократка, как я — Франсуаза Саган. Или ты считаешь признаком аристократизма надетые не к месту дорогие шмотки?

— Нет. Я считаю признаками аристократизма ее открытость и доброжелательность, хороший вкус, утонченный облик и полное отсутствие высокомерия. При первом же знакомстве она вызвала симпатию и расположение. Люба, давай прекратим этот разговор — сплетни уж точно никакого отношения к аристократизму не имеют.

— Я могу сказать ей прямо в лицо, что своими туалетами она демонстрирует только собственную глупость и неадекватность.

— Лучше не надо. А у тебя острый язык. Ты, наверное, была очень хорошим, но злым журналистом.

— Не мне судить. Коллеги относились ко мне по-разному: многие не любили, многие уважали, некоторые боялись. В нашей редакции для аристократизма места не находилось.

— Я тебя понимаю. У меня на прежней работе было то же самое.

— Что-то мы заболтались. Пора спать. Спокойной ночи.

Утром Лена, как и все прибывшие накануне, пошла на прием к врачу. Ей назначили гимнастику, массаж, бассейн и витаминные уколы. Все

процедуры Лена успевала делать в первой половине дня, вторая оставалась полностью свободной. В такое время она вновь увидела возле корпуса мужчину в инвалидной коляске.

— Хотите, я вас покатаю? В парке санатория есть то ли небольшое озеро, то ли пруд, а на берегу — скульптуры животных: медведя, оленя, волка. Я буду опираться на вашу коляску, и мне легче будет идти. — Она подумала, что с коляской, должно быть, так же удобно ходить, как в супермаркетах с тележкой для продуктов.

— Ну, если действительно будет легче... Меня зовут Владимир.

— Лена.

Она еле сдвинула коляску с места. Особенно трудно приходилось на спусках и подъемах. Вниз надо было коляску удерживать, толкать вверх вообще сил не хватало. Владимир, как мог помогал ей, вертя большие колеса. Так по «орбите» они доехали до поляны со скульптурами. Владимир перебрался на садовую скамейку. Лена села рядом.

— Я живу один в Пскове — у бывшей жены другая семья. Есть сын и внуки, работал юристом на заводе, сейчас на пенсии по инвалидности — рассеянный склероз. А у вас что со здоровьем?

— Артроз, только я не люблю говорить о болезнях. Давайте поговорим о другом.

Она рассказала ему о своей профессии экономиста, о поселке, в котором живет, и спросила его о внуках.

— Первому — три года, а второму — полтора. Младший внук у нас иногда бросается на пол. Так поступают многие дети в определенном возрасте, требуя выполнения своих желаний. Но наш малыш сначала берет какую-нибудь мягкую кофточку или пушистое полотенце, потом ложится, кладет под головку то, что приготовил заранее вместо подушки, и тогда уже начинает орать. Мы уходим из комнаты, и крики прекращаются.

— Забавно. Но этот ребенок, когда вырастет, не даст себя в обиду. А у меня нет детей и, соответственно, внуков. Но у моей лучшей подруги, Нади, внучки-двойняшки. У них в школе в первом классе учительница как-то попросила учеников привести примеры длинных и коротких предметов. Одна из сестер подняла руку и выдала следующий текст: «У меня на одной кроссовке шнурок длинный, а на другой — короткий, потому что оборвался. Мне его неудобно завязывать. Я говорю маме: «Мама, давай сходим на наш колхозный рынок. Там все есть, и мы купим новые шнурки. Так нет же. Ей всегда некогда и некогда»».

Тут кругом лес — чудесное место. Природа красива всюду, где ее не испортил человек. В этом году весна запаздывает. К сожалению, сейчас на озере лишь снег и лед, а летом мы, наверное, увидели бы здесь мои любимые цветы: кувшинки и лилии. Вы не знаете, почему они совсем не могут стоять в вазах, возможно, потому, что растут в воде?

— Они растут не только в воде, но одновременно и в земле и, видимо, крепко связаны с этими двумя стихиями.

— Удивительно! Обычно люди вспоминают о том, что земля и вода — стихии, в связи с астрологией или катастрофами, а вы упомянули об этом, говоря о цветах. Но давайте вернемся к вашим делам. Вам кто-нибудь помогает по хозяйству?

— Никто. Я все делаю самостоятельно. Только я не могу не думать о том, что меня ждет, и поэтому являюсь сторонником эвтаназии — ухода из жизни тяжело и неизлечимо больных людей по их воле с помощью медицины. При моем заболевании в перспективе паралич, полная обездвиженность. Но есть и другие страшные недуги, которые приводят к удалению кишечника, сжатию гортани и другим ужасам. Считаю, что право на жизнь логически предполагает и право на ее прекращение.

— Что вы такое говорите! Как можно убивать людей?

— В вопросе об эвтаназии, как ни в каком другом, приверженцы и противники не слышат друг друга, как в старом анекдоте. Встречаются двое глухих, и один другого спрашивает: «Ты идешь на рыбалку?» — «Нет, я иду на рыбалку». — «А я думал, что ты идешь на рыбалку».

Кто не хочет эвтаназии, к тем ее не применяют. Дайте уйти тем, кто хочет! Не решайте за других, что для них лучше. Быть может, они не только понимают в полной мере отсутствие иного выхода, но и осознают правильность и своевременность окончания жизни, исполнение своего предназначения на земле.

— Никто не знает должного срока завершения земной жизни, не знает, выполнено ли до конца все, что предназначено. Это решается свыше. Возможно, человеку еще предстоит сделать что-то важное: дать кому-то совет, или что-нибудь написать, или нарисовать картину.

— Вот, именно то, о чем я говорил. Вы меня не слышите. Какой совет, какие картины! Речь идет о неимоверной физической боли, о бессилии, о беспомощности, вызывающей зависимость, а с ней моральные страдания. Для животных эвтаназия — это гуманно, а для людей...

— Для людей это бесчеловечно.

— Мне известно, что в некоторых даже на первый взгляд благополучных домах престарелых и хосписах люди живут в нормальных условиях только до тех пор, пока они на ногах и могут за себя постоять. Если человек слег или перестал соображать и уже не может сам себя обслуживать, его переводят в отдельное помещение, где грязь и смрад. Там никто не убирается и не ухаживает за больными. Они лежат истощенные, с пролежнями и язвами, и умирают своей смертью не только в муках, но и в жутких, скотских условиях — в крови и нечистотах. Чтобы избежать подобной участи и не

быть в тягость своим близким, тысячи людей, не дожидая остаток жизни, идут на самоубийства и, не зная легких способов, принимают мучительную смерть до срока, опасаясь, что позже у них не хватит на это сил. Если была бы эвтаназия, они смогли бы прожить дольше. Их тела бывают так покалечены и изуродованы, что при прощании гробы не открывают.

В некоторых государствах эвтаназия применяется, например, в Голландии, Бельгии и Швейцарии. Туда приезжают пациенты из других стран Европы, где эвтаназия запрещена, в частности из Англии и Германии. Они представляют медицинские документы, подписывают необходимые бумаги, прощаются с близкими родственниками и засыпают навсегда. Разве можно считать, что врачи, которые этим занимаются, — мерзавцы? Их организация называется «Дигнитас» — «Достоинство», потому что они помогают людям уйти достойно. Правда, эта услуга стоит дорого, но там у населения высокие доходы, и многие готовы заплатить большие деньги за такую помощь.

Во Франции тоже запрещена эвтаназия, однако подавляющее большинство граждан выступают за ее разрешение путем внесения поправки в действующие законы.

Недавно я увидел по телевизору сюжет о том, что в Голландии появились мобильные бригады типа скорой помощи, осуществляющие эвтаназию по вызову. Это во многом упростило формальности, предшествующие ее применению, и сделало ее более доступной. Было сказано, что почти в равных количествах вызовов пациенты или отказывались от эвтаназии сами, или отказались от своего решения их уговаривали врачи, или пациенты настаивали на своем желании сделать последний шаг, а врачи с ними соглашались. Журналист говорил об этом тенденциозно, в резком негативном свете, а по-моему, то, о чем он рассказал, свидетельствует о глубоком

взаимопонимании и доверии между врачами и пациентами.

— Чудовищно! Я в данном вопросе на стороне журналиста. И уж если обсуждать возможность эвтаназии, то в редких, исключительных случаях, а не в массовом масштабе.

— К сожалению, люди умирают в массовом масштабе и лишь в редких, исключительных случаях — безболезненно.

— Больного человека легко обмануть и принудить к подобному волеизъявлению в чьих-то корыстных целях.

— Преступления совершаются в любой области. С обманом и принуждениями должны разбираться правоохранительные органы и назначать соответствующие уголовные наказания. Но нельзя приравнять к преступникам отчаявшихся людей, совершающих как милосердие эвтаназию в странах, где она под запретом. Не раз бывали случаи, когда родные люди, видя и ощущая всеми чувствами, как свои собственные, нестерпимые страдания матери или отца, дочери или сына, не смогли воспротивиться настойчивым просьбам умирающего — ускорить его смерть. Они были обвинены в убийстве несмотря на то, что медицина документально зафиксировала неизлечимость болезни, сопровождаемой жестокими муками. Хочется крикнуть их обвинителям: «Где ваш разум?! Видимо, особенности вашей психики не позволяют вам представить в такой ситуации себя. Но когда наступит ваш час, пусть вам не придется умолять кого-нибудь именно о том, в чем сейчас вы обвиняете сильного, мужественного человека, осуществившего, может быть, самое трудное в своей жизни решение. Не осуждения заслуживает он, а понимания и поддержки». На мой взгляд, это еще одно подтверждение необходимости инициировать законопроект об эвтаназии.

— Мне кажется неправильным и недостойным просить об этом близкого родственника или друга, взвали-



вать на него тяжкий груз вины. Я бы так никогда не поступила.

— Вряд ли кто-то может предвидеть, как поведет себя в обстоятельствах, о которых идет речь. В периоды инквизиций, войн, репрессий под пытками ломались и изменяли своим идеям даже очень стойкие и выносливые люди.

— Все равно я с этим не согласна. Я верующий человек, православная. То, к чему вы призываете, — грех.

— Возможно, через энное количество лет ваше мнение изменится.

— Скоро ужин, пожалуй, нам пора возвращаться.

Лена подумала, что ее подруга, Надя, безусловно, согласилась бы с убеждениями Владимира. Как же болят руки от этой коляски!

После разговора об эвтаназии остался тревожный осадок. Лена старалась от него освободиться: гуляла по «орбите», чередуя ходьбу с отдыхом. По вечерам Лена читала взятые в библиотеке детективы или ходила в клуб на старые советские фильмы. Они привлекали и очаровывали ее не только сюжетами, режиссерским мастерством и игрой актеров — эти фильмы, кажущиеся теперь наивными, вызывали сердечный трепет атмосферой знакомого с детства быта, узнаваемостью старых городских улиц ее молодости, без реклам и иномарок, без шикарных ресторанов, супермаркетов и бутиков. Она всматривалась в лица героев, не знавших, что такое бизнес, и не озабоченных состоянием своих финансов, и уверяла себя, что люди не стали хуже — просто условия жизни стали другими.

На субботу Лена заблаговременно записалась на обзорную экскурсию по Пскову.

Она вошла в экскурсионный автобус, увидела у окошка Наталью и опустила на соседнее сиденье.

— До завтрака я успела сходить на гимнастику. Здесь хорошие групповые занятия. Без физиче-

ских нагрузок, пусть и небольших, мне не удалось бы поддерживать себя в форме.

— Я тоже занимаюсь, но самостоятельно, выполняю комплекс упражнений, который подобрала для себя сама. Я стала уделять спортивным занятиям больше времени после того, как в прошлом году вышла на пенсию.

— Вы совсем не похожи на пенсионерку. Вам никто не даст больше сорока. Вы сумели сохранить стройность и привлекательность и смогли сберечь главное — женственность и ощущение собственной молодости. Вам помогла в этом гимнастика?

— Не только. Я всегда чутко прислушивалась к своему организму. Пробовала ограничивать то соль, то сахар, то мясо и быстро приходила к заключению, что от этих экспериментов мне становится хуже, а лучше — когда я просто соблюдаю во всем умеренность. Еще скрывать возраст помогает косметика и уход за собой.

Мимо прошла та самая пара, которая сидела за Леной по дороге в санаторий.

— Наташа, вы не знаете, кто это?

— Отец — участник Великой Отечественной войны, кажется, занимал ответственный пост в правительстве при Леониде Брежневе. Как его зовут, я не знаю. Дочь — Валентина, приехала с ним в качестве сопровождающей. Она работает в ветеринарной лечебнице. Мы часто с ней и ее отцом подкармливаем кошек у столовой. Местные кошки отличаются деликатностью — они берут еду из рук осторожно, не касаясь пальцев. Валя любит животных. Она очень понравилась Семену — музыканту с гитарой.

— Почему вы так решили?

— Однажды она зашла на пятнадцать минут на дискотеку. Он сразу же бросился к ней, танцевал только с ней и пошел провожать до комнаты.

— Странно, я ни разу не видела его и Валентину вместе.

— Отец не отпускает ее от себя.

Семен считает, что отец разрушит любые отношения своей дочери. Это его и останавливает.

— Если Валентина живет вместе с отцом, то это вполне вероятно. Но для сильного мужчины такое обстоятельство не обязательно послужит препятствием. Женщину выбирают по многим критериям.

— У Вали тоже вполне хватает ответственности и привлекательности.

— Семен вас заинтересовал?

— Он образован, умен и, видимо, талантлив.

— Он не женат?

— Недавно третий раз развелся.

— Уверена, что, в конце концов, ваша красота и элегантность покорят его. Однако, мне кажется, с Семеном было и будет тяжело любой женщине. Он как творческий человек, скорее всего, потребует максимум внимания к себе, и придется большую часть времени посвящать ему. Зато скучно не будет. Кроме того, по-моему, он относится к типу мужчин, которых постоянно нужно завоевывать, но вы на это вполне способны, поэтому, я думаю, вы — именно та, кто ему подойдет. Вы прежде были моделью?

— В молодости я участвовала в телевизионном конкурсе «А ну-ка, девушки!». После этого меня пригласили работать манекенщицей. Спасибо вам за поддержку. Через неделю Семен будет выступать перед отдыхающими. Он исполнитель классической и современной инструментальной музыки. Я пойду на концерт обязательно, а вы?

— Вряд ли. Музыка надо учиться, чтобы понимать ее. В моем детстве этого не случилось, и музыка для меня — как иностранный язык, которым я не владею. Вот мы и приехали. Теперь будем слушать экскурсовода.

Вернувшись домой, Лена застала Любу в плохом настроении. Люба поругалась с лечащим врачом, потому что врач отказался назначить ей

массаж, ссылаясь на противопоказания.

— Я лучше врачей знаю, что мне можно, а что нельзя. У медицины появилась новая цель — погоня за деньгами, и врачи перестали выполнять свой долг бескорыстно. Чтобы воспитать нравственность в человеке, нужно затратить много сил и времени, а развратить можно очень быстро, и это уже практически необратимо. У врачей хорошая зарплата, но им все мало. Они выписывают больным неэффективные дорогие препараты, потому что получают взятки от фармацевтических компаний, да еще тянут с пациентов деньги без стыда и совести — вот к чему привели рыночные отношения.

— Но не все же врачи такие, есть и исключения.

— Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказала? Вот именно — исключения.

— Я не то имела в виду. Есть много порядочных и честных врачей, а подонки встречаются среди людей любых профессий.

— Если ты действительно так думаешь, то ты сделала оговорку по Фрейду.

Чтобы не продолжать неприятный разговор с Любой, Лена после обеда не стала заходить в комнату, а сразу отправилась на прогулку. Вскоре на дорожке появилась Валентина. Несколько минут они шли молча.

— Я впервые вижу вас одну, без отца.

— Сейчас он спит после обеда. Он не любит оставаться в одиночестве, до сих пор скучает по работе, часто говорит о войне, сравнивает наши дни и то трудное прошлое.

— Отец рассказывал что-нибудь о своей фронтовой жизни?

— Да. Недавно он вспоминал такой эпизод. Батальон, в котором он служил, дислоцировался в деревне. Однажды зимой в сильный мороз отца направили с почтой в роту, располагавшуюся в пяти километрах от батальона. Дорога шла через поле.

На обратном пути дорога исчезла. Ее полностью занесло метелью. Он не знал, что делать, куда идти. За спиной отца вдруг раздался голос: «Не оборачивайся. Иди прямо, и ты увидишь дорогу».

Отец дошел до своей деревни и только тогда оглянулся. Дороги не было. Кругом — сплошная заснеженная гладь. Он до сих пор не смог понять, что же тогда произошло.

Лене показалось, что она где-то слышала эту историю или читала что-то подобное, а может быть, она ошибалась.

— Вы живете вместе с отцом?

— Да, я вернулась в его квартиру после гибели моего мужа в Чечне и смерти матери. Это было давно.

— Вам пришлось пережить страшные потери. Такие раны не заживают. Я вам очень сочувствую.

— Спасибо. Извините, я должна с вами попрощаться. Папа скоро проснется.

Лена замерзла и тоже пошла домой. Все время пребывания в санатории она непроизвольно возвращалась к своему первому разговору с Владимиром, к его главной теме. Твердая мировоззренческая позиция Владимира произвела на нее огромное впечатление. Она не смогла избавиться от беспокойства и сомнений по этому вопросу.

Люба лежала на кровати и смотрела в одну точку.

— Люба, что ты думаешь об эвтаназии? Несколько дней назад я разговаривала с Владимиром. Он ярый сторонник этой идеи, конечно, только в отношении людей, чье состояние медицина уже не в силах облегчить.

— Медицина не в силах облегчить даже наше с тобой состояние. Однако если человек находится на последней стадии болезни и ему ничем нельзя помочь, то медицина обязана обеспечить не эвтаназию, а хороший уход за ним, надлежащие санитарные условия, заботу и внимание до самого конца, причем бесплатно. В этом заключается истинное выполнение врачебного долга.

— К сожалению, это утопия. Санитарок не хватает почти везде. Уход за лежачими больными — работа не просто трудная, а иногда непосильная, и не просто неприятная, а зачастую вызывающая брезгливость и отвращение. За одну зарплату ее никто не делает. И за разумные деньги найти кого-нибудь крайне сложно. Больницы стараются таких больных не принимать. Но даже при самых лучших сиделках и докторам люди могут испытывать невыносимые физические боли. Им дают обезболивающие препараты с содержанием наркотиков, которые помогают лишь на короткий период и приводят к умственной деградации. Может быть, Владимир прав, считая, что для этих пациентов эвтаназия стала бы спасительным исходом?

— У каждого свой крест. Однажды мне поручили сделать репортаж о спортивных клубах, где занимаются инвалиды и пожилые люди под наблюдением докторов и инструкторов. Там я встретила врача лечебной физкультуры, которая обладала незаурядным поэтическим даром. Мне запомнилось начало одного из ее стихотворений:

Если в боль и недуг попадаешь, как в плен, —
Ни рыдать, ни роптать не пытайся,
Но давай же, давай, поднимайся с колен,
За что можешь — хватайся, цепляйся!¹

— Действительно, замечательные стихи. Звучат убедительнее любых научных рассуждений и доводов.

— Сейчас многим приходится думать не о том, как умирать, а о том, как выживать.

Дней через десять к Лене и Любе за стол посадили двух старушек. Лена отметила, что старушки выглядели неважно: лица у них были морщинистые, руки дрожали. Она и Люба по сравнению с ними просто ягодки,

¹ Стихотворение Ирины Михайловой, посвященное С. М. Бубновскому.



правда, совсем перезревшие и основательно подпорченные своими диагнозами. Но кто в таком возрасте здоров!

Новые соседки рассказали, что приехали сегодня, живут они недалеко, в районном центре. Туда ходит рейсовый автобус, и на нем всего полчаса езды до их города.

На второе блюдо у Лены была заказана птица по-деревенски, и она не поняла, какую именно съела птицу. Официантка уточнила, что это — курица. Было очень вкусно, чем-то похоже на одно из ее любимых блюд — запеченную утку, и Лена высказала соседям по столу то, что ей пришло в голову во время обеда:

— Мы в Санкт-Петербурге уже забыли вкус натуральных продуктов. Я живу за городом, но и там — то же самое. Не знаю, чем на птицефабриках кормят кур, скорее всего, какой-нибудь гадостью, и что уж говорить о рыбе — покупаешь тушки на всю огромную сковородку, а после жарки они превращаются в малюсенькие кусочки. Хлеб стал намного хуже, чем раньше. А здесь такое качественное питание: разнообразие овощей, фруктов, выпечки, кисломолочных продуктов, повара отлично готовят. И это по бесплатным путевкам. Хорошо, что пенсионерам предоставляется такая льгота.

Старушки взглянули на нее и Любу:

— У нас путевки не бесплатные — мы за них заплатили полную стоимость. В нашем городе не дают льготных путевок. Здесь больше всего москвичей и петербуржцев. Видимо, им легче получать такие путевки.

Неожиданно на повышенных тонах в разговор вступила Люба:

— Значит, петербуржцы и москвичи отобрали у вас бесплатные путевки! А вы понимаете, что Москва — столица нашей Родины, а Санкт-Петербург — фактически вторая столица, и в этих городах должно быть все самое лучшее? У нас плохая экология, перенаселенность, без-

умный ритм жизни, и мы больше боеем.

— Мы тоже боеем. Извините. — Старушки быстро поднялись и ушли, не допив компот.

Лена вообще-то предполагала, что Люба имеет склонность к вспышкам злобы и агрессии, но в данном случае и повода, по существу, не было. Наверное, причина кроется в ее собственных проблемах.

А Люба все никак не могла успокоиться:

— Я не останусь за этим столом. Такие неприятные женщины каждый раз во время еды будут портить мне настроение и аппетит. — Люба обратилась к подошедшей на звук громкого голоса диетсестре: — Пересадите меня, пожалуйста, за другой стол.

— Сегодня был большой заезд отдыхающих, поэтому свободных мест практически нет.

— Тогда я пойду к директору санатория и скажу ему, что напишу в газету, как невнимательно и бездушно у вас относятся к людям.

— Я подумаю, что можно сделать, уверена, мы сумеем разрешить эту проблему. — Диетсестра обратилась к Лене: — А вы будете пересаживаться?

— Нет. Меня здесь все устраивает. В следующий раз за столом рядом с Леной появился Владимир, а Люба сидела вместе с его бывшими соседями.

Лена мысленно восхитилась изяществом, с которым диетсестра справилась с возникшей коллизией. И в наблюдательности ей не откажешь.

Проходя по коридору корпуса к своему номеру мимо комнаты, где жили Валя и ее отец, Лена услышала слова отца:

— Не смей никуда уходить. Сиди дома. Ты приехала сопровождать меня, вот и изволь находиться при мне.

Да, пожалуй, с Семеном можно согласиться — с таким папашей личную жизнь устроить не просто.

Лена заметила, что Владимир все чаще стал смотреть на нее недвусмысленным, пронизывающим взглядом. Не нужно объяснять, что это означало. Может быть, кому-то из дам приятно ловить такие взгляды своего кавалера, но у нее это теперь не вызывало ничего, кроме протеста. Она помнила строки «Евгения Онегина» не по опере П. И. Чайковского, а по стихам А. С. Пушкина:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны...

А ниже, через несколько строчек, следовало:

Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след...

Лет тридцать, в крайнем случае двадцать назад что-то еще, возможно, могло бы получиться. Она не сомневалась, что Владимир из тех мужчин, которые умели сделать женщину счастливой. Ей нравилось общение с ним, ее привлекал его образ мыслей, и он это почувствовал. Но сейчас — слишком поздно. Ей страшно даже подумать о каких-либо изменениях в своей жизни, а такой груз она просто не выдержит.

Однажды в столовой он наклонился к ней слишком близко, она непроизвольно отшатнулась.

— Я не собирался целовать вас, Лена. Но если бы я решил сделать это... Неужели я вам так неприятен?

— Помилуйте! О чем вы говорите! Это уже чересчур! Вот незадача. Что же делать? Кажется, она знает один способ. Правда, этот способ жесток по отношению к ней самой, но ничего, от нее не убудет.

Она пришла в столовую пораньше и впервые без шапки. Владимир уже был там. Он внимательно взглянул ей в глаза:

— Вы как-то странно сегодня выглядите. Что с вами?

— Я забыла надеть зубные протезы. — Дикция была нарушена, она картавила и не могла четко произносить слова. — Придется сходить за ними.

В ванной комнате Лена взглянула в зеркало — беззубая старуха с проваленными щеками и седыми космами — вылитая старая ведьма. Для полноты картины только метлы в руках не доставало.

Она вернулась с протезами как ни в чем не бывало.

Он коротко и крепко сжал ее руку: — Я вас понял. Вы сильная женщина.

Лена спрашивала себя: а если бы он не был инвалидом-колясочником? Отвечать на этот вопрос не хотелось. Хотя, пожалуй, ответ очевиден: тогда он нашел бы женщину моложе, здоровее и красивее. Поэтому она все сделала правильно. Странно, суставы почему-то почти перестали болеть.

Выступление Семена произвело настоящий фурор¹. Семен включил в свой репертуар главным образом русские романсы. По просьбе публики он несколько романсов даже спел, хотя обычно этого не делал. Каждый номер сопровождался рассказом об авторах стихов и музыки и о том, где и в какой исторический период создавалось произведение. Еще Семен исполнил один романс собственного сочинения, который написал совсем недавно здесь, в санатории:

Возле сосен и елей
Воздух чистый и свежий,
Там выводит аллея
На орбиту надежды.

На орбите надежды
Безгранично пространство,
Здесь мы будем, как прежде,
Вместе слушать романсы

¹ Эпизод написан под впечатлением от творчества певца, автора и исполнителя русских романсов, лауреата международных фестивалей и конкурсов Александра Сибирева.

О душе, что бессмертна,
О судьбе беспощадной,
О спасительной вере
И о Родине нашей.

О любви роковой
Зазвонят две гитары,
Молодец удалой
Рвется в терем отрады.

Музыка была написана в ритме вальса и хорошо сочеталась с включенной после этого куплета мелодией из романса «Живет моя отрада». Затем прозвучали несколько тактов романса «Ночь светла». Семен продолжал петь:

Заблестит на волне
Серебром лунный блик...
Не жалея коней,
К «Яру» гонит ямщик.

Последний куплет был такой:

И охватит нас радость,
Словно в юности вешней,
Мы забудем про старость
На орбите надежды².

Заканчивая программу, Семен объявил, что в зале присутствует ветеран-фронтовик, защищавший наше отечество от немецко-фашистских захватчиков, и специально для него он споет песню композитора Константина Листова и поэта Алексея Суркова «В землянке». Зрители подпевали, а потом долго аплодировали.

На другой день все говорили только о концерте. Даже Люба была в восторге. Владимиру вечер доставил особенное удовольствие, потому что в городе он выходил из дома только при крайней необходимости.

Лена очень пожалела, что не сходила на концерт. Романсы она любила.

Отец Валентины выглядел гордым и счастливым. Он сказал, что

² Стихотворение Виктории Лысенко.

наконец-то встретился с настоящим искусством, как в доброе, старое время, и никогда не забудет, как, исполняя последнюю песню, Семен подошел к нему и пожал руку, и все хлопали не только Семену, но и ему.

Валентина не могла скрыть грусти, и Лена понимала, почему. В то утро Наташа появилась за завтраком в великолепном черном платье с черно-белой отделкой, повторяющей рисунок ее шубы. Она словно светила и была исключительно хороша. И в столовой произошла еще одна рокировка, в результате которой Семен оказался за столом рядом с Наташей.

Наступил день отъезда. Автобус Лены отправлялся сразу после обеда, поэтому вещи в багажное отделение погрузили заранее. Владимир уезжал позже.

Он ждал ее на улице. Лена подала ему руку со словами:

— Ну что же, мужества вам, и еще хочется пожелать оптимизма и надежды.

— До свидания. — Владимир поднес ее руку к губам.

Скоро она будет дома. Автобус тронулся. Можно подводить итоги этого «отдыха в квадрате» и делать выводы. Итак, за восемнадцать дней она подлечилась, почувствовала прибавление сил и энергии. Глубокий след и сомнения оставили в душе разговоры об эвтаназии. Об этом нужно будет еще как следует подумать. Она отвлеклась от бытовых проблем, увидела прекрасные места, получила массу впечатлений от встреч с новыми людьми. Однако ей снова не удалось приобрести ни друга, ни приятельницы, и она даже не обменялась ни с кем телефонными номерами. Жаль, что ее орбита так и не пересеклась ни с чьей другой орбитой. Но как все было интересно!

Пос. Сосны, Московская область



Арина КАЛЕДИНА



ОДНОКЛАСНИКИ.RU

Молодость уходила легко и стремительно, не оборачиваясь и ни о чем не жалея. Рыжие локоны мягкой волной струились по спине — прямой и подтянутой, упруго подпрыгивали с каждым шагом, как в рекламном ролике Pantine PRO-V. Яркий шелк воздушного платья беззаботно трепетал на ветру, словно крылья улетающей бабочки. Марина смотрела ей вслед, отчетливо сознавая необратимость момента.

— Эй, — неуверенно окликнула она.

Молодость лишь махнула рукой на прощание.

— Хамка! — расстроено сообщила Марина пухленькой блондинке, внимательно наблюдавшей за ней из глубины большого зеркала в тяжелой раме. — Ну, что усталилась?

Марина скорчила рожицу. Блондинка сдвинула бровки домиком, капризно поджала чувственные губки. Марина погрозила кулаком вдогонку Молодости, но той уже и след простыл. Из зеркала грозно замахивалась все та же малосимпатичная блондинка, которую Марина с некоторых пор видеть не могла, — она сама. Со стеклянной полочки на кафельный пол скользнула Mademoiselle Coco, разбилась вдребезги, окатив терпким запахом прожитых лет. Марина, гневно раздувая ноздри, с силой втянула воздух, поморщилась и, топнув с досады, отправилась пить чай с успокоительным тортиком.

Она зарегистрировалась на этом сайте давным-давно, когда социальные сети еще только входили в моду.

Поначалу активно общалась с бывшими одноклассниками, радуясь возможности прикоснуться к прошлому, повспоминать, попереживать, поностальгировать. Время шло, подобных сайтов становилось все больше, а желания поддерживать отношения с совершенно чужими, малознакомыми людьми становилось все меньше. Рассматривание фотографий стареющих одноклассниц в окружении взрослых детей не доставляло никакого удовольствия. Глядя на раздобревших теток с усталыми лицами, выцветшими глазами и опущенными уголками губ, она была вынуждена признаться, что и сама все эти годы не молодеда. Марина почему-то так и не научилась наслаждаться зрелостью. Осознание неизбежности старения было болезненным и неприятным. Да и о чем говорить с теми, с кем давно ничего не связывает, кроме веселого и одинаково небогатого для всех советского детства? О мужьях, о детях, о работе? Мужа у Марины никакого не было, рассказывать о работе за границей не хотелось — зачем провоцировать ненужную зависть? Ведь не будешь объяснять, что завидовать, в общем-то, нечему. Работа как работа, только на чужом языке. Сережа учится в Париже; у сына все складывается удачно и как-то очень удивляться и радоваться. Вот только она теперь совсем одна. За годы добровольной ссылки-эмиграции так и не сумела найти друзей-подруг. С приятельницами-франуженками отношения складывались

добрые, но не близкие. Слишком у них было разное детство. Как говорят французы, «ils n'ont pas joué dans la même cour» — они не играли в одном дворе. Тех, кто когда-то был действительно дорог и близок, ни на одном из сайтов Марина не нашла. А жаль...

В мае выдался длинный week-end — целых четыре дня! Глупо было не навестить сына.

Париж встретил Сережиной полудетской улыбкой и пьянящим запахом цветущей черемухи. Первый день Марина с удовольствием побывала просто мамой: гладила пересохшие рубашки, жарила оладьи на крошечной кухне студенческой квартиры-студии. Сережка корпел над учебниками — сессия на носу. Убедившись, что голодная смерть не грозит ее мальчику, Марина отправилась бродить по улицам вечного города без конкретной цели, даже не наметив маршрут. Прожив столько лет во Франции, она совсем не знала Парижа. Очень давно, еще до рождения Сережи, приезжала сюда с Клодом. У мужа были какие-то дела, и он взял Марину с собой. Как она радовалась! Но была зима, шел мокрый снег, и Марина увидела неприветливый, замерзший город из окна машины, мимоходом. А прошлым летом, когда Сережа поступил в университет, они бегали по Парижу в поисках съемной квартиры и всего необходимого для жизни в ней. Тогда было не до экскурсий.

Сейчас Марина неспешно шла по Латинскому кварталу, прислушива-

ясь к шумному многоголосью города. Свернув с бульвара Сен-Жермен на улицу Дофин, в огромном окне одной из бесчисленных крохотных художественных галерей она прочитала объявление по-русски: «Солнечный эллипс. Выставка молодых российских художников». Вошла. Пожилая владелица-француженка немедленно принялась рассказывать о достоинствах и уникальности представленных работ — будущих, по ее мнению, шедевров. Марина только пожалала плечами. Разглядеть шедевры в современной мазне, обозначенной стилем модерн, ей так и не удалось. Вышла не попрощавшись, притворившись, что не говорит по-французски. Мечтая скорее избавиться от тягостного впечатления, прижалась щекой к пятнистому стволу платана. Ствол был совершенно голый, теплый и беззащитный. Перешла Сену по самому старому в Париже Новому мосту, побрела вдоль набережной. Внизу у воды, сидя на каменном парапете, целовались влюбленные. Марина резко свернула в сторону, направляясь к аркадам на улице Риволи. Только теперь сообразила, что огромное серое здание, тянущееся нескончаемой вереницей гигантских окон, — Лувр. «Может, пора? Ведь до сих пор не удосужилась...» — думала она, входя сквозь широкую арку во внутренний каменный двор с фонтаном и уже направляясь к стеклянной пирамиде.

Отстояв очередь, оказалась наконец в музее, не торопясь отправилась плутать по залам против течения. Устала, присела на бархатную банкетку в центре очередной бесконечной галереи. Наблюдать за посетителями оказалось не менее интересно, чем рассматривать полотна. Калейдоскоп лиц, характеров, национальностей. Вот смешные сосредоточенные японцы с неизменными фотоаппаратами и кинокамерами, хотя в большинстве залов съемка запрещена. Высокие рыжие англичане или, может быть, ир-

ландцы с вытянутыми лошадиными, но необыкновенно приветливыми лицами. Темнокожие индусы в тюрбанах; их величественные женщины — в обычных трикотажных футболках, поверх которых намотаны длинные разноцветные сари. Прямо перед Мариной остановилась мусульманская семья, сопровождаемая персональным гидом-переводчиком. Мужчина, трое детей и две женщины. На голове старшей — чадыр¹ (или, может, хиджаб², он у них по-разному называется). Лицо младшей полностью закрыто темной тканью, и только яркие аспидно-черные глаза сквозь узкую прорезь пытливно взирают на мир. Дети слушают внимательно, не отвлекаясь. Марина с удивлением отметила, что подавляющее большинство посетителей — мусульмане, процентов на семьдесят. Еще двадцать — наши, русские. Оставшиеся десять процентов — все остальные.

Мимо нее стремительно пронеслась молодая женщина-экскурсовод с российским триколорным флажком в руке. На ходу она скороговоркой что-то рассказывала едва поспевающим за ней экскурсантам. «Куда она так бежит?» — заинтересовалась Марина и, подстегиваемая любопытством, пристроилась к русской группе. Гид влетела в зал, до отказа набитый посетителями, и, бесцеремонно орудуя локтями, принялась расталкивать толпу, протискиваясь вперед. «Не отставать! — время от времени покрикивала она своим пыхтящим и потеющим в духоте подопечным. Поддавшись общему азарту, Марина не отставала. Наконец, видимо, достигнув цели, гид остановилась у железной це-

¹ Чадыр (тюркск.) — женское покрывало у белуджей (народа, живущего на юге Пакистана, в Иране, Афганистане, Туркмении, Таджикистане и др. арабских странах) из светлого ситца, выкроенное полукругом и доходящее до земли.

² Хиджаб (арабск.) в исламе — любая одежда, однако в западном мире под хиджабом понимают традиционный исламский женский головной платок.

почки ограждения. До небольшого полотна, одиноко висевшего на пустой стене, оставалось метра три, не меньше. «Что же здесь можно разглядеть?» — удивилась Марина, с трудом вытаскивая из сумки очки. Со стены через толстое бронированное стекло загадочно улыбалась Джоконда. «Ни в одной другой картине глубина и дымка атмосферы не переданы с таким совершенством», — тараторила экскурсовод, как заведенная. Яркие лампы отсвечивали на стекле, назойливые блики бесцеремонно слепили мадонну, отчего ее улыбка казалась особенно грустной. Марина тяжело вздохнула, выбралась из толпы и отправилась восвояси. «Нет уж, организованные экскурсии не по мне!» — злилась она, проходя сквозь пустой соседний зал, рассеянным взглядом пробегая по ряду полотен, не защищенных ни стеклами, ни оградительными сооружениями. Уже на выходе вдруг остановилась, вернулась, подошла ближе. «Леонардо да Винчи. Благовещение. 1478–1482», — сообщала табличка. И следующая: «Леонардо да Винчи. Иоанн Креститель. 1513–1516». И рядом «La Belle Ferronniere. 1490–1496. Портрет неизвестной»...

Возле «Мадонны в гроте» Марина надолго замерла. Мадонны Леонардо... «Зачем пытаться создавать еще что-то, когда все уже создано?» — думала она, вспоминая творения утренних молодых художников.

— Слушай, ну попилились на эту Монализу — и хватит! Пошли уже пиво пить, — вывел ее из философских раздумий родной язык. Два розовощеких бугая шли по залу вразвалочку, не замечая Леонардо.

За ужином Марина с Сережей потешались над бугаями, которых она изобразила во всей могучей красе, болтали обо всем подряд. Было уютно и хорошо. Потом Сережа мгновенно заснул, а она все ворочалась на узком диване, замерзая среди жаркого лета. Тогда-то к ней снова пришла Молодость. Как две капли воды похожая на Марину — моло-



денькую и хорошенькую, худенькую, с веселыми ямочками на щеках, она заботливо поправила одеяло, присела в изголовье, положила теплую руку на лоб. Марина вскочила, испуганно озираясь, включила свет. В комнате было пусто. Мирно тикал будильник. Сережа спокойно сопел, разметав длинные руки-ноги по кровати. Марина потеряла щеки, словно проверяя, на месте ли ямочки. Глядя на старый, выдавший виды будильник, улыбнулась: когда-то Олег подарил его Марине на день рождения, она зачем-то притащила его во Францию. Сережка экспроприировал у нее «ходячую экзотику» еще классе в пятом, а теперь вот привез сюда.

Марина устроилась поудобнее, наконец задремала. Во сне видела себя юной и беззаботной. Она бежала по подсолнуховому полю, кого-то догоняя. Этот кто-то бежал быстрее нее, сократить расстояние никак не удавалось. Ноги вдруг переставали слушаться, с каждым шагом становились все тяжелее, вязли в мягкой податливой земле. Рыжеволосая девушка, бежавшая впереди, наконец остановилась, но почему-то не оборачивалась. «Вернись! — умоляла Марина во сне. — Я еще не все успела!» Рыжеволосая стояла неподвижно и громко смеялась. Ее смех звенел над полем, переливаясь радостными колокольчиками. Марине было горько, хотелось плакать. Она видела себя со стороны. Губы скривились, лицо исказилось и вдруг расплылось, сморщилось, в одно мгновение состарившись на глазах. На Марину глянула худая дряхлая старуха с растрепанными седыми космами. Она оскалилась пустым беззубым ртом. На ввалившихся щеках вместо ямочек зияли черные бездонные дыры.

Марина проснулась в ужасном настроении. Позавтракав без удовольствия, оставила Сережу наедине с конспектами и снова отправилась на прогулку. Выйдя из метро, вдруг потерялась среди столичной

сутолоки, ощутив себя инородным телом в чужом напряженном пространстве. На душе скребли кошки. Сон не шел из головы. Марина осталась на залитой солнцем площади, соображая, куда идти дальше. Мимо прошуршал толстыми разогретыми шинами веселый туристический автобус Open tour. Жизнерадостные негры махали ей с открытой верхней площадки и что-то кричали. Она помахала в ответ и, заметив, что автобус остановился с другой стороны площади, неожиданно для себя побежала, в самый последний момент успев вскочить на подножку. Водитель покачал головой, но промолчал, выдал крошечные наушники и карту. Негры встречали ее как родную, активно жестикулируя и белозубо улыбаясь. На сердце потеплело.

Автобус катился вдоль Сены, пересекая мосты, меняя берега, мимо самых известных и самых посещаемых городских достопримечательностей. На каждой остановке очередная пестрая толпа спешила войти, вытесняя тех, кто уже накатался и желает вблизи рассмотреть Оперу Гарнье, Триумфальную арку или собор Парижской Богоматери. Марине из автобуса выходить не хотелось, сверху город казался гораздо приветливее и доступнее. Слушая рассказ виртуального экскурсовода на русском языке, она думала о том, что тот, кто придумал Open tour, наверное, несказанно разбогател. Ведь как удобно — выходи на любой остановке, гуляй, сколько вздумается, а потом садись в первый подошедший зелененький автобус и езжай себе дальше. Четыре маршрута и все по одному билету, да еще и комментарии на десяти языках! Тогда, в самый первый раз, когда они с классом приехали в Париж, открытых автобусов еще не существовало. Их десятый «Б», награжденный за победу в областном комсомольском соревновании экскурсий во Францию, провезли по столице в закрытом «Икарусе»

галопом по европам. За очень короткий срок нужно было успеть посмотреть замки Луары, посетить Метц, Реймс, Орлеан и почему-то Блюа. При таком напряженном графике на Париж отводился всего один день.

Они тогда проехали через всю Европу, но на усталость никто не жаловался. Все были безгранично счастливы, дружно пели и постоянно хохотали с короткими перерывами на сон и рассказы экскурсовода. Ночами Марина спала на коленях у Олега, уютно свернувшись калачиком на сиденье, поджав под себя отеки ноги. Он гладил ее по волосам, убаюкивая, медленно, едва касаясь, проводил горячими пальцами по лбу, переносице, губам, скользя по подбородку, шее... Марина перехватывала его руку, улыбаясь во сне, шутливо чмокала в ладонь и подкладывала ладонь под щеку, лишая возможности продолжать, превращая осторожные ласки в невинную игру. Эти игры так никогда ничем и не закончились, хотя, если подумать, им ведь тогда было уже семнадцать... Сереже сейчас восемнадцать, и девочки у него появились давно. Марина к увлечениям сына относилась спокойно, с пониманием, без лишнего ханжества. Должен ведь мальчик набираться мужского опыта. Подсказать ему некому, без отца вырос... Почему же в те годы все было иначе? До девятнадцати с половиной лет Марина искренне верила, что первый раз все должно случиться только в брачную ночь с законным и любимым мужем. Олег был любим, но незаконен. Сейчас та девичья целомудренность казалась смешной и наивной. Какая же она была дурочка!

«...Для покраски башни высотой триста двадцать четыре метра необходимо шестьдесят тон краски ежегодно, — сообщил голос в наушниках. — Выйдя на этой остановке, вы сможете подняться на обзорные площадки первого и второго этажей на скоростных лифтах, а также посетить ресторан...» Заиграл аккорде-

он... Как тогда, много лет назад... Их выпустили на полчаса из автобуса посмотреть «железную даму» из-под юбки...

«Мы направляемся к Музею армии, который находится в Доме инвалидов, построенном по приказу Людовика Четырнадцатого...» — преврал музыку все тот же приветливый виртуальный голос. Марина вдруг вскочила, резко выдернув наушники, схватила в охапку сумку, скатилась с верхней площадки автобуса и пулей вылетела на улицу.

Веселая карусель пиликала какую-то механическую песенку, негры раскладывали на цветных платках сувенирные Эйфелевы башни размером от одного сантиметра до полутора метров. Ничего не изменилось, будто и не было этих долгих, бесконечно долгих лет... Марина шла мимо длинных очередей, неповоротливыми змеями вьющихся у подножья ажурной красавицы, и улыбалась. Над ее головой уходила далеко ввысь ошеломляющая громада башни. Желаящие взлететь к небесам изнывали на жаре, обмахиваясь детскими веерами и жадно кусая мороженое. Марина тоже купила мороженое на палочке и сдобную булку в придачу. Мороженое тут же съела, а булку понесла рыбам. Интересно, живы ли еще рыбы? На зеленой лужайке у небольшого пруда в тенистой прохладе прямо на траве расположились влюбленные пары. Они ворковали на всех языках мира и целовались. «И здесь целуются, — подумала Марина. — Париж — город любви». Она подошла к пруду и принялась крошить булку огромным карпам, лениво передвигающимся в мутной воде. Тогда Олег тоже купил ей мороженое, это была несказанная роскошь! А потом они кормили вот этих самых карпов остатками сухого хлеба, найденного в карманах, и так же целовались... Марина невольно загляделась на хрупкую рыженькую девушку, что-то шепчущую на ухо своему кавалеру. Сидя на тра-

ве и прислонившись спиной к шершавому стволу огромного дерева, молодой человек улыбался, блаженно прищурился наполненные счастьем глаза, словно боялся расплескать свое счастье, лишиться хоть единой его капли. Они были пара. Не просто — он и она, а именно — пара. Они настолько слились переплетенными пальцами, руками, душами, настолько были поглощены друг другом, что Марине вдруг показалось — все вокруг принадлежит этим двоим. Плавающие в пруду жирные рыбины, стальная дылда Эйфелева башня, весь Париж с его дворцами и парками, соборами и площадями, строгими мраморными колоннами и коваными кружевными решетками балконов. Да что там говорить, им принадлежит мир!

Девушка вдруг обернулась, искала кого-то глазами, увидела Марину, приветливо помахала, будто старой знакомой. И тогда Марина тоже ее узнала: беспечная озорная Молодость улыбалась знакомыми щечками-ямочками...

Вдоволь наладившись Парижем и одиночеством, Марина загрустила и, оставив сыну право жить свою жизнь, вернулась в северную французскую деревню к тихим улочкам, каменным мостовым и недавно отреставрированному храму XIII века. Здесь они с Клодом поселились сразу после свадьбы в старом, но крепком доме с широкими каменными стенами. Здесь родился Сережа. Здесь она жила и работала все последние годы, растя сына и заботясь об уютном плющом доме, великодушно оставленном ей Клодом после развода. Клод был успешным бизнесменом и домовитым хозяином, но за недолгие четыре года, прожитые вместе, так и не стал родным...

На центральной площади привычно шумел разноголосый рынок. Арабы торговали кудрявыми кочанами зеленых и бордовых салатов, блестящими восковыми яблоками

всех цветов и отмытыми добела клубнями картофеля. Пахло свежим хлебом и сырами трехсот шестидесяти пяти сортов.

Марина набрала полные сумки, еле дотащила до дома.

Покрошив корявый душистый помидор в скрипучий зеленый салат и густо присыпав сверху укропом, она водрузила на хрустящий багет толстый ломоть камамбера и — гулять так гулять! — налила себе стакан прохладного розового вина. Поставив на плетеный поднос свои нехитрые деревенские яства, отправилась в кабинет, привычно устроившись в любимом крутящемся кресле у рабочего стола, включила компьютер.

Один за другим открыла почтовые ящики. Пусто. Только в «Одноклассниках» в графе «Сообщения» стояла цифра восемь. Удивленно вскинув брови, она кликнула мышкой.

«Маринка! Неужели это ты!.. — С фотографии улыбалось до боли знакомое лицо... мамы Светки Поповой. — Сто лет тебя не слышала! На двадцатилетии выпуска у всех о тебе спрашивала, думала, может, Олег хоть что-то знает. Но он вообще не в курсе. Не верится, что вы не общаетесь! Кто бы мог подумать... Наши на встречу почти все собрались. Валюшка Сомова с Иринкой Пухловой нам о тебе и рассказали. Олег просил привет передавать...»

Марина хлебнула вина, поперхнулась, закашлялась.

Женщина с лицом мамы Светки Поповой — Светка Попова — успела оставить за эти дни семь сообщений и кучу семейных фотографий.

Восьмое сообщение было от Олега. Марина не ожидала. В первый момент растерялась, разволновалась. Сидела, глупо улыбаясь, уставившись на экран немигающими глазами. С фотографии на нее смотрел спокойный, уверенный в себе мужчина в темном костюме, с галстуком. Все та же харизматичная, до боли знакомая улыбка... Короткое письмо: «Ты ли? Сколько лет... Сколь-



ко воды... Рад. Очень. Несколько слов о себе?»

Марина ответила.

Он попросил ее электронный адрес.

Отправила.

Еще через день пришло новое довольно длинное сообщение, в прикрепленном файле — фотография дочери. Темноволосая большеглазая девушка была необыкновенно похожа на отца.

Марина тоже отправила небольшую подборку: они с Сережей дома, в Таиланде, в Италии. В Таиланде еще был Клод. Она выбрала фотографии без него. А в Италии его уже не было... На всех снимках Сережа еще подросток, даже без привычной солидной, как ему кажется, поросли на щеках. Оба — мать и сын — смеющиеся, счастливые... Н-да... Счастливые...

«Не меняешься, — написал Олег в ответ. — По-прежнему хороша».

Марина, прочитав сообщение, зарделась, сдержанно поблагодарила. Олег на эмоции был щедр, открыто радовался их виртуальной встрече. Сообщения теперь приходили часто, он был словоохотлив, как когда-то в далекой юности. Писал о работе, о жизни в столице, рассказывал, как анекдоты, веселые истории из будней простого российского хирурга. Оказывается, он давно перевез в Москву родителей. Теперь вся семья была в сборе.

Марина раскопала старые школьные фотографии, бережно пересняла на цифровик и, подкорректировав в фотошопе, отправила ему. Он смешно и остроумно их комментировал, вытаскивая из памяти то, что, казалось, навсегда было оставлено в детстве. Вот они на лестнице возле школы всем классом в четко выстроенной фотографом пирамиде. Третий «Б». Олег стоит за спиной Марины на ступеньку выше. У нее белые банты и очаровательные рожки между ними. Как же без этого! Вот классная Оксана Михай-

ловна; Марина с Олегом за одной партией — это шестой. Выпускной в восьмом... Тогда, после строго регламентированного школьного вечера, окончившегося уже в одиннадцать — детское время! — все ринулись в гости к Светке Поповой. Родителей, разумеется, дома не было. В душной темноте Светкиной квартиры Олег обнимал Марину в медленном танце, прижимая все настойчивее и плотнее... Именно тогда она впервые почувствовала силу недетского мужского желания. Это был крах. Позор. Брезгливое отращивание. Боже мой! Она вызывает только гнусные, низменные чувства! А она-то думала... Чистое и вечное... Как он мог?

Они не разговаривали три летних месяца. Марина уехала на каникулы, на его письма упрямо не отвечала. В сентябре пересела за другую парту. Учителя удивлялись — какая кошка между ними пробежала? Столько лет не разлей вода, и на тебе — ссора. Их пытались мирить и его друзья, и ее подруги. Марина о примирении и слышать не хотела.

Однажды, уже в ноябре, Олег не пришел в школу. Без предупреждения. День, два, неделю. Учителя забеспокоились, позвонили родителям. Телефон не отвечал, о чем классная руководительница сообщила классу, удивленно пожимая плечами: куда пропали? Марине стало не по себе. Едва дождавшись конца уроков, она опрометью помчалась на проспект Октября, взлетела на пятый этаж, изо всех сил вдавила горошину звонка. Дверь никто не открыл. Марина трезвонила битый час. Наконец из соседней квартиры показалась заспанная физиономия тети Тани.

— Уехали они, — сообщила всезнающая соседка.

— Что, все сразу? — удивилась Марина.

— Все разом, — подтвердила тетя Таня.

— Куда? Почему уехали? — не унималась Марина.

— Да в Москву уехали, еще до ноябрьских, старшего сына проводить. Он ведь у них там на дипломата учится, — принялась делиться информацией соседка, будто Марина, столько лет дружившая с Олегом и ставшая почти полноправным членом семьи, могла этого не знать. — Как пришел с войны, так сразу и поступил по спецнабору. Туда без связей-то вообще не пробиться, и деньги никакие не помогут! А к ветеранам отношение особое. Славочка у них мальчик умный, серьезный. Не то что твой шалопай...

Слава был старшим сыном в семье, после возвращения из Афганистана успел жениться на молоденькой Сонечке, а пять месяцев назад у них родилась дочка Олечка. Марина с Олегом на сэкономленные на школьных завтраках деньги накопили целую коллекцию веселых пластмассовых пупсов и упаковали в огромную картонную коробку, предварительно обернув многочисленными слоями газет. Подарок выглядел внушительно. Потом вместе с Соней и Славой они долго раскапывали крошечных пупсов в объемном пустом ворохе газет и весело смеялись, тыча пальцами в перемазанные типографской краской плохого качества физиономии друг друга. Олечка плакала, Марине разрешили покачать малышку. Она качала и пела колыбельную, которую когда-то пела ей бабушка. Девочка не успокаивалась. Тогда Олег бережно отнял у нее розовый кулек в рюшечках и кружавчиках, затанцевал с ним по комнате. Олечка сразу притихла, засопела, зачмокала. Сонечка и Слава, обнявшись, смотрели и улыбались.

— Вот кому-то муж достанется, — прошептала Сонечка. — Мечта, а не мужчина! И деткам будет хороший отец.

— А я что — плохой? — шутливо возмутился Слава.

— Ты — лучший! — Сонечка чмокнула мужа в нос.

Это было так давно, еще до их ссоры...

Осенью Слава поступил в МГИМО и уехал в Москву, оставив Сонечку и Оленьку на временное попечение родителей. Сонечка сильно тосковала, но забрать кормящую маму и грудного младенца в студенческое общежитие было невыносимо. Скоро Слава обустроится на новом месте, найдет вечернюю работу, снимет квартиру и тогда...

— ...Славочка-то когда выучится, точно в Москве жить останется, — продолжала монолог тетя Таня, вытирая и без того сухие шелушащиеся руки о кухонный передник. — Оттуда не возвращаются!

Марина слушала ее и не слышала. Что могло случиться, чтобы дядя Володя — отец Олега, главный хирург областной больницы, — оставил клинику и уехал, забрав Олега из школы во время учебного года, а тетю Алю с работы? Праздники-то уже кончились. Марина недоумевала.

Вечером того же дня, стараясь не привлекать внимания соседки, Марина прокралась на пятый этаж и, открыв дверь своим ключом, вошла в квартиру.

Ключ тетя Аля оставила ей давно. Если семья уезжала в отпуск или просто на выходные, Марина поливала цветы, забирала из ящика почту.

Звенящая тишина неприветливо встретила у порога. В квартире никого не было. Марина прошла в гостиную. Ничего, что могло бы объяснить срочный отъезд хозяев, она не обнаружила. Все на привычных местах: крепкий стол, за которым собиралась вся семья на воскресные обеды. Такова была традиция: на неделе у всех свои дела, сыновья обедают в школе, родители на работе. Но в воскресенье — будьте добры! Тетя Аля непременно готовила что-нибудь вкусненькое, экзотическое — бешбармак, плов, манты или русские пироги и расстегаи. На десерт — неизменный «Наполеон». Марина до сих пор помнит вкус пропитанных изумительным масляным кремом

рассыпчатых слоеных коржей. На эти обеды собиралось солидное общество «серьезных дяденек», как называли их между собой Марина и Олег, с женами и домочадцами. Умные разговоры, не всегда понятный Марине юмор, политические анекдоты, рассказанные приглушенным шепотом...

Марина еще раз огляделась по сторонам. Огромный диван, называемый в семье «канapé», тяжелые кресла. Над антикварным комодом красного дерева — старинное зеркало в широкой позолоченной раме — гордость тети Али. «Это Володино наследство», — бывало, говорила она, ласково глядя на мужа. Все было на месте.

Войдя в комнату Олега, Марина вдохнула его запах, поняла, как сильно соскучилась. На письменном столе стояла ее фотография. Рядом еще одна — они вместе. Над столом, там, где раньше пестрели многочисленные вырезки из журналов с изображением «Битлов», «Роллинг Стоунз» и других подростковых кумиров, сейчас висели только ее — Маринины — фотографии. Она танцует на выпускном, читает стихи со сцены, смеется, показывает кому-то язык... Лукавая, сердитая, задумчивая. Вот они вдвоем купаются в озере. Она тогда не хотела фотографироваться в купальнике, стеснялась. А этих фотографий она никогда не видела и даже не представляла, когда он успел их сделать. Она на физкультуре прыгает через козла, а здесь гладит всеми любимого дворового пса по кличке Джерри. Джерри недавно сбита машина. Марина безузешно плакала, никого не стесняясь.

Горячая слеза катилась по щеке. Марина всхлинула и, не удержавшись, громко разрыдалась. Ее никто не слышал и никто не утешал.

Наплакавшись вдоволь, она прилегла на знакомый скрипучий диван и не заметила, как уснула.

Ее разбудили посторонние звуки. Спросонья Марина не сразу со-

образила, что происходит. Олег сидел на полу возле дивана, спрятав лицо в ладонях. Скрипнула дверь, Марина испуганно вскинула голову. На пороге стояла тетя Аля. Марина вскочила, расправляя помятое платье. Олег застонал, но остался сидеть.

— Что случилось? — глухо спросила Марина, чувствуя, как волна бесконтрольного страха перед чем-то необратимым, еще неизвестным накатывает, парализуя, лишая сил.

Тетя Аля молча протянула к ней руки, приглашая девочку в объятия. Марина кинулась к ней, прижалась, не рискуя больше задавать вопросов, оттягивая страшную минуту. О том, что в семье случилась беда, она уже догадалась. Тетя Аля все молчала и только гладила ее рыжую, растрепанную со сна шеvelюру. Подошел дядя Володя, обнял за плечи обеих, повел в гостиную. Зеркало над комодом было накрыто черным платком. Марина вздрогнула, остановилась, замерла, не в силах оторвать взгляда от скорбного полотнища, все еще надеясь, что к семье Олега этот жуткий кусок ткани имеет лишь отдаленное, косвенное отношение... Дальний, очень-очень дальний родственник, старая-престарая прабабушка, коллега... Только пусть кто-нибудь чужой, кого тоже, конечно жаль, но все же... Со стола из черной рамки, перечеркнутой прощальной траурной лентой, на Марину грустно и виновато смотрел Слава.

Слезы потекли по щекам, Марина их не утирала. Перед глазами возникло усталое и счастливое лицо Сонечки и улыбающееся беззубым ртом лицо маленькой Оленьки.

Сзади что-то стукнуло. Марина обернулась. В проходе стоял бледный, словно вышедший из ада, Олег, опираясь на костыли. Правая нога до колена была в гипсе, многодневный лилово-желтый синяк безобразно расплзался на пол-лица. Один глаз заплыл, второй, здоровый, не выражал абсолютно ничего, словно в нем застыла вечная глухая пустота...



Суд над убийцами Славы длился нескончаемо долго.

Смерть была нелепой, глупой, чудовищной...

Обычная встреча друзей-однопольчан — бывших афганцев — в обычном московском кафе. Тельняшки и береты — память о нелегких днях. Никого не трогали, сурово пили, поминая друзей. Олег — подросший младший брат, будущая смена — был на встрече вместе со Славой. Он с родителями приехал в Москву накануне праздников, решив сделать Славе сюрприз и провести ноябрьские вместе. Олег сидел рядом с братом, стараясь не мешать, молча слушая невеселые разговоры ребят. В какой-то момент вышел из прокуренного зала подышать воздухом. Тут-то в темноте закрытого от людских глаз внутреннего двора его и встретила компания тех, кому не по душе пришлось встреча друзей-афганцев. Слишком вызывающе блестяли медали «За отвагу» на их гимнастерках, слишком дерзко и независимо смотрели на мир их глаза. Было в этих глазах некое знание, недоступное тем, кто там не был. Зловещие отблески смерти устрашающе вспыхивали в этих глазах, не пугая, оставляя непроницаемыми и равнодушными закаленные войной души.

— Эй, ребята! Чего на мальчика накинлись? — Голос Славы ровный, слегка насмешливый, примирительный. — Где это видано — на слабого руку подни...

Он не договорил. Лезвие вошло в область желудка, пропорвав человеческую плоть на двадцать сантиметров...

Олег едва помнил, как тащил истекающего кровью брата к дороге, как пытался поймать машину. Останавливаться никто не хотел, мгновенно оценив ситуацию: окровавленный пацан, бешено кидающийся под колеса, и тело, безжизненной массой темнеющее на обочине. Олег выскочил на середину дороги, преграждая путь, белая девятка трусливо

притормозила. Олег распахнул переднюю дверь, вызывая о помощи. Перепуганный шофер что-то закричал и до отказа вдавил педаль. Обезумевший Олег мертвой хваткой вцепился в открытую дверцу, волосами по асфальту за быстро набирающей скоростью машиной. Осознав, что пацан рук не отпустит, водитель испуганно затормозил, сдал назад. Олег так и висел на дверце. Разодранные джинсы болтались кровавыми ошметками.

На помощь уже спешили ребята-афганцы, только сейчас обнаружившие слишком долгое отсутствие братьев. Но было поздно. Славу до больницы не довезли, он умер на руках брата на заднем сиденье белой девятки.

Приговор суда показался ужасающе мягким. Тот, у кого в руках был нож, получил четыре года по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности при смягчающих обстоятельствах. Его сообщники остались безнаказанными. В защиту Славы выступал единственный свидетель — несовершеннолетний Олег. Свидетелей со стороны обвиняемых оказалось много, все они были взрослыми матерыми мужиками, очевидно, с деньгами и связями. Силы были неравны. Тетя Аля уже не плакала — слез больше не осталось.

Олег неделю пролежал в одной из московских клиник и еще месяц ходил на костылях. Марина была рядом...

* * *

Последние два года учебы пролетели как-то незаметно. После уроков Марина и Олег шли к Сонечке. Она теперь жила в отдельной однокомнатной квартире — друзья Славы выбили у городского начальства жилплощадь для вдовы командира. Безжизненная Сонечка, словно четко отлаженный механизм, выполняла привычные материнские обязанности: кормила-поила ребенка, укладывала спать, мыла, стирала,

убирала в доме. Олег и Марина забирали малышку на прогулку, чтобы измотанная Сонечка могла хоть немного поспать. Они поочередно катили коляску с Олечкой по городскому парку, ловя на себе удивленные и осуждающие взгляды благовоспитанных бабулек: «Подумать только, такие молодые — и уже!» Девочка росла умницей, послушной и тихой.

По окончании школы, даже не пытаясь никуда поступать, Олег ушел в армию. В Афганистан. По собственному желанию.

Марина ждала, писала жизнеутверждающие письма, полные юмора и тепла, а по ночам плакала в девичью подушку. Сидя на лекциях в своем пединституте, штудировав спряжение французских глаголов, она часто думала об Олеге, вспоминая детство, какие-то совершенно несущественные мелочи и происшествия. Ту злополучную записку, переброшенную ей во время контрольной по математике, за которую ему вклеили двойку. Это было во время их единственной бесконечно долгой ссоры... Маленького татарчонка Сашку Асанова со злыми, вечно прищуренными глазками, которого Олег побил во втором классе за то, что тот от великой и безответной любви к Марине насыпал ей полный портфель снега. Тетрадки были безвозвратно испорчены, и ей пришлось целые выходные их восстанавливать. Олег сосредоточенно диктовал, сидя рядом, ни на минуту не оставляя Марину в беде. Господи, разве же то была беда...

Она часто мечтала о том, как все будет, когда он вернется из армии...

Письма от Олега приходили довольно редко — Марина писала гораздо чаще, — но регулярно. «Он ведь не на прогулке! — утешала себя Марина, оправдывая друга. — Не дописем ему...» Вскоре она почувствовала, что в письмах что-то неуловимо изменилось, что-то стало не так. Другие интонации, иная наполненность, чувственная гамма. Марина

поняла это совершенно отчетливо, доверяя своей интуиции. «Ничего, вернется — разберемся. Только бы вернулся!»

Она по-прежнему писала и ждала, ждала и писала...

О том, что Олег вернулся, она узнала случайно, от подруги. Он не мог заранее назвать точную дату возвращения, и последние две недели она ждала каждый день, каждую минуту, срываясь на каждый телефонный звонок, часами просиживая у окна. Глупо, конечно. Ведь он вернется к ней, позвонит ей первой, она не сомневалась.

Сейчас она бежала на проспект Октября взволнованная и счастливая.

— У Сонечки он, — только и успела сказать тетя Аля. — Марина!

Но она уже не слышала, летела вниз по ступеням со всех ног.

Вбежала в квартиру Сонечки и повисла у него на шее, не зная, плакать или смеяться. Он, смутившись, чмокнул ее в щеку по-дружески, незаметно отстраняя сильными загорелыми руками. Он очень окреп и возмужал, стал еще больше похож на Славу. Славе тогда было столько, сколько сейчас Олегу... Все еще охваченная радостными чувствами, Марина чмокала его куда придется, попадая в нос, ухо, плечо, губы. Он оставался непривычно суров, она вдруг уловила сильный запах спиртного. Сонечка, подперев плечом косяк, стояла в прихожей, безмолвно наблюдая за их встречей. Рядом прижималась к матери серьезная подросток Олечка, как две капли воды похожая на... дядю Олега...

Потом долго сидели на кухне, пили чай с вареньем. Олег молчал, согнувшись над остывшей чашкой, беспрестанно мешая давно растворившийся сахар. На вопросы Марины отвечал односложно, неохотно, с трудом. Встал, не проронив ни слова, ушел в комнату, включил телевизор.

— Уже неделю пьет, — тяжело вздохнула Сонечка.

— Как неделю? — не поверила Марина. — Он что, вернулся неделю назад? — Она ничего не понимала. — Почему пьет? Зачем?

— Зачем все пьют? — неожиданно огрызнулась Сонечка и добавила уже мягче: — И кричит по ночам...

Марина вдруг почувствовала, как непреодолимая тоска безжалостной рукой сдавливает горло, обволакивает, наполняет каждую клеточку тела, души предчувствием долгого мучительного одиночества. Боль невозвратимой потери, утраты чего-то близкого и родного, совершенно необходимого, без чего в жизни никак не обойтись, без чего человеку смерть, была пронзительна и невыносима, она ощущала ее почти физически.

Стараясь не выдать своего состояния, наскоро простившись, Марина вышла в прихожую. Проходя мимо комнаты, заглянула. Телевизор орал. Олег, отвернувшись к стене, спал, сгорбившись, как старик, дряхлый, уставший от жизни.

Через два месяца Олег и Сонечка поженились, а вскоре он усыновил четырехлетнюю Олечку.

Марина жила как во сне, с постоянным ощущением нереальности происходящего. Иногда казалось, что скоро эта бесчеловечная пытка кончится, все встанет на свои места. В такие минуты черно-белый скучный мир снова окрашивался во все цвета радуги, приобретая смысл, наполняясь определенным содержанием. Но наваждение быстро проходило, и мир вокруг снова становился пустым и пресным. Она упорно зубрила набившие оскомину французские глаголы, механически, словно робот, тупо и методично учила и учила новые слова, пополняя словарный запас. После той поездки во Францию Марина буквально влюбилась в этот язык, упиваясь музыкальностью звучания, мечтая когда-нибудь заговорить свободно, как настоящая француженка. Поэтому и учиться пошла в пединститут на лингвистику. Язык давался на

удивление легко, Марина оказалась способной ученицей, быстро схватывала, могла похвастаться отличным произношением. В постановках студенческого театра она играла героиню Мольера на языке оригинала.

На последнем курсе в институт по обмену опытом приехал молодежный любительский театр из маленькой французской деревни. Они привезли «Горе от ума», разумеется, на русском языке.

Было ужасно потешно слушать картавых Фамусова и Скалозуба, но особенно Чацкого, вдохновенно декламирующего со сцены: «С кем бил! Куда меня закинула судьба! Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа...»

Слово «оскорбленному» так и не удалось трогательному и старательному Чацкому, который пытался произнести его трижды, но тщетно. Русские студенты энергично хлопали, прекрасно понимая, что на французской сцене перед французским зрителем они вряд ли выглядели бы лучше. После спектакля с разрешения администрации института под контролем преподавателей пили чай и бурно общались по-русски и по-французски, спеша обменяться телефонами и адресами. После дискотеки под прикрытием темноты и позднего времени девчонкам удалось протасовать в общежитие двоих французских парней. В интригующей тесноте студенческой комнатухи, где Марина жила с тремя сокурсницами, при завораживающем тусклом свете парафиновой свечи пели всю ночь, сидя на железных кроватях, плотно прижимаясь друг к другу. Пили дешевое вино из разнокалиберных стаканов, закусывая волшебными, тающими во рту крошечными вафельками, принесенными одним из французских гостей по имени Клод. Этот двадцатипятилетний актер, игравший Чацкого, на самом деле оказался начинающим бизнесменом, театр был его хобби. Он рассеянно слушал переборы гитары, внимательно наблюдая за



Мариной из-под очков. Она в темноте чувствовала его взгляд, смущалась, ерзала на продавленной панцирной сетке кровати. Взяв гитару в руки, Клод запел «Natalie» — популярную во Франции песню Жильбера Беко о русской девушке-гиде, которая водила по заснеженной Москве французского гостя, а потом в тесной комнате университетского общежития они вот так же пели и танцевали с друзьями. Наши девушки-студентки всегда любили эту песню.

Et quand la chambre fut vide
Tous les amis étaient partis
Je suis resté seul avec mon guide
Nathalie...¹ —

пел Клод, неотрывно глядя в глаза Марины...

Он написал ей сразу по возвращении в родную деревню.

Завязалась долгая переписка, результатом которой стала скромная и нешумная интернациональная свадьба. Марине терять было нечего — Олег, следуя древнему русскому обычаю, был женат на вдове брата во имя воспитания осиротевших детей. Его никто об этом не просил, не обязывал, да и не мог обязать...

Сидя сейчас перед компьютером и в который раз перебирая старые оцифрованные фотографии, Марина снова и снова уносилась на волнах памяти в ту беззаботную счастливую жизнь, где царствовала любовь... Ей — Марине — в той жизни вдруг не оказалось места...

«Приезжай, — писал Олег в последнем письме. — Бери отпуск и приезжай. Мама с папой будут ужасно рады!»

Мама с папой? А он? Сам-то он будет рад?

«А ты?» — набравшись смелости, спросила Марина.

¹ А когда комната опустела
И все друзья ушли,
Я остался наедине со своим гидом,
С Натали...

«Разумеется!» — был ответ. Вот так, с восклицательным знаком.

«А Сонечка?» — не выдержала она.

Сообщений не было два дня. Похоже, Марина переступила запретную черту...

Но все-таки он ответил: «Вот уже пять лет, — писал Олег, — Сонечка живет в одном из подмосковных монастырей. Видимо, ей так легче. Сначала была послушницей... Тогда у нас еще оставалась надежда на возвращение... Недавно она приняла монашеский постриг. Оттуда не возвращаются!»

Марина оцепенела, с трудом осознавая прочитанное.

Она вдруг всем сердцем почувствовала его боль, его одиночество, мгновенно простив ему свои обиды, свою исковерканную жизнь, неудачное замужество назло ему — лишь бы не казаться жертвой! Она жалела его, недоумевая и сострадая.

«Ему плохо, — думала она. — Ему сейчас так же плохо, как мне тогда...»

«Не отчаивайся! — написала Марина. — Время лечит.»

«Нет, что ты! Я не один, рядом, на этой земле, есть те, кто мне по-настоящему дорог... Я уже переболел и даже вылечился. В конце концов, она же не умерла. Не сужу, это ее выбор. Оле было сложнее... Но она умница, взрослая и сильная. Замуж вот собралась. Приезжай, приглашаем! Оля тебя помнит, я рассказал, что нашел тебя. Мы все будем очень рады.»

Она в сотый раз перечитывала это письмо. «Я не один, рядом, на этой земле...», на планете... Огромная и такая маленькая — планета Земля. Но что такое расстояние, если два человека нашли друг друга? Какая разница — Россия, Франция? Главное — они есть на этой земле. Они видят одни звезды, одно солнце, одну луну. Они дышат одним воздухом, наконец! Что такое время? Они и так потеряли двадцать нескончаемых лет. «Те, кто мне по-настоящему дорог...»

«По-настоящему...» Со временем он понял, что в мире существует

настоящее, истинное родство душ. Но бывает родство иллюзорное, кажущееся. Их дружба, их отношения всегда были настоящими, в этом Марина была уверена. «Я переболел и... вылечился» — значит, готов к новой жизни. Без боли и страданий, без слез и потерь. Готов к новым отношениям. «Приезжай, приглашаем!» Мы с Олей приглашаем тебя. Снова восклицательный знак. «Мы все будем рады» — мама, папа, Оля и он — Олег. И еще про Олю так хорошо написал: «Тебя помнит...», значит — готова принять...

Продолжая задумчиво листать электронные страницы, она вглядывалась в забытые лица и блаженно улыбалась. С каждой фотографии ей озорно подмигивала рыжеволосая хохотушка Молодость.

«Что ж, попробую поискать тебя там! — наконец решила Марина и подмигнула рыжеволосой. — Еду!»

* * *

Домодедово встречало огромным пространством международных залов, залитых ослепительно ярким светом. Стекланные стены высотой в несколько этажей, лениво ползающие эскалаторы, кафе, рестораны с кондиционерами и телевизионными экранами.

Аэроэкспресс домчал до Павелецкого, а там — такси до отеля. Ее никто не встречал. Она ехала «сюрпризом», не предупредив.

Блестящий холл гостиницы, зеркала, цветы, ковры. Европейский лоск и российская роскошь напоказ. Приветливо равнодушный администратор, вышколенно улыбающийся менеджер, услужливый швейцар, неумовимым жестом вора-карманника презрительно прячущий чаевые.

В освежающей прохладе гостиничного номера Марина долго стояла под душем, приходя в себя после перелета. В самолете уснуть так и не удалось. Глядя в иллюминатор невидящими глазами, она снова и снова представляла их встречу и то улы-

балась, позволяя себе самые смелые фантазии, то хмурилась, не уверенная в себе. Какой он увидит ее? Ведь столько лет прошло, столько лет... Дети выросли. И она другая... Он помнит ее совсем девочкой, без морщин и лишних килограммов, веселую, бесшабашную. Она тогда была хохотушкой, а если вдруг ей становилось грустно, он немедленно спрашивал: «Где наши ямочки?» Он так трогательно любил эти ее веселые ямочки...

Укутавшись в толстый махровый халат, замотав мокрые волосы полотенцем, она забралась в огромное кресло и часа полтора щелкала кнопками телевизионного пульта, не вникая в суть происходящего на экране, просто наслаждаясь потоком русской речи. Набрать его номер не хватало мужества. Пытаясь унять внутреннюю дрожь, достала из мини-бара крохотную бутылочку белого вина, затем — красного, коньяк, виски — по возрастающей, не желая признаваться себе, что просто боится этой встречи. Дождалась, когда стрелки часов покажут десять, облегченно выдохнула: поздно! Сегодня звонить уже поздно. Завтра, все завтра...

У ее ног на пушистом ковре, тихо и умиротворенно улыбаясь, уютно устроилась рыжеволосая красавица Молодость.

— Какой он увидит меня, ну скажи? — ни с того ни с сего набросилась на нее Марина, выбираясь из всепоглощающего кресла. — Хочу ему понравиться, слышишь?

Она сдернула с головы полотенце, бросила на пол, вплотную подошла к огромному зеркалу, остановилась, глядя в глаза старой знакомой — пухленькой блондинке, босиком стоящей посреди комнаты. Блондинка ей решительно не нравилась. Огромный, не по размеру халат, горящие щеки, растрепанные волосы, в глазах странный блеск. Не впечатляет.

Сзади бесшумно появилась Молодость, встала за спиной.

— Хочу быть как ты! — сказала ей Марина, упрямо поджав губы. — Он меня помнит такой! — Вскинув подбородок, посмотрела прямо и открыто, словно бросая вызов сопернице. В глазах мелькнула тень легкого безумства.

Молодость мягко улыбнулась, поманила Марину пальцем. Марина отправилась за ней в ванную комнату, вернулась с косметичкой в руках, решительно высыпала содержимое на маленький столик перед зеркалом. Молодость одобрительно кивнула.

Следующие полчаса послушное зеркало с выверенной небрежностью терпеливо создавало новый желанный образ, тщательно копируя каждое движение французской гостьи.

Очищающее молочко, тоник, увлажняющий крем-лифтинг с коллагеном, тональный крем. Молодость, стоя рядом, внимательно наблюдала за ходом магического превращения. Тушь, подводка, тени, совсем чуть-чуть... Рыжеволосая кокетка широко распахнула глаза, поморгала. Розовый блеск с ментолом, приятно охлаждающий губы... Привычным жестом выдернула заколку, распушила волосы, повернулась к зеркалу боком, втянула живот. Затем достала из шкафа чемодан, водрузила на кровать, чикнула молнией. Молодость нетерпеливо откинула крышку, слегка отодвинув Марину плечом. Крепдешинная блузка, новое белье, лодочки на шпильках. Плюшевый халат соскользнул к ногам. Молодость поспешно вытянула вперед ножку. Марина засмеялась, обтягивая изящную лодыжку невесомым черным капроном, расправила кружевную резинку чулка. Молодость полюбовалась, осталась довольна.

Когда Марина снова взглянула в зеркало, блондинки там уже не было. Перед ней, поправляя на шее тонкие бусы, стояла красавица Молодость.

— Все, — восторженно выдохнула Марина, чувствуя непривычную легкость во всем теле.

Молодость покачала головой, достала из недр чемодана новень-

кую нераспечатанную коробочку Mademoiselle Coco. Терпкая капля — вот теперь все.

— Что ж, осталось повторить этот трюк завтра, — сказала ей Марина, слушая, как неистово бьется сердце.

Молодость в ответ рассмеялась счастливыми ямочками на щеках.

Полупустое уютное кафе заворачивало волшебством велюрового полумрака. Таинственным призрачным светом мерцал огромный, во всю стену, аквариум. Там, за стеклом, сквозь толщу воды, словно в ином измерении, едва различимо угадывались очертания подводного царства, где в чудесном дворце жил морской царь крошечных размеров, а прислуживали ему экзотические рыбы, флегматично виляющие пестрыми фосфоресцирующими хвостами. Марина и Олег сидели за крошечным столиком на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Пучеглазые рыбы, проплывая мимо по своим рыбьим делам, равнодушно таранились на них прозрачными бесцветными глазами.

Стрелки часов бежали незаметно. Пространство покачнулось и сдвинулось, переместившись во времени, соединив двух человек в прошлом, в их общем далеком прошлом. Казалось, длинная вереница стремительно промелькнувших лет осталась незамеченной.

Они уже давно поужинали, погребя под остатками салатов смущение и неуверенность первых минут, и теперь сидели, расслабившись, неторопливо пили вино, болтали, шутили легко и непринужденно. Им всегда было легко вместе... Олег рассказывал обо всем на свете: о старых знакомых и бывших друзьях-приятелях, оставшихся в родном городе, о коллегах с их заботами, проблемами и хлопотами, о суетной прекрасной Москве, которой Марина не знала вовсе... Она слушала, чувствуя, как мягкие сети его обаяния затягивают все сильнее. Это ощущение было томительно и чудесно.



Деликатно обходили острые углы — вопросы личной жизни. А она ждала этих вопросов, ждала откровений. Он говорил много и возбужденно, но все не о том. Ей хотелось признаний и слез, чтобы выплакать, выплеснуть из сердца вселенскую эту тоску. И чтобы... пожалел...

— Давай, — Олег поднял бокал, глядя в ее глаза. — За тебя, Мариша.

Ей вдруг показалось, что она способна прочесть в этих глазах все, о чем он так старательно молчит, не решаясь произнести вслух...

— Я так рад тебя видеть.

Его голос обволакивал, манил, обещал. Она улыбнулась, зная, что он действительно рад, но не ответила, не в силах справиться с нарастающим волнением.

— Спасибо, что ты приехала. Я ждал тебя.

— И я, — почему-то шепотом, словно по секрету, сообщила Марина.

Рассмеялась.

— Мне многое нужно тебе сказать... — продолжал Олег.

«Так говори же, говори...» Она застыла в ожидании, не решаясь произнести ни слова, боясь нарушить хрупкую атмосферу рождающейся на свет тайны.

— Знаешь, я столько раз представлял себе нашу встречу, она была необходима...

«Знаю, родной, знаю...»

Он бережно накрыл своей крепкой теплой ладонью ее руку, давно одиноко лежавшую на столе в ожидании.

— Ты очень дорога мне, Мариша. Ты — мое первое настоящее чувство. — Он говорил медленно, не отводя глаз, словно гипнотизируя, взглядом умоляя не перебивать, позволить высказаться до конца. — Все получилось совсем не так, как хотелось. Но, поверь, я тогда не мог поступить иначе... Знаю, я должен был поговорить с тобой, объяснить. Наверное, я был слишком слаб. — Он слегка сдавил ее пальцы, словно прося понять и не су-

дить. — Я долго болел тобою... И все эти годы просил у тебя прощения. Во сне... И наяву. Я бредил, мечтаю о том дне, когда смогу сказать тебе с глаза на глаз: я виноват перед тобой, Мариша.

Он перевел дыхание, помолчал.

— Прости... Веришь, я даже к священнику ходил. На исповедь. Думал, после покаяния станет легче, чувство вины отпустит. Не отпустило. Священник выслушал, а потом сказал: «Что вдову братову с ребенком не бросил — это по-христиански. Ты молись, сынок. Господь тебя не оставит». Соня в тот день со мной в церкви была. Тогда-то и познакомилась с батюшкой. — Олег тяжело вздохнул. — Видишь, чем все закончилось... — Он невесело усмехнулся.

— Как она? — осторожно спросила Марина.

Он напрягся, сжался, будто приготовился к удару, нахмурился.

— Видимо, мне не все дано было понять, — задумчиво проговорил он. — Знаешь, мы ведь неплохо жили. Дружно. Оказалось, то была лишь иллюзия. Иллюзия семьи, покоя, радости. На самом деле Соня так и не смогла пережить своего вдовства, будучи мужней женой. Так и не смирилась с уходом Славы. Все искала ему замену, хотела видеть его во мне. Но я — не Слава, я не смог его заменить...

— Но ведь ты вырастил Олечку, для нее отец — ты.

— Да, — он кивнул, улыбнулся уголками губ. — Для нее я — папа. Она ведь родного отца совсем не знала...

Олег задумался, будто что-то припоминая.

— Оленька заговорила поздно, и, представляешь, ее первое слово было — «папа». Сонечка, конечно, радовалась, но то была радость сквозь слезы, я видел и чувствовал, как ей плохо. Я же сходил с ума от гордости и любви к этому ребенку.

— Ты всегда любил Олечку, я помню, — улыбнулась Марина.

— Очень. — Его глаза потеплели. — Но я виноват перед ней... — Он снова стал серьезен.

— В чем? — не поняла Марина.

Он снова помолчал. Было видно, как трудно ему говорить.

— Сначала я не уберег ее

отца. А потом и мать... Сонечка ушла сразу после ее совершеннолетия.

— Но ведь ты сам говорил — это ее выбор!

Олег поморщился словно от зубной боли.

— Я пропустил тот момент, когда она в душе отказалась от мирской жизни, от нас, живых. Просто не заметил... Знаешь, что она ответила, когда я, еще ничего не понимая и не осознавая, спросил «почему?»

Марина напряженно ждала.

— Она сказала: «К Славе поближе».

Олег отвел глаза в сторону и надолго замер, глядя на безучастно плавающих в аквариуме рыб.

Марина не знала, как реагировать, что говорить. Все, что она могла сделать для него, — это быть рядом. Просто быть рядом. Всегда...

— Но самое страшное, — тяжело вздохнул он, — мне всегда казалось и... кажется до сих пор, что она не простила мне гибели Славы, ведь все случилось из-за меня...

«Господи, — с ужасом думала Марина, — он всю жизнь живет с комплексом вины перед собственной женой, дочерью, погибшим братом, родителями... И передо мной... Как только сил хватило не умереть самому...»

Ей захотелось вскочить, броситься ему на шею, обнять, прижать крепко-крепко, оградить, утешить, сказать, что самое страшное уже позади, что теперь все будет хорошо, все наладится, обустроится...

— Мариша! — Его ровный голос вернул в мерцающий полумрак кафе. — О чем задумалась?

Она постаралась улыбнуться. Не получилось. Хотелось плакать.

Почувствовав ее состояние, Олег поднес к губам ее руку, осторожно поцеловал каждый пальчик в отдельности.

— Все будет хорошо, — подавив близкие слезы, пообещала Марина.

— Теперь — да! — легко согласился он.

— Жизнь не стоит на месте!

— Еще как не стоит! Нам теперь говорить некогда, нам новое поколение воспитывать предстоит.

У Марины потемнело в глазах, губы невольно растянулись в глупой беззащитной улыбке. Новое поколение? Он это серьезно? Вот так сразу? Но ведь у него действительно нет своих детей. Они еще достаточно молоды, они справятся вместе... Мысли вихрем пронеслись в голове. А вдруг...

— Оля ждет ребенка? — боясь положительного ответа, высказала неожиданную догадку Марина, всем сердцем желая ошибиться.

Олег хитро прищурился:

— Оля? Я не в курсе...

«Боже мой, если не Оля... Значит... Значит, я все правильно поняла? Господи, Господи...»

— Это так неожиданно, — едва слышно пробормотала она.

— Ничего! — Олег весело чмокнул ее в ладонь и отпустил руку на свободу.

Марина нервно скрестила на груди пальцы обеих рук, не обрадовавшись этой свободе.

— Нужно бы у врача проконсультроваться. Все-таки возраст...

— Возраст? — Олег засмеялся. — Да мы еще о-го-го! — Он поднял жгучий кулак, демонстрируя крепкий бицепс.

У Марины перехватило дыхание.

— Не переживай, Маришка, у нас все в порядке!

Она зарделась, смущенно опустила счастливые глаза, а когда снова подняла, увидела, как через зал грузной походкой к их столику направляется рыжеволосая девушка — ее прекрасная Молодость...

Приблизившись, она оперлась на плечо Олега, неуклюже наклонилась, придерживая большой круглый живот, поцеловала его в щеку.

— Привет! Вот вы где! — она приветливо улыбалась Марине хо-рошенькими веселыми ямочками. — Рада познакомиться, — с трудом перегибаясь через стол, протянула руку. — Ирина. Олег показывал мне ваши фотографии. Вы совсем не изменились!

Марина молча сжала ледяными пальцами ее мягкую ладошку, не в силах вымолвить ни слова.

Ирина, не замечая ее сильно побелевшего лица, уже весело щебетала, рассказывая Олегу что-то занимательное, казалось, вообще забывая о существовании Марины. Олег слушал, улыбаясь, ласково поглаживая животик. В какой-то момент он повернул к Марине сияющее лицо, будто желая разделить с ней свою радость, и вдруг испугался, в одно мгновение поняв все... Он смотрел растерянно и напряженно, не зная, как быть дальше. Ирина, увидев его испуг, замолчала, притихла.

— Мариша, стой, но ведь...

Повисла тяжелая пауза.

— Ведь я писал тебе, что не один...

«Я не один, — всплыла в памяти фраза из письма, — рядом, на этой земле, есть те, кто мне по-настоящему дорог...» Да, он всей ей сказал... «На этой земле...» Почему она решила, что речь идет о Франции? «На этой земле» — это значит здесь, среди живых... Погибший брат ему дорог, но его нет рядом, нет на этой земле. Но есть тот, кто тоже дорог по-настоящему...

— Мариша, я очень благодарен тебе, но...

«Я уже переболел и даже вылечился...» Она больше не слышала его, перебирая в памяти обрывки фраз. Вот оно — его лекарство по имени Ирина. «Мы будем тебе очень рады...» «Мы» — это он и она, Олег и Ирина. И их еще неродившееся «новое поколение». Он не обманывал, не морочил ей голову. Это ее истосковавшаяся душа бросилась навстречу доброму слову, додумала, дорисовала, домечтала...

Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Пробормотав что-то невнятное, Марина машинально сгребла в охапку сумочку, попыталась встать, потеряв равновесие, некрасиво плюхнулась обратно на стул, вцепившись в край стола побелевшими пальцами. Стул под ней тревожно качнулся. Олег немедленно вскочил, поддержал. Она, наконец, грузно поднялась, не ощущая под ногами привычной земной опоры, неуверенно покачиваясь, пересекла полутемный зал, затылком ощущая волну чужого взаимного единения, и стремительно кинулась вниз по лестнице. На последней ступеньке оступилась, неловко повернув ногу, и непременно покати-лась бы кубарем, если бы лестница не кончилась. Отлетевший каблук все же лишил последнего равновесия, она грохнулась на колено, успев-таки выставить вперед руки, едва удержалась, чтобы не растянуться во весь рост на блестящем кафельном полу. С размаху сильно ударились лбом о гладкую зеркальную стену. Из глаз непроизвольно брызнули слезы, и, размазывая их по щекам, цепляясь за скользкую холодную поверхность, Марина вдруг увидела перед собой немол-дую грузную женщину, стоящую на коленях в пустой ярко освещенной туалетной комнате. Пронзительный желтый свет резал глаза, обнажая безрадостные морщины. Тусклые волосы были растрепаны. Под глазами расплывались сумрачные круги безнадежности...

Марина тяжело поднялась, придерживаясь за холодную стену. На черном капроновом колене зияла безобразная круглая дыра. Тягучей уродливой паутиной в разные стороны стремительно и неумолимо расплзались безжалостные стрелки.



БУРИДАНОВ — ОСЕЛ

Нет, вы только подумайте! Вот так просто. Взял и завел себе... любовницу. Не котенка, не лягушку, а неведому... Придурок! На старости-то лет! Все бы ничего — с кем не бывает! — но этот... сентименталист, кажется, влюбился. Угрозидило беднягу! Жили с матерью спокойно ни много ни мало двадцать лет. С ума сойти, столько времени друг друга иметь... в поле зрения! Но ведь жили! И на тебе — сюрприз. Постеснялся бы, стремник!

Ему, конечно, хорошо — у него теперь и жена, и любовница. А с мамулей что будет, когда узнает? А мне каково? «Мышонок! Как ты там у меня?» — звонит. Типа интересуется судьбой любимой дочери. Сам, поди, от *этой своей*... звонит! Интересно, ее он тоже каким-нибудь мышонком-зайкой называет? Крысенком-замарашкой... И надо было мне в Москву поступать, чтобы он за мной сюда работать поперся и эту герлу свою нашел? Сидел бы в нашей дыре, может, на подвиги бы не потянуло. Маму там бросил. Работа у нее, видите ли, хорошая! Вот мы с тобой, дочь, здесь обустроимся, тогда... Нет, мне-то в столице неплохо, конечно. Вуз прикольный, диплом котируется. Английский опять же. В наше время без языка только дураки и пофигисты прозябают. А я путешествовать хочу и человеком себя чувствовать. Еще хорошо бы каждую копейку не считать. Быть гражданином мира. Сво-бод-ным! Ну ладно, со мной понятно. У меня — перспективы. И молодость. А у матери теперь что? Одинокая старость? Я, конечно, ее не брошу... Но лучше бы папашка не бросал. Не могу же я с ней всю жизнь нянчиться. А он...

Нет, получается — он еще кому-то нравится? Ему ведь за сорок! И хорошо за сорок. А все туда же. Хотя если со стороны взглянуть, нейтрально — ничего вроде мужик: ни лысины, ни перхоти. Даже пузо

еще не нарисовалось. Подтянутый. Даже накачанный. Слегка. Спасибо горным лыжам. Он ими всю жизнь болел и нас с мамой заразил. И ведь добился своего: инструктор высшей категории. Упрямый, как осел. Если что решил... Да и мы не отстали. Когда он нас на стажировки-курсы-тренинги таскал — думали, не выдержим. Но горы есть горы: сразу ясно, кто в этой жизни чего стоит. Лузерам места нет! А нам, оказалось, есть. Мы с мамой до категории «А» немного не дотянули, но тем не менее — инструкторы-профессионалы. Жалко, в России кататься негде. Но нам и в Альпах неплохо... Правда, попадаем туда нечасто. Вечная финансовая проблема. В стране? Нет, в семейке нашей. Перманентная такая проблемка. Чуть что — денег нет! Всю жизнь — один ответ: денег нет, денег нет, денег нет!!! Ча-ча-ча. Да-а, дела...

Интересно, а в Альпы он теперь тоже *эту свою*... таскать будет? Надо же ей продемонстрировать, на что ее возлюбленный способен. Не в Красногорской же «трубе» перед ней выделываться. А может, *эта его*... вообще на лыжах не стоит? Чайник. Вот бы классно было! Этот факт точно бы охладил жаркий пыл моего предка. Он без своих лыж жить не может! Так бы и не расставался. Жаль, спать в них неудобно. Нет, *эта его*... в Швейцарии живет. Слава богу, не в России! Здесь она наездами. А кто, скажите, в Швейцарии на лыжах не катается? Смешно. Ее муж-швейцарец наверняка давным-давно научил. Муж этот — хорош гусь! Слепой, что ли? Неужели не видит, что жена за спиной вытворяет? Или ему уже все равно, он ведь ее лет на двадцать старше! Правда, стариком его трудно назвать. Нормальный буржуй благородных кровей, издалека заметно. Ничего так, прикинутый. Пиджачок от Kenzo, брюки вельветовые, туфли... Все как

положено. Интересно, зачем она мужа с отцом знакомила? «Это мой давний друг Олег Буриданов и его дочь Яна. Яна учится в Высшей британской школе и прекрасно владеет языком! Isn't that so, Яночка?» А этот папик закордонный давай сразу мне комплименты отвешивать, ухаживать изо всех сил. Глаз блестит. Только слюнка не течет. Нет, ухаживать они, ясное дело, умеют. Где за локоток поддержать, где стульчик придвинуть-отодвинуть. Да и практика английского мне не помешает. Но его реально весь вечер от меня не оттащить было. Прикольно. А этой парочке того и надо. Воркуют, голуби, пока я с буржуином беседы беседую. Я как-то сразу почувствовала, что это не просто «мои швейцарские друзья». Откуда у отца друзья в Швейцарии? А когда увидела, как он на нее смотрит — светится весь, голос от волнения с хрипотцой — мне сразу все ясно стало. Это, значит, он меня специально для ее мужа с собой прихватил? Отвлекающий маневр? Пусть дочка общается, типа язык оттачивает. Сам-то по-английски три слова с горем пополам извергает из недр своей советской памяти. Что же наши родичи такие отсталые! Совки и есть совки! А я, значит, развлекай гостя. Посмотрите налево, посмотрите направо. Красная площадь, кирпичная стена, красные девицы кругом... Целый хоровод. Иностранцы любят русских девченок, да чтобы «покраснее», в плане — красивее... Как будет «хоровод» по-английски? Round dance? Нет, при чем здесь «денс»? Смысл меняется. И как только люди за границей живут? Трудно представить, что всю жизнь ты вынужден говорить не по-русски. Ладно бы только на работе, а то ведь и дома с собственным мужем. *Эту его*... ну, можно, конечно, понять. Мне ее чисто по-женски даже жалко. Но почему именно мой отец? Что, больше никто

не попался? В России русскоговорящих мужиков мало, выбрать не из кого? А тут наш дурачок со своей любовью. Да он же гол как сокол! Таким, как она, «кошельки» нужны... Хотя у нее муж — «кошелек». Значит, нежности захотелось. Да-а, дела, дела...

Она ничего так... Стильная. Увидела бы не рядом с отцом, сказала бы — классная! Есть в ней что-то... Харизма, что ли. Сексапильность дикая. Вызывающая. Но не вульгарная. Она мне вообще сразу понравилась... Но ведь и мать ничего себе, и одевается, и ухоженная. Чего отцу не хватает?

Эта егo... выглядит молодо, хотя понятно, что не девочка. Фигурка, глаза, губы... Хирурги, поди, постарались, попытели. Были бы у матери деньги, она тоже по-другому бы выглядела. Ни за что не выйду замуж за лоха! Чтобы сапоги за сто долларов всю жизнь носить? Спасибо. Хочу самые дорогие салоны Москвы, фитнес-центры и все такое прочее. Нормально жить хочу! Нормально-но.

В тот «вечер знакомств» я, конечно, просто в шоке была. Мало того, что про отца все поняла, так еще и меня вслепую использовали для развлечения папика-закордонника. Раз так, думаю, устрою я вам... роман с продолжением. Возьму и все матери расскажу. Только улики раздобуду. Утром в институт не поехала, типа заболела, дождалась, когда отец на работу уедет, и залезла в его почту. Он, наивный, на пароли надеется, думает, с физико-математическим супервысшим образованием в компах разбирается. Тоже мне компьютерный гений! Я давным-давно все пароли вскрыла методом исключения и элементарного логического мышления. Догадываюсь, конечно, что в чужих письмах копать, скажем так, не очень красиво, но цель оправдывает средства!

Похоже, он письма *этой егo...* удалил аккуратненько. Не совсем

ведь дурак. Одно-единственное сообщение откопала в «корзине». Странное какое-то, без обращения, без подписи. Только адрес не точка ru, а точка ch — Confédération Helvétique — гельветическая конфедерация — Швейцария!

За Джебран и Ким Ки-Дука отдельное спасибо и отдельный разговор. А по «лунному письму»... тоже разговор особый, с глазу на глаз!!! Посоветуйся слевой. Общее ощущение — желаю тебе, чтобы тебя ТАК любили... И всем желаю, чтобы хоть раз в жизни им удалось испытать ТАКУЮ любовь... Спасибо, Господи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хм, эмоционально, однако! Восклицательные знаки забором — это сильно! Дела, дела... Я это письмо раз сто перечитывала. Ну, с Джебраном понятно. Его «Пророка» только ленивый не читал. Модненько. Философия и мистика. Мне друг Маркуся его еще на прошлую днюху подарил. Ким Ки-Дука нашла в Инете. Режиссер корейский. Кучу фильмов снимал. Скачала «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Еле досмотрела. Тягомотина-а... Снято, конечно, красиво. И смысл глубокомысленный. Но никакой такой любви я там не обнаружила. Похоже, папуся этой своей книжки-кассеты дарит. Ну а что он еще-то может подарить? Не бриллианты же. Он у нас известный интеллектуал! Послание ее в общем контексте вроде любовное, а придраться не к чему. Про чью любовь она пишет? Его? Ее? Их? И что за «лунное» письмо? О чем нужно слевой советовать? Погодите, получается, отец уже и дядю Леву с *ней* познакомил? Ну дядь Лева дает! Тоже мне, друг семьи называется. Прикрыл старого кореша? Значит, сам такой! Все мужики одинаковые. Господи, как за маму обидно!

Тупо набрала в «Яндексе» «лунное письмо». Так... Лунное затмение. Лунный календарь. Лунный

камень. Не то. Ага, лунное письмо... Письменные традиции древнего Китая. Необычные виды письма. Письмо «тигриных когтей», «упавших луковиц», «наклонных струй», «листьев, изъеденных червями»... Стоп: «лунное письмо». Ну и? «Там свитков добрый десяток тысяч о дивных делах и чудесных... Там «мать облаков» блестит на бумаге, написаны золотом тексты...»

И о чем это — поди разберись. Каким золотом? Какие тексты? Да уж, в качестве доказательства порочной связи письмецо явно не годится. Дела, дела... Ладно, я, голубчики, все равно придумаю, как вас на чистую воду вывести!

Слушайте, Америка — это супер! Сказка. Реальная, живая. Месяц пролетел, как один день. Теперь я знаю: Америка и свобода — синонимы!

Люди улыбаются. Просто так. Потому что им хорошо. Молодежь не замороченная. Все у них... easy. Такое впечатление, что радоваться жизни — основное занятие! И старики там счастливые. Гуляют по паркам, сидят в кафе под зонтиками, ни в чем себе не отказывают. Даже у пятидесятилетних теток глаза блестят, будто жизнь только начинается и самое интересное впереди. Не то что у наших: уголки губ опущены, в глазах обреченность и безнадега... Народ тусует двадцать четыре часа в сутки. Знакомятся запросто, через десять минут — друзья! Я тоже с одним познакомилась. Кто, думаете, он по национальности? Нет, не американец. Хотя американцы тоже ничего были. Симпатичные. Но я как услышала, что этот парень из Швейцарии, у меня все внутри перевернулось. Не упустить бы случай, думаю. Он, как и мы, на языковую практику приехал. Ну, туда-сюда, поболтали... На следующий день опять встретились. Мальчик музыкант, перкуссионист. Язык учит для собственного развития. Интересно, неужели в Швейцарии музыкой можно деньги зарабатывать? Он



же не супермен из суперизвестной рок-группы. В консерватории работает, детям преподает, в каком-то современном оркестре играет. У него отменная быстрота реакции, видимо, профессиональная. Вот и на меня моментально среагировал. В общем, три недели общения — и-и-и... И он приезжает в Москву в начале октября! Только бы с визой проблем не было. Но главное, что и отцовская эта его... тоже будет в Москве!

Я папусику говорю вроде в шутку: «Видишь, неуч, с будущим зятем даже поболтать не сможешь». Улыбаюсь — сама невинность. Он расстроился. А я: «Слушай, а давай мы твою эту... швейцарскую подругу пригласим. Мой жених ей как родной: в одной стране живут, значит, и нравы-обычаи-понятия общие. Она быстренько сообразит, что к чему. Порасспрашивает, кто у него родители, что за семья. Нет, пап, я, конечно, все уже расспросила. Но откуда я знаю, что такое «родители на пенсии»? Старики дряхлые или у них пенсию в полтинник дают? И каков там за пенсионный уровень? Может, у них дедули-бабули получают пенсию в размере наших депутатских зарплат? А твоя эта... подруга — женщина умная. Пусть пообщаются на своем языке, а мы послушаем...»

Папусик — наивный — подвоха не почуял, организовал встречу. Мамуля как раз у нас «гостила» — отпуск взяла за свой счет. На неопределенный срок. В общем, уволилась. Плохо ей без нас. Скучает... Мы с Лораном — швейцарчиком моим — кое-как из койки вылезли, тащиться куда-то было напряжно. Но раз я уже решила, доведу дело до конца.

Дальнейшего развития событий я никак не ожидала...

Сначала все шло нормально. Пили мохито через трубочки из общего ведра. Этаким кубок дружбы и доверия. *Эта его...* с моим Лораном болтает по-французски без умолку. Еще и родителям переводить

успевает. С личными комментариями и замечаниями. С юмором мадам оказалась. Да и Лоран мой ничего, легко так общается, запросто. Не закомплексованный, короче. Она ему разные темы подкидывает, он — ей. И ведь интересно им. Продвинутые оба. Отец с *этой своей...* рядом сидит, мама — напротив. Смотрю, отец к *этой* коленом прижимается, думает, наверное, никто не видит. У меня все вскипело внутри. Между ними словно электрические провода натянуты. Все вокруг под высоким напряжением. Воздух аж трещит, того и гляди искры посыплются. Да от них сексом за версту пахнет! Ну, думаю, не может мама не заметить, сама, наверное, обо всем догадается. А мама сидит спокойно, мохито потягивает. *Эта его...* смеется. Над чем, интересно? Что это ей мой Лоран такого смешного рассказал? Или она над нами — дураками — потешается?

Терпела я, терпела. Чувствую, от злости бурлить начинаю. Я когда закипаю, независимо от собственных желаний звучу симфонией трех электрических чайников, вскипевших одновременно. Все, думаю, сейчас свисток где-нибудь в носу засвистит, и пар из ушей повалит. Пойду-ка прогуляюсь, остыну слегка. Из-за стола выхожу, и тут вдруг оборачиваюсь, говорю *этой его*: «Позвольте позвонить с вашего мобильного, у меня батарея села». Мама смотрит удивленно, за мобильником было в сумку полезла. Но *эта его* уже свой мне протягивает. «Конечно», — говорит. Я мобильник взяла, в туалетной кабинке с ним закрылась, ищу «Сообщения». Так и знала! В «полученных» сплошняком — Буриданов О., Буриданов О., Буриданов О. И в «отправленных» — Буриданов О. Всего пару эсэмэсок прочитала, но этого было достаточно. Тайное стало явным! Я держала в руках неопровержимые доказательства! Недолго думая, все без исключения эсэмэ-

ски — и полученные, и отправленные — на свой номер перекинула. Саму колотит. К столу вернулась. Как бы, думаю, до конца вечера досидеть. Еще как-то улыбаться умудрялась и разговор цивилизный поддерживать.

Уже ночью, когда я у Лорана в гостинице все отцовские послания *этой его* прочитала, поняла: любовь бывает дикой, сумасшедшей, без лимитов... Никогда бы не подумала, что мой отец на *такое* способен. В каждом слове — страсть, желание, восторг. Мне даже завидно стало. Я — молодая, не страшная вроде, и не совсем тупая, очень даже ничего девочка... А ведь никто мною до сих пор так не восторгался, не превозносил, не обожествлял. Реветь захотелось... Ничего, думаю, у меня все впереди! Будет и у меня *такая* любовь. Надеюсь. Но все равно обидно. За маму. И за себя. С горя взяла и матери все эсэмэски скинула...

Утром мы с Лораном в Третьяковку пошли. Надо же нам иногда культурно просвещаться. Вернее, его просвещать в плане русской культуры. Может, свою швейцарскую он и без меня знает, хотя кроме рассказов о рок-фестивалях в Монтре я от него ничего особо «культурного» пока не слышала. А я по Третьяковке с закрытыми глазами гулять могу. Нам весь прошлый год здесь историю искусств читали. Препад въедливая тетка попалась, профессорша. Хочешь не хочешь — выучишь! Я Лорану кое-что рассказала, показала. Он на меня глаза вытаращил, головой качает. Обедали в «Маках», потом просто гуляли по улицам. Он все меня в отель тащил. От страсти изнывал, бедняга. Ему эти достопримечательности интересны, конечно, но умом непостижимая Россия в постели куда интереснее. А меня от него уже воротит. Хотя в сексе он очень даже ничего. Но я о матери все время думала, не до секса! И как-то мне нехорошо, сосет под ложечкой, и все

тут! Звоню ей — не отвечает. Уже ближе к вечеру говорю Лорану:

— Ты извини, мне домой смотаться надо.

А он:

— Я с тобой.

— Нет, — говорю, — я быстро.

Только переоденусь.

Он, кажется, обиделся. Но мне уже наплевать было. Неслась домой, как угорелая. Мы квартиру в Митино снимаем, от центра далеко. На метро, потом еще три остановки на автобусе и минут пятнадцать пешком. Бегу, ног под собой не чувю. Звоню — не открывают. И тишина. Я ключи никак найти не могу. Давай в дверь долбить. Тишина. Тогда прямо на площадку на заплыванный пол все из сумки вытряхнула, с горем пополам ключи нашла. Влетаю — боже! Как в психологическом триллере: мать посреди комнаты на полу сидит, из стороны в сторону раскачивается, в одной руке горсть каких-то таблеток зажата, в другой — бутылка водки. Я к ней. Бутылку отшвырнула.

— Плюй, — говорю, — таблетки.

У нее глаза мутные, с пеленой, и улыбается глупо так, странно.

— Яночка, — говорит.

А у самой полный рот таблеток. Они наполовину размокли, слюни текут белые. Я ее как тряхнула.

— Плюй, — ору. — Плюй сейчас же!

Она на меня валится, держаться не может. То ли пьяная, то ли умирает уже. Я перепугалась дико. Давай изо рта таблетки выковыривать. У меня ногти длинные. Я ей рот раздираю, язык, губы царапаю, но мне уже все равно. Она:

— Больно, — говорит, — перестань.

Руки мои отталкивает.

Слава богу, думаю! Раз физическую боль чувствует, значит, еще не умирает. Воды притащила, с силой в нее целый литр влила. Ее рвать начало. Сильно. Я только таз успела схватить, держу ее, чтобы не упала, да мокрым полотенцем вытираю и воду в рот продолжаю

вливать. С желчью еще не растворившиеся таблетки вышли. Вовремя я, кажется, успела.

Не знаю, сколько времени прошло, она вдруг говорит:

— Яночка, только скорую не надо...

Стыдно.

И заплакала. Я с ней.

— Выгнала я его, доченька, — плачет. — Не могу терпеть. Там любовь. Пусть любит ее, раз нас с тобой любить не за что.

— Гад он, — говорю, — мама. Просто гад! Плюнь на него. Не пропадем!

А она:

— Кому, — говорит, — я теперь нужна такая... Старая да с болячками.

— Мне нужна, — говорю.

А самой ее жалко до ужаса. За что ей это? Нам за что? Глажу ее по голове, она только сильнее плачет.

— Сволочь он, — говорю, — чмошник гребаный!

Она:

— Яна! Ты что? Это твой отец! Где ты таких слов нахваталась?

Ага, думаю, похоже, в себя приходит. Рефлекс воспитателя вылез вместе с рефлексом самосохранения и сохранения потомства на этой земле. Значит, думаю, кризис миновал, умирать пока не будет. И тут... Звоню в дверь. Унизительный такой звончок, гадкий. Открываю — стоит наш герой-любовник. С чемоданом. Взгляд побитой собаки.

— А-а, — говорю, — нагулялся?

Или, может, случайно мимо шел, на огонек заглянул? Иди полюбуйся на супругу свою законную. Откачивай ее теперь, приводи в божеский вид.

И такая злость внутри — разорвать его готова!

У него глаза округляются, взгляд становится бешеный. Отпихнул меня — и к матери. На колени упал, сгреб ее в охапку.

— Ты чего это выдумала,

Люся, с ума сошла?

— Не хочу я без тебя, — мама плачет.

А он:

— Да не без меня ты. Со мной. И я с тобой. Всегда, всег-

да с тобой! Родные мои, девочки.

Нельзя вам без меня...

— А *этой твоей*, — говорю, — значит можно?

Тут его взгляд снова изменился — в одно мгновение заледенел.

— Значит, можно, — говорит. — Не нужен я ей. Любовь хороша, когда нет взаимных обязательств. Так, удовольствие, не больше.

— Ну да, — говорю, — перепихнуться без заморочек! Без сложностей! Оттянулись — и забыли. Никто никому ничего не должен.

Он вдруг как заорет:

— Не смей! — Слюна в разные стороны. — Мала еще взрослых судить! Любовь земным законам не подчиняется! Свыше дарована!

Ишь, пафоса-то сколько!

— Ага, — говорю, — сверху прислана. Из небесной канцелярии... Или снизу, сам знаешь, из чьих подвалов. А кому и вовсе не дана. В наказание за грехи.

Тут меня совсем накрыло. Ша-рахнула кулаком об косяк — стены завибрировали. Больно, черт!

— Разбирайтесь сами, — говорю. — Надоело!

Развернулась, дверь хлопнула. В своей комнате закрылась, сижу, реву. К Лорану ехать — сил нет. Видеть никого не могу. И его тоже. Такая ненависть к отцу — задыхаюсь. Значит, думаю, это он не к нам вернулся, и не ради нас. Вернулся потому, что *она* его выгнала. Надо думать! Какая дура мужа-миллионера на простого русского мужика променяет? А он-то — наивный — с чемоданом к любимой поперся! Думал, встретит с распростертыми объятьями? Осел! Получил? Поделом! А *эта егэ*... та еще стерва! Воровка! Украла мужика из семьи и глазом не моргнула. Но, похоже, одумалась вовремя. Понятно — деньги превыше всего! Она у себя в Швейцарии, поди, как сыр в масле катается, а когда в Россию приезжает по делам фирмы своей — скучно ей, видимо. Вот и нашла себе развлечение — много отца. Удовлетворяет, наверно...



Муж-закордонник, может, не силен уже. Дряхлый. А тут бесплатный трахальщик. Вот стерва! Для большего, получается, отец не пригоден? Он, глупенький, реально влюбился, это очевидно. Романтик. Чистый — ни дать ни взять — дитя малолетнее. Как при нашей жизни в вечной грязи умудрился не скурвиться, не расподлючиться? А *эта его* посмеялась, значит? Эх, папуська, неужели ты не понял, с кем имеешь дело? Неужели не почувствовал?

Что это они притихли?

Дверь приоткрыла, смотрю — сидят на полу, обнялись. Мурлычут тихонечко. Господи, думаю, неужели мать простила? Ведь чуть не умерла из-за него. Он же ее предал, бросил на произвол судьбы. А теперь *этой своей* не нужен стал, к нам вернулся? Примите таким, как есть, простите и любите дальше? Нет уж! Один раз обманул — и в следующий раз обманет! Так и будет туда-сюда бегать. Буриданов осел и есть. Никогда не забуду, как меня в детстве этим ослом доставали. Маркуся — самый умный, раскопал где-то притчу про Буриданова осла и ржет: «Осел по фамилии Буриданов...» Ну и вариации на тему: «Буриданов — осел, стало быть, Буриданова — ослица...» Спасибо месье Жану Буридану! Был такой великий философ, в Сорбонне преподавал. Додумался в качестве эксперимента предложить любимому ослу две абсолютно одинаковые охапки сена. Положил на одинаковом расстоянии одну справа, другую слева. Видимо, по приколу. Скучно было, развлечься решил. У осла не оказалось веских причин отдать предпочтение той или иной охапке, в результате чего бедное животное подошло от голода, так и не определившись. Проблема выбора. А недавно Маркуся и вовсе отличился. Когда я ему про отцовскую *эту его*... рассказала (привыкла с Марком как с братом самым сокровенным делиться, нет у нас друг от друга секретов), он давай ехидничать: «Это, — говорит, — как

есть — теорема Вейерштрасса: если непрерывная функция в данной точке положительна — осел хочет налево, а в другой отрицательна — осел хочет направо, то где-то между ними есть точка, где функция равна нулю — осел никуда не хочет, готовьтесь к похоронам». Остряк! Нет, пусть лучше наш «осел» хочет хоть куда-нибудь!

А эти двое все сидят на полу, меня не замечают. Захожу.

— Что, — говорю, — мамуля, — простила своего блудного осла? А ведь он теперь так и будет плутать между нами и *этой своей*... любовью. Неужели непонятно?

Мать глаза вскинула — сплошная мука. И растерянность.

— Нет, — говорит, — дочь, ты ошибаешься.

Сама на него испуганно смотрит, с надеждой, просительно, будто это она здесь виноватая. И уже не знает, кому верить. Отец вдруг весь скукожился, жалкий такой стал, беспомощный.

— Нет, — говорит, — Люся, там — все.

— Все? — говорю. — Докажи! Позвони *ей* прямо сейчас, да так и скажи: наши отношения закончены, прости-прощай! И номер ее удали из мобильного... Хотя, пожалуй, не стоит: ты его все равно наизусть вызубрил.

Отец смотрит на меня растерянно, будто его застучали тырящим яблоком из соседского сада.

Мама за него вступилась:

— Перестань, — говорит, — Яна, это лишнее.

А ему отступать некуда, прижала я его. Берет телефон, звонит. «Здравствуй, — шепчет, — извини, что поздно. Со мной рядом... Людмила и Яна. И я в их присутствии прошу тебя простить меня за ту боль, что причинил тебе. Не поминай, — говорит, — лихом». У самого в глазах слезы. Весь такой маленький, ничтожный... Мне так захотелось плюнуть ему в рожу. Разве это мужик? Бабой растоптанное животное!

Всегда сильный и мудрый мой отец. Господи, как противно. Куртку схватила — и на улицу. Стою у подъезда, реву. Марку позвонила. Приезжай, говорю, заberi меня отсюда. Он вопросов задавать не стал, моментально примчался. У него машина всегда на ходу. В бар поехали. Выпила я чуть-чуть, проревелась, все ему рассказала как на духу. Марк слушать умеет, это — дар.

— Всякое, — говорит, — Янка, в этой жизни бывает, наладится все, не парься. Ты лучше давай про «лунное письмо» поподробнее.

Внимание переключает. Да я, собственно, и не против.

— Только, — говорю, — я ничего больше не знаю. Предка твоего спрашивать надо. Это он, кажется, в курсе дел своего дружка — моего родителя и *этой его*...

— Поехали к нам, — говорит, — прямо сейчас и спросим. Еще не поздно. Мать все равно на даче, отец дома один.

Дядя Лева, меня увидев, сначала обрадовался, потом врubilся, что со мной неладно. Зареванная вся, да и перенервничала, вот алкоголь и подействовал, хотя выпила всего ничего. Перепугался, но вопросами терзать не стал, проявил деликатность. Мне, честно говоря, уже не до вопросов было. Уложили меня спать. Дядя Лева родителям позвонил, предупредил, что я у них ночью. Лучше бы не звонил. Пусть бы подергались.

Утром просыпаюсь, башка трещит. На душе гадко. Вспоминаю, что Лоран сегодня улетает. Смотрю — время! На мобильнике куча пропущенных звонков от него. Ну я и сволочь, думаю. Марк, говорю, давай в Домодедово пулей! Помчались, как умалишенные. Я всю дорогу дергалась. Летели так, что сами угробиться могли и других угробить. Обошлось, слава богу! Посадка на Женеву уже объявлена. Я на таможенный контроль. Не пускают. Вижу, вдалеке на паспортном контроле зеленая куртка Лорана маячит. Я как заору:

«Лоран!» Он шею вытянул, смотрит — глазам не верит. Народ растолкал, ко мне бежит. Я ему: «Прости, — говорю, — прости! Ты тут ни при чем! Ты хороший! Это я дура! Но у меня сейчас трудный период в жизни, понимаешь?» Он ничего не понимает, но улыбается. «Ты сумасшедшая, — говорит, — но я все равно тебя люблю. Так получилось. Прости и ты». Обнял меня, прижал на секунду и побежал обратно в очередь. Я опять реву белугой. Мне за последние часы слезы лить уже как-то привычно стало.

На обратном пути Марк, чтобы меня из ступора вывести, рассказывает:

— Вчера, — говорит, — попытался я отца на информацию раскрутить насчет этого письма лунного. И что-то мой родитель неожиданно напрягся, рассказывать ничего не пожелал. Не лезь, говорит, Марк, ты в это дело. И Яну, будь добр, образумь. Я думал все в шутку перевести. Ой-ой-ой, говорю, тайны мадридского двора. Смотрю, ему не до смеха. Побледнел. Не шутки, говорит, это. Забудьте о письме, умоляю! Прикинь, чтобы мой отец меня о чем-то умолял?

— Да, — хлюпаю, — дела...

Что к чему?

А Марк продолжает:

— Я мозги напряг, вспомнил: не так давно твой отец к нам заходил. Мама им чаю предложила или по рюмочке. Отказались — виданное ли дело? Закрылись у отца в кабинете и битый час носа не высовывали. Отец с некоторых пор в кабинете не курит — мать добилась-таки своего! Когда им невмоготу стало, вышли покурить на балкон. У меня в комнате окно открыто. Всего разговора я, конечно, не слышал, но обрывки уловил. Речь шла о каком-то свитке. Меня слово удивило — отец на свитках не специализируется. Не его профиль. Я так понял, некий свиток у твоего отца с собой был. Но, может, показалось... Еще они несколько раз одну и ту же фамилию называли. Слишком уж

русская фамилия, со словом «свиток» никак не вяжется...

Марк замолчал, поглядывает на меня искоса, как старший следователь Турецкий на бестолковых подчиненных. Думайте, мол, бездари, шевелите мозгами. Я в прострации после всего пережитого, слушаю вполуха.

— Что, — спрашивает, — загрузил я тебя? Неинтересно?

— Интересно, — отвечаю.

— Тогда скажи, знакомо ли тебе некое лицо из отцовского окружения по фамилии Козлов?

— Козлов? Редкая, однако, фамилия, — говорю. — Ословых тире Буридановых в нашем окружении хоть отбавляй, а вот Козловых что-то не припомню.

— Понятно, — говорит Маркуся. — Не парься, найдем.

Ко мне ехать было нельзя. Из идеологических соображений. Я своих родичей видеть была не в состоянии. Решили, что я несколько дней у Марка перекантуюсь, там видно будет.

Приехали — и сразу за комп. Забили в поисковик просто «козлов». Нам, естественно, самых разных Козловых на экран целая куча высыпалась. Николай Козлов — психология и тренинги; сайт писателя Владимира Козлова; нападающий сборной России Виктор Козлов заверил, что если не попадет в сборную... Нет, так дело не пойдет, это все равно что искать иголку в стоге сена... для козлов. Изменили поисковый запрос: «Козлов лунное письмо». Сергей Козлов. Ежик сидел на берегу реки и смотрел на лунный след... И снова Николай Козлов... Нет, мы точно как ежики в тумане, на берегу лунной реки.

— Слушай, — говорю Марку, — когда я первый раз «лунное письмо» в Инете искала, мне единственная статья попала с сочетанием этих двух слов о какой-то китайской письменности, иконах...

Тогда забили «лунное письмо», нашли ту самую статью, выяснили, что

«лунные письма» писались в древнем Китае еще в эпоху династии Тан на дорожной бумаге из конопли, шелковицы, бамбука и даже розового дерева. Ее окрашивали в различные тона и пропитывали благовониями. Листы бумаги склеивали, чтобы получить длинные свитки. Лучшие из них накручивали на сандаловые оси-палочки с хрустальными наколочниками. Больше всего меня в этой статье поразило, что, оказывается, уже в то время существовали огромные библиотеки с целой системой классификации книг. Для обозначения раздела употребляли цветные ярлыки из слоновой кости, на которых были написаны название и номер тома. «Классики» имели красные ярлыки, осевые палочки, инкрустированные белой слоновой костью и желтые завязки. «Историки» — зеленые ярлыки, палочки из слоновой кости синего цвета и светло-зеленые завязки. Ну и так далее. Представляете, какое богатство!

Между делом не поддающийся эмоциям Марк, бурча себе под нос «ну-ка, ну-ка», забивает в поисковик «козлов китайские свитки» и...

В течение следующего получаса мы только успевали открывать новые статьи, бегло просматривать, распечатывать (изучим позже!) и открывать следующие. Интернет был забит информацией о Козлове Петре Кузьмиче — русском ученом-археологе и путешественнике, величайшем исследователе Средней Азии, ученике и последователе самого Пржевальского, совершившем ряд научных экспедиций в Китай, Монголию, Тибет, откуда, собственно, и привез огромные коллекции этнических материалов, среди которых имелись замечательные и редкие экспонаты, как то: древние китайские, монгольские, тангутские книги, свитки, статуэтки и прочее...

Вечером того же дня мы с Марком сидели в купе «Невского экспреса», пили чай и перебирали ворох бумаг-распечаток.



— Как ты думаешь, этот квартирный музей каждый день работает?

— Я расписание вытащил. Завтра — работает. С десяти до восемнадцати.

— А карту Питера? Где мы Смольный проспект дом шесть искать будем?

— И карту. А искать будем возле Смольного института. Читай: «...В 1912 г. П. К. Козлов женился (вторым браком) на Елизавете Владимировне Пушкаревой. В то время знаменитому путешественнику уже было под пятьдесят, а его невесте только двадцать. После женитьбы Козлов окончательно перебрался из Москвы в Петербург. Молодые поселились в просторной (семикомнатной) родительской квартире Е. В. Пушкаревой на Смольном проспекте, в типично петербургском доходном доме вблизи Смольного института... Сюда, в эту квартиру, приходили многочисленные друзья, соратники и ученики Петра Кузьмича, знаменитые ученые и путешественники...»

Квартира, в которую мы попали, напоминала антикварную лавку — столько в ней было всевозможных редкостей, привезенных Козловым из экспедиций. На стенах — стеклянные «шиты» с фотографиями: П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Н. М. Пржевальский. Других имен я не знала. Документы, дневники, письма, географические карты, рисунки. Вестибюль заставлен баулами, вьючными мешками, ящиками. Оказалось, это выставочные экспонаты — экспедиционное оборудование, служившее для перевозки приборов и коллекций. В кабинете Козлова — огромные, во всю стену, шкафы с книгами, ружья, компасы, бинокли. В углу «волшебный» шкаф, сверху донизу заставленный безделушками — фигурками животных из разноцветного камня, бронзовыми статуэтками, вазочками, изящными резными коробочками. Но больше всего мне понравился огромный кожаный

чемодан — «походный мужской столовый несессер» — с кучей разных предметов вплоть до хрустальных рюмок и миниатюрного графинчика. Для каждой тарелочки-вилочки — специальное отделение, крепеж. Все продумано досконально! А Маркуся завис возле складного письменного стола красного дерева с полным набором принадлежностей. Жили же люди до революции! В походы по горам таскали мебель красного дерева! Да-а, дела, дела...

Еще здесь была так называемая Тибетская комната, рассказывающая о буддийской культуре и русских путешественниках, изучавших Тибет.

— Интересно, на каких языках книги? — спрашивает Марк, разглядывая библиотеку.

— На тибетском и монгольском, — отвечает старушка, маленькая, сухонькая. Мы даже не заметили, когда и откуда она появилась, хотя народу в музее — почти никого.

— Это, — продолжает старушка, — коллекция ныне покойного настоятеля Цугольского дацана Далай-ламы Агван-Лобсан-Тубдандь Жимба-Жамцо Цыбенова. Многие книги имеют дарственные надписи авторов и ценные маргиналии. А вот здесь предметы буддийского культа. Эта комната хранит не одну тайну...

Нет, вы не думайте, что я (здесь и ниже) научные термины, названия, даты и многосложные имена далай-лам по памяти буду цитировать. Просто у меня в сумке диктофон валялся. Мы в институте давным-давно лекции на диктофон записываем, если препода, конечно, адекватны и не комплексуют. Конспекты с утра до вечера строчить — рука отсохнет!

— Все это богатство, — рассказывает старушка, — из личных архивов Петра Кузьмича и Елизаветы Владимировны. Петр Кузьмич был страстным коллекционером — собирал тибетские и китайские монеты, фигурки из нефрита и яшмы, статуэтки-бурханчики...

— Бурханчики? — заинтересовался Маркуся.

— Да, бурханы — это изображения будд.

— Тех, что нужно по животикам гладить для счастья и денег? — выдвинула я ценное научное предположение.

Старушка в ответ только улыбнулась, беззлобно так, открыто.

— Скажите, а свитки китайские Петр Кузьмич случайно не коллекционировал? — спрашивает Марк.

— Господи! — восклицает старушка. — В этом доме чего только не было! И свитки, и книги — подлинные реликвии. Была, например, серебряная статуя «Алмазного Будды» на троне и несколько церемониальных хадаков — это тончайшие шелковые шарфы, которыми по традиции обмениваются при встрече знатные монголы и тибетцы. Но многое было утрачено во время революции. Однако наиболее ценные коллекции Елизаветы Владимировны — жена Петра Кузьмича — по его завещанию еще в 1935-м передала в дар Эрмитажу. Буддийскую коллекцию — почти триста единиц, нефритовую — более ста предметов. Научные инструменты, принадлежавшие Пржевальскому и Козлову, рукописи и ксилографы на тунгусском языке, этнографические материалы, книги и фотографии чуть позже она подарила Институту истории науки и техники, Географическому обществу, Институтам востоковедения и этнографии. Да мало ли кому!

— Вот так бескорыстно все и отдала? — не верю я.

— Деточка, — говорит старушка, — эти коллекции бесценны! Их значение для науки необычайно велико. Это национальное достояние!

— А вы, наверное, очень давно здесь работаете? — будто бы невзначай интересуется Марк.

— Так уж без малого четверть века, — отвечает старушка. — Мы вместе с Ириной Андреевной этот музей открывали. Елиза-

вета Владимировна после смерти, а она в 1975-м умерла, все свое имущество завещала Ирине Андреевне — своей ближайшей подруге. Прямых-то наследников Елизавете Владимировне и Петру Кузьмичу Господь не дал.

— Ирине Андреевне, говорите?

— Ну да, Четыркиной. Они с Елизаветой Владимировной после смерти Петра Кузьмича с 1950 года совместно проживали в этой самой квартире, дружили очень, и трудились обе в нашем Зоологическом институте, где и я имела честь служить. С Ириной Андреевной у нас очень доверительные отношения сложились. И вот Ирина Андреевна стала главным хранителем и распорядителем всех накопленных Козловыми материалов. Тогда мы и начали ходатайствовать в различных высоких инстанциях в Ленинграде и Москве об организации музея. Долгое время — безрезультатно. Все это время я помогала Четыркиной вести работу по систематизации огромного научного наследия Петра Кузьмича...

— И что же, — невежливо перебивает Марк, — Ирина Андреевна все унаследованное имущество музею передала?

— Ну конечно, как же иначе?

— Вот прямо все-все-все? — сомневаюсь я.

Старушка пожимает плечами.

— Как вы думаете, могли у нее остаться какие-то вещи от Елизаветы Владимировны? Ну, может, что-то любимой подругой на память подаренное?

— Думаю, могли, почему нет?

Елизавета Владимировна была очень щедрым человеком, любила делать подарки по случаю. Большое количество вещей из личных коллекций просто раздарила друзьям и знакомым, Называла их небрежно пустячками. Это всем известно.

Тут мы с Марком переглянулись и поняли друг друга без слов.

— Как бы нам поговорить с Ириной Андреевной? Хотелось бы узнать побольше и поподробнее из первых

уст, — не моргнув глазом, сочиняю на ходу.

— Так ведь умерла Ирина Андреевна. Еще в 1987-м. Тогда и музей закрыли. Еле удалось коллекцию сохранить...

Старушка уже приготовилась нам поведать, какие препятствия пришлось преодолеть, чтобы уберечь коллекцию от варваров, но Марк пресек ее исповедь на корню:

— Спасибо вам огромное! От всей передовой просвещенной небезучастной и интересующейся наукой молодежи.

Во загнул! Ну я, естественно, подыграла:

— У нас к вам последний вопрос. Для научно-поисковой работы нам просто необходимо знать, кому могла Четыркина Ирина Андреевна передать свои личные вещи? Наследникам? Или тоже музею завещала?

— А это вам лучше у ее дочери спросить, — говорит старушка.

— Как ее найти? — спрашиваем.

— У меня адрес где-то должен быть. Телефон я, кажется, не записала, а вот адрес... Сейчас посмотрю... Если не переехала она, конечно...

Дочь Ирины Андреевны, к счастью, не переехала. Нас встретила высокая, подтянутая, очень молодая и все еще красивая для своих преклонных лет женщина, недорого, но элегантно одетая. Выслушав наш нестройный рассказ о том, что мы, молодые историки из МГУ, присланы в музей-квартиру Козлова П. К. с целью сбора материала для научной работы по теме «Уникальные древнекитайские книги, трактаты о необычных вещах в западных землях и о дани, преподнесенной императору на дворцовом приеме кыргызами» и о том, что сотрудники музея посоветовали нам обратиться именно к ней — дочери главного специалиста и основателя музея, многолетней хранительницы всех уникальных коллекций и т. д. и т. п., в конце концов пригласила войти, предложила чаю.

От чая мы, разумеется, не отказались.

Сидим, чаевничаем. Елена Карповна между сушками — совсем уж по старинке — рассказывает:

— Это была удивительная пара! И удивительная любовь! Мама сохранила их многолетнюю переписку. Петр Кузьмич своей Лизоньке из любой экспедиций каждый день писал. О результатах поисков рассказывал, о перемещении экспедиции в горах и снегах, о том, как нашим путешественникам приходилось пробивать себе дорогу кровопролитными сражениями с крупными вооруженными отрядами, натравленными на экспедиции местными фанатически настроенными ламами. Одно это — увлекательнейший приключенческий роман о героизме, находчивости, целеустремленности. Но в каждом письме — обязательно слова любви. И столько в них нежности, искренности, веры...

Я сижу, головой по сторонам кручу. Надоело мне про *такую-этакую* любовь слушать. За последнее время я любовью сыта по горло! Рассматриваю все, что на глаза попадается.

Квартирка маленькая, но отдельная, в центре. Мебель бедноватая и довольно старая, но все очень чистенько, прямо стерильно. Только не современно. Видно, молодежь здесь не проживает. Смотрю, в шкафу фотография в рамочке.

— Можно, — спрашиваю, — посмотреть? — А сама уже к шкафу направляюсь.

Фотография очень старая. Мысленно сравниваю с музейными фото и узнаю самого Козлова и его жену. Остальные — мужчины, у каждого в руках стопки книг, а у Козловой-Пушкаревой — свитки. Целая охапка. Она их еле удерживает. И все, кто изображен на фотографии, счастливые такие, смеются.

— Что это за книги у них в руках? — спрашиваю Елену Карповну. — И свитки у Елизаветы



Владимировны? И почему они все такие счастливые?

— Это, — отвечает она, — Петр Кузьмич только вернулся из Монголо-Сычуаньской экспедиции, где и был открыт Хара-Хото. Вы, конечно, слышали?

— Нет, — говорим мы с Маркусей, — видимо, упустили! Ай-ай-ай! Непростительный промах. Расскажите, пожалуйста, Елена Карповна.

— О-о! — восклицает Елена Карповна. — Это было удивительное путешествие и удивительное открытие, давшее археологический материал огромной историко-культурной ценности. Представляете, в пустыне Гоби откопать целый город! Мертвый город, некогда бывший одним из крупнейших городов тангутского государства, обладавшего высочайшей культурой. В его недрах нашли библиотеку в две тысячи экземпляров, состоящую в основном из книг на «неизвестном» языке, оказавшемся при изучении тангутским языком древнего государства Си Ся. Но были там и монгольские, и китайские книги, иконы, свитки. Ни в одном из иностранных музеев или библиотек не имеется сколько-нибудь значительной коллекции тангутских книг. Даже в таких крупнейших хранилищах, как лондонский Британский музей, тангутских книг лишь единицы. Вместе с библиотекой в Хара-Хото были найдены коллекции ксилографии — клише для печатания книг, культовых изображений и бумажных денег, доказывающие, что Восток был знаком с книгопечатанием за сотни лет до его появления в Европе, богатый набор статуй, статуэток и всевозможных фигурок культового значения, более трехсот буддийских икон, писанных на дереве, шелке, полотне и бумаге, многие из которых имеют огромное художественное значение.

— Знаете, — говорю, — в рамках научной работы особый интерес у нас вызвали именно старинные письма и свитки. А больше всего — древнекитайские «лунные пись-

ма», которые писали тогда танские монахи и астрономы. Мы знаем, что письма эти хранились в коллекциях таких известных собирателей книг, как, например, Лю Бо Чу, Ли Си Цын и Су Баня, — сочиняю, не моргнув глазом. — Но только вот мы, к сожалению, ни одного такого письма воочию не видели и в руках не держали. А хотелось бы...

Видимо, мои глубочайшие познания в данной области произвели нужный эффект и достаточно впечатлили Елену Карповну.

— Пожалуй, у меня есть для вас кое-что, — говорит она и, достав с верхней полки старого шкафа альбом с фотографиями, принимается бегло листать страницы. — Вот, — говорит наконец, — это фотография со свадьбы моих родителей. Рядом с мамой — Елизавета Владимировна. Узнаете? Она была свидетельницей со стороны невесты. Посмотрите внимательно. Видите у нее в руках?

— Что это? — спрашивает Маркуся. — Свиток?

— Не просто свиток. Это и есть «лунное письмо», самое настоящее. Его среди других реликвий Петр Кузьмич из Хара-Хото привез. Свиток якобы был упакован в коробку из резной кости необыкновенной красоты. На коробке — письмена, неизвестные символы. После окончания раскопок Петр Кузьмич должен был посетить самого владыку Тибета Далай-ламу тринадцатого в Урге — современном Улан-Баторе. И решил наш уже тогда знаменитый ученый преподнести свиток Далай-ламе в подарок. Однако Далай-лама как увидел письмена на коробке, подарок принять отказался. Это, говорит, особый свиток, «лунное письмо». Письма эти очень древние и передаваться могут только по женской линии, из поколения в поколение от матери к дочери и вручаться должны только в день законного бракосочетания.

Рассказывают, что привез Петр Кузьмич свиток домой и долгое

время хранил бережно, с особой осторожностью. Может, надеялся, что Господь им с Елизаветой Владимировной еще дочку подарит. Но Господь распорядился иначе. Тогда-то, уже после смерти мужа, и подарила Елизавета Владимировна свиток моей маме на свадьбу. А я в свою очередь получила его в день моей свадьбы. Вот, смотрите, это мы с покойным Дмитрием Игнатьевичем моим. Мама держит все тот же свиток... А вот уже я вручаю его своей дочери в день ее бракосочетания...

И тут я приготовилась падать в обморок. По крайней мере, выброс адреналина в кровь был настолько силен, что я покачулась, судорожно вцепилась в сиденье стула. В подвенечном платье с фатой, красивая до безобразия, на меня смотрела *эта* *его*... ну, папина любовница... Рядом, такая же красивая, стояла ее мама — Елена Карповна Четыркина.

Марк на меня смотрит, ничего понять не может, он-то с отцовской *этой* *его*... не знаком! Я краснею и бледнею на глазах. Слава богу, Елена Карповна ничего не заметила.

Постепенно я пришла в себя, спрашиваю:

— Это ваша дочь, получается?

— Да, — говорит Елена Карповна. — Она живет за границей.

Понятно, думаю, что за границей. Даже знаю где: в Швейцарии!

— Вы с ней часто видите? В гости, наверное, ездите?

Елена Карповна вдруг как-то вмиг потускнела, нервно обхватила себя руками, будто неожиданно очень сильно замерзла.

— Нет, — говорит, — она не часто приезжает. Очень занята. А я у нее в гостях и вовсе ни разу не была. Не довелось. Но на праздники она мне обязательно посылочку присылает...

Да, думаю, похоже, не балует вас дочь ни любовью, ни вниманием. Да и не помогает, видимо, особо. Эгоистка! Бросила родную мать и в ус не дует! Стерва — она и в Африке стерва!

— А «лунное письмо», — спрашиваю, — теперь у нее хранится?

— Нет, — говорит Четверкина. — Хотела она его с собой увезти по месту жительства — оно ведь по праву ей принадлежит. Но вывозить его за границу опасно — таможня не пропустит. Это уникальный предмет огромной исторической ценности. Дочь было продать его хотела и деньги на счет в банке перевести, но я не позволила. Свиток, конечно, немалых денег стоит, но мне он дрозд как семейная реликвия, память о моей матери и ее дружбе с удивительной женщиной — Елизаветой Владимировной Козловой-Пушкаревой. Пусть у меня хранится. До поры до времени. Да и передавать его некому... пока. Не дал мне Господь внуков-то...

Она совсем упала духом, вижу, заплакать готова. Так ее жалко стало.

— Что же, — говорит, — ребята, засиделись мы с вами...

— Елена Карповна, неужели вы нам свиток не покажете? — перепугались мы.

— Что показывать? Он в рулон свернут. Коробка-то резная исчезла, никто не помнит, когда именно. А сам свиток до сих пор не разворачивали и не читали.

— Почему? — удивились мы. — Неужели не интересно узнать, что там написано?

Она посмотрела как-то странно, улыбнулась загадочно.

— Потому, — говорит, — что нет необходимости... — и замолчала.

— Елена Карповна! — взмолились мы. — Это же уникальный предмет! Для нашей работы невероятная, ни с чем не сравнимая находка! Вы даже не представляете, как вы можете молодой науке!

— Бог с вами, — сжалась Елена Карповна, — так и быть, покажу. Только в руки не дам — не имею права. И фотографировать не разрешу. От греха подальше...

Она вышла в соседнюю комнату, мы с Марком переглянулись. Какие же они доверчивые, эти старики.

Ведь мы запросто могли оказаться грабителями и укокошить бедную женщину ни за что ни про что. За «лунное письмо»... К счастью, мы хотели только на него посмотреть, увидеть своими глазами этот таинственный свиток. Даже не знаем, зачем. Из любопытства, получается...

Она вернулась растерянная, недоуменно развела руками:

— Его нет, — сказала она. — Пропал... Был и пропал...

С Ленинградского вокзала мы снова неслись на машине, как ненормальные. Слава богу, в ранний час машин было немного.

— Ну все, — сам с собой разговаривал Марк, — не открутится теперь мой папаша! Свиток-то ворованный! Пусть только попробует правды не рассказать. Пригрозим, что в милицию в розыск объявим.

— Сам-то понял, что сказал? Не болтай ерунды, — говорю. — В милицию он заявит! Нашел самого некоррупционного, кристально честного защитника! Ты бы ментам еще сам свиток на блюдечке с голубой каемочкой принес и вручил. Держите, ребята, знаете, сколько он стоит? А может, вам покупателя помочь найти? У меня отец как раз профессор-искусствовед, эксперт высшей категории, а между делом — антиквар с многолетним стажем, через чьи руки текут века... шестнадцатый, восемнадцатый, двадцатый... Он и подскажет, кому свиточек выгоднее продать. Проконсультирует, недорого...

Дядя Лева упрямылся и раскатываться не собирался. Марк орал и упрашивал, я ныла и умоляла. Ни в какую. Не знаю, говорит, ничего про ваше «лунное письмо», и все тут. Ни о чем я с твоим отцом не разговаривал, ни про какого Козлова слухом не слыхивал, и вообще это не ваше дело... Что, спрашиваем, «это»? Ничего, отвечает! Гениально!

Так мы и ушли ни с чем.

Я вернулась домой. Отец с матерью, как я и предполагала, помирились.

На меня смотрели виновато, будто это меня обидели. Мне-то что! Живите как хотите, если вас такие отношения устраивают. Я бы любимого мужчину ни за что не простила. Он ей нож в спину всадил. Хотя... А если у него и вправду любовь?

В доме восстановился покой. Но в воздухе повисло навязчивое ощущение, что покой этот — мнимый. Что-то было не так. Что именно — словами не выразить. Наверное, из дома просто ушло счастье. А из моего сердца — забывенная любовь к отцу, лучшему из лучших...

Все началось в тот понедельник, когда у нас отменили английский и я прибежала из института пораньше. Мамы еще не было. Она недавно вышла на новую работу и задерживалась дольше положенного, чтобы у начальства, так сказать, «очки заработать» и вникнуть в суть дела. Отец был дома. Вижу, с ним явно творится что-то неладное. Мечется по квартире, как тигр в клетке, места не находит. Сам не свой.

— Что случилось? — спрашиваю.

Он моего вопроса будто не слышит.

— Папа, — говорю, — есть будешь или маму дождемся?

— А? — говорит. И все. Просто «А».

Сам за сигарету. Пятуго за последние двадцать минут.

— Что случилось? — допытываюсь.

Молчит, будто и нет меня вовсе. Зачем, думаю, лезть к человеку. Надо будет — сам расскажет. Обиделась, короче. Бутерброд себе сделала, закрылась в комнате, завалилась на кровать, наушники в уши, нос в книжку... И уснула, не заметила как.

Просыпаюсь — ночь. Тишина. Думаю, надо бы раздеться, лечь по-нормальному. Странно, что мама не разбудила, не заставила в пижаму влезть и зубы почистить. Ей все время кажется, что я еще маленькая, к тому же грязнуля. Смешная она у меня. Выхожу в зал, мама на



диване лежит, не спит, вроде телевизор смотрит. А по телевизору футбол. Без звука.

— Мам, ты чего не ложишься? — спрашиваю. — Вы что, опять с отцом поссорились?

Она молчит, будто уснула, а глаза открыты. Мне жутко стало. Хотя я теперь уже ко всему готова. Подскочила, хват за руку: «Мама!»

Она глаза поднимает, медленно так.

— Яночка, — говорит. — Как хорошо, что ты пришла.

Все, думаю, у матери крыша поехала.

— Откуда, — говорю, — пришла, мама? Я все время дома была.

— А папа вот ушел.

— Куда опять?

Сама уже в спальню заглядываю. Отца нет.

— Где он? — спрашиваю. — Куда ушел на ночь глядя?

— Он, — говорит, — в новую жизнь ушел, в новое счастье. Я сама его проводила. Иначе бы маялся, как тот Буриданов осел меж двумя охапками сена. Так бы и помер с голоду. Ему сейчас нельзя умирать. У него там наследник скоро будет. Маленький.

Все, это реальный конец, думаю, а сама по стенке на пол сползаю. Только ослы выбирают до смерти. Сижу, будто парализованная. Вокруг, сволочь такая, безнадега летает и все маме на голову сесть норовит. Мне бы ее прогнать, спрятать маму, укрыть... Да куда от этой твари теперь спрячешься...

— Мам, ты что-нибудь глотала? — спрашиваю.

— Нет, — говорит, — не волнуйся. Только валерьяночку. Это не страшно. Просто травушка-муравушка.

— Дай, — говорю, — тогда и мне.

А дальше было совсем худо.

Эта его уехала от мужа в Россию, вроде совсем перебралась. Здесь и рожать собиралась. В ее положении «любимый мужчина» — мой отец — стал необходим. Они

вместе будут воспитывать малыша. Ребенок не должен расти без отца... А я — должна? Или они считают, что я уже выросла и отец мне больше не нужен?

Следующие три месяца беременности *этой его* мама «вынашивала» ребенка вместе с ней. Она будто ходила на работу, будто ела, пила, смотрела телевизор, разговаривала со мной... Будто жила. На самом деле — ждала их маленького и ни о чем больше думать не могла. Но если эта его с каждым днем, наверное, любила свое чадо все больше и больше, мама его все больше и больше ненавидела. Ее подсознание выбрало виновника всех ее женских бед и несчастий, и теперь она буквально жила этой ненавистью. К счастью, пока не выплескивавшейся агрессией. Мама смотрела по телевизору передачи для будущих мам, покупала журнал «Материнство», изучала модели колясок, люлек, автомобильных кресел и прочего детского «оборудования». Но проделывала все это со знаком «минус». В какой-то момент я поймала себя на мысли, что не удивлюсь, если она начнет покупать «приданое» ребеночку, чтобы потом сломать, искорежить, уничтожить. Я даже начала побаиваться, как бы она не пошла к бабкам-ворожеям, чтобы заказать порчу, сглаз, накликать беду на нерожденное дитя. Слава богу, обошлось. На шестом месяце все внезапно изменилось. Ненависть исчезла, но теперь сердце мамы наполнилось холодным тупым равнодушием. Лицо превратилось в восковую маску — ни боли, ни муки, ни гнева. Не было даже слез... Мама стала тихой, невыразительной, тусклой. Взгляд стеклянный, пустой, безжизненный. Мои попытки вывести ее из этого состояния заканчивались провалом. Ей все было безразлично. Я пыталась уговорить ее пойти к врачу. Она отказывалась. Тогда я сама записалась на прием и как сумела описала невропатологу состояние мамы. В ответ услышала: «Депрессия. Модная

болезнь. Вашей маме нужно попить антидепрессанты. Пусть зайдет ко мне. Вам прописать лекарства я не могу, а без рецепта в аптеке не отпустят». Будто и не слышала «добрая тетя-доктор» моей исповеди, только что выплаканной в ее кабинете.

Большую часть работы по дому я взяла на себя. Наверное, если бы я не кормила маму, она забывала бы поесть, как забывала теперь краситься или делать маникюр. Жить в такой обстановке было нелегко. Временами казалось, еще чуть-чуть — и я тоже сойду с ума. Оставалось только надеяться, что все изменится после рождения отцовского ребенка.

Марк звонил каждый день. Иногда ему удавалось вытащить меня куда-нибудь, хотя оставлять маму одну я побаивалась. Да и настроение было не для веселья.

Лоран тоже был рядом. Хм, рядом... Всего за две с половиной тысячи километров. Далекий и такой близкий... Мы просиживали в скайпе часами, каждый день без выходных. После лекций я бежала домой, как угорелая. Он тоже торопился с работы. Я механически занималась хозяйством, мечтая скорее устроиться у компа. Теперь я ела, пила, засыпала прямо у монитора. Рассказывала Лорану все-все-все... Он находил слова утешения, старался отвлечь от проблем нашей непутевой семейки, болтая о всякой ерунде, вспоминая наивные и совсем не смешные анекдоты. Но я смеялась, потому что он жил, заставляя меня жить вместе с ним. И мне было почти не одиноко.

Он убеждал меня в том, что вечно так продолжаться не может и мама обязательно снова станет моей привычной веселой мамочкой, только вот родится этот малыш. Говорил, нужно время, чтобы мама успокоилась, отошла от пережитого шока, смирилась с мыслью, что изменить ничего невозможно, этому ребенку суждено появиться на свет, а стало быть, ждать возвращения отца бес-

полезно: он будет воспитывать своего малыша по долгу отцовства. Он ведь не подлец. И я была благодарна ему за эти слова и за то, что этот малознакомый иностранец просто есть в моей жизни...

Иногда звонил отец. На мобильник. Интересовался, как идут дела, спрашивал об учебе и о маме. Я отвечала сухо. Мне было нечего сказать.

— Я так счастлив, — признался он однажды. — У меня будет еще один ребенок! Но, поверь, мне ужасно больно за вас. Я вас очень люблю, дочь...

Вот наглость! Совсем совесть потерял! Любит он нас! Лучше бы молчал!

— Если у меня будет мальчик...

— У тебя будет девочка, — говорю спокойно так, холодно.

— Почему? — он, кажется, слегка опешил от моей уверенности.

— Потому что тебя избрали, — отвечаю и вешаю трубку. Пусть думает, что хочет.

А в один прекрасный день звонит мне Маркуся:

— Приезжай, — говорит, — отец приглашает. Разговор к тебе имеется.

Я сначала удивилась, потом, думаю, наверное, дядя Лева решил меня с отцом помирить. Будет объяснять, что при любых обстоятельствах отец есть отец и я должна его простить-принять... Ну или что-нибудь в этом роде.

Приезжаю. Дядя Лева вздрюченный какой-то, нервный. Я его таким, пожалуй, никогда и не видела, хотя знаю с детства, еще с тех пор, когда мы жили в соседних подъездах, наши семьи были неразлучны, а мы с Маркусей росли как брат и сестра.

Тетя Ида — мама Марка — нас, как обычно, сначала накормила, и только потом позволила разговоры разговаривать.

Дядя Лева усадил нас с Марком на диван, сам устроился напротив за массивным, выдавшим виды анти-

кварным столом. Серьезный такой, официальный.

— Поразмыслил я на досуге, — вроде непринужденно так говорит, а у самого от напряжения очки запотели, — на предмет интересующего вас дела. Честно признаться, вопрос чрезвычайно деликатный. Да и не моя это тайна...

«Ага, — думаем мы с Маркусей. — Все-таки тайна».

Дядя Лева снял очки, долго тер безукоризненно чистым носовым платком, наконец вернул их на переносицу.

— В тот день, — принялся он рассказывать наконец, — когда твой отец, Яна, принес ко мне свиток и попросил о помощи, я еще ничего не знал о «лунных письмах». Мне до сих пор неизвестно, кому он принадлежит. Разумеется, я и предположить не мог, что он украден. Сразу скажу, что его сегодняшнее местонахождение мне также неизвестно... — Дядя Лева покашлял в кулак, помолчал. — Тогда пассия Олега была лишь флиртом на стороне... безобидным, в общем-то...

Я было подпрыгнула, хотела возмутиться: что значит — безобидным? Жене изменять, значит, вполне безобидное занятие? Но Марк ухватил меня за руку, силой усадил на место.

— Сегодня ситуация выглядит совсем иначе, — продолжал дядя Лева. — Во-первых, Олег ушел из семьи. Мне очень больно, Яна, за вас с Люсей. Люся для меня... Да что там говорить! Мы с ней в одном дворе выросли, как вы с Марком. Ты же знаешь, я всегда вас любил, и все вы — Буридановы — были для меня единым целым. — Он тяжело вздохнул, снова помолчал. — У Олега в новой семье скоро родится ребенок. Это во-вторых. У его... — дядя Лева замаялся, подбирая слова, — у его... гражданской жены это первый ребенок. К тому же должна родиться девочка...

Как я не напрягала мозги, хода мыслей дяди Левы уловить не могла. К чему он ведет?

— Ты, Яна, наверное, предполагаешь, что свиток находится у твоего отца? — между тем продолжал дядя Лева.

— Не у него, а у *этой его*... — почти закричала я. — Сто процентов! Она воровка! У собственной матери свиток украла! Ради денег! Все ради денег! Мы же вам рассказывали, дядя Лева!

— У матери... — задумчиво повторил дядя Лева. — Совершенно не понимаю, зачем ей нужно было его красть? Если свиток действительно принадлежит ее матери, то ей он должен был достаться по наследству...

— Так он ей и достался! Только она его продать собиралась! А мать не позволила. Хотя, как положено, преподнесла дочери свиток в день бракосочетания. Передала из поколения в поколение... — я орала, захлебываясь слюной. — Скажите лучше, сколько он стоит?

— То-то и оно, что дело вовсе не в цене... — с каким-то внутренним надрывом произнес дядя Лева. — Да ты успокойся, деточка, успокойся. Безусловно, сам по себе свиток имеет огромную историческую ценность и как предмет старины...

— Это мы знаем, папа! Скажи — сколько? Тебе удалось его оценить? — выступил в мою поддержку Марк.

— Оценить я могу лишь вещь, которую держу в руках. Я же видел свиток всего один раз и даже его не разворачивал. Тем более у меня не было возможности провести экспертизу. Да и вряд ли в моей компетенции было бы назвать реальную стоимость этого предмета. Но по предварительным данным... Нет, мне трудно даже приблизительно назвать его цену. Могу уверить, что любой музей был бы счастлив получить этот экземпляр в свою коллекцию. И не только российский, признаюсь, но и западный... Да, собственно, и восточный тоже... Более того, уверен, найдутся и любители-коллекционеры, готовые заплатить за него цену, в несколько



раз превосходящую ту, что могли бы предложить государственные структуры. В общем, обладателю этого свитка, реши он его продать, никогда в жизни не пришлось бы больше работать. Это факт. И детям его тоже. Могу себе представить, что у сегодняшнего владельца искушение продать свиток необычайно велико. Вот здесь-то и наступает время поговорить о главном...

Дядя Лева явно никуда не торопился. Просто резину тянул. Прежде чем продолжить рассказ, он вытащил из ящика стола пачку сигарет, пепельницу, зажигалку. Не торопясь закурил. И это при категорическом запрете тети Иды!?

— Я перерыл огромное количество документов, научной, духовной, эзотерической и прочей литературы, — наконец заговорил он. — Откопать в этом океане информации, в хаотичном смешении правды и лжи крупницы истины оказалось не так просто. Мне пришлось консультироваться у специалистов в очень разных областях деятельности. Не раз мне казалось, что некоторые из них не совсем... адекватны... — Он криво усмехнулся каким-то своим воспоминаниям. — Все оказалось слишком сложно, чтобы поверить в то, что я искал с таким усердием. Итак, по порядку. История «лунных писем» восходит примерно к пятому веку от Рождества Христова. За истекшие столетия она обросла множеством тайн, удивительных мифов, полных мистики и волшебства. Но одна легенда во всех источниках повторяется с завидным постоянством. Это легенда о «тысячелистном лотосе света» или «всевидящем лунном оке».

Дядя Лева с удовольствием затащился, выпустил струю дыма.

— Папа, да не тяни ты из нас душу, рассказывай! — не выдержал Марк.

Дядя Лева неторопливо стряхнул пепел, снова затащился.

— Начнем с того, что «лунное письмо» не может передаваться

иначе как по женской линии. Собственно, это вы уже знаете. Только при соблюдении данного условия сила письма распространяется на его владельца, точнее, владелицу.

— Какая сила, физическая? — поинтересовались мы с Марком.

— Не только. Физическая, конечно, в первую очередь. Считается, что «лунное письмо» как оберег защищает и хранит своего обладателя от любых болезней, словно изнутри питает его живительными соками. Но главная сила — магическая. Сила «знающих три времени»...

— Магическая? — мы переглянулись. Захотелось покрутить пальцем у виска, но исключительно из уважения к ученым степеням дяди Левы мы сдержались.

— Именно так, — не реагируя на наши ухмылочки и ничуть не смущаясь, парировал дядя Лева. — Мистическая и духовная. Древняя легенда рассказывает, что у женщины — обладательницы свитка — открываются удивительные способности. Она прозревает, словно получает в награду «третий» внутренний глаз. Во многих восточных верованиях этот мистический орган — чуть ли не обязательная принадлежность богов. Он позволял им лицезреть всю предысторию Вселенной, видеть будущее, беспрепятственно заглядывать в любые уголки мироздания. Считается, что «всевидящее око» наделяет своего обладателя даром гипноза и ясновидения, телепатии и телекинеза, умением черпать знания непосредственно от космического разума, знать прошлое и будущее. Тот, у кого открыт «духовный глаз», может наблюдать за событиями, происходящими на огромных расстояниях и в любом времени: прошлом, настоящем или будущем. В Индии этих людей так и называют: «трикала жна» — «знающие три времени».

Марк присвистнул. Я насупилась.

— «Третий глаз», — рассказывал дядя Лева, — это глаз интуиции. У разных народов он назы-

вается по-разному: Дивья Дришта, Джнана чакра, глаз Шивы или же «лунный глаз». Тот, кто наделен «духовным глазом», легко овладевает любыми знаниями. По сути, это инструмент постижения не только философских и религиозных истин, но и познания вообще. Это «глаз всеведения». — Дядя Лева полистал какие-то бумаги на столе, продолжил: — Ну, скажете вы, легенда есть легенда, выдумка, благополучно минувшая толщу времени. Только вот у этой легенды имеются вполне реальные научные доказательства. Они-то меня заинтересовали в первую очередь. Представьте себе, что современные йоги и сегодня называют «третий глаз» «всевидящим духовным глазом» или «тысячелистным лотосом света», как, например, Парамханс Йогананда в своей «Автобиографии йога». А Свами Шивананда пишет: «Точно так, как проходят лучи света через стекло или рентгеновские лучи через непрозрачные предметы, человек с открытым внутренним духовным глазом может видеть предметы за толстой стеной, знать содержание письма в запечатанном конверте или находить скрытые сокровища под землей». При этом надо особенно подчеркнуть, что, как показывают практические опыты древних времен — свидетельства древних ясновидящих, а также эксперименты наших дней, — способность восприятия и острота зрения посредством этого «глаза» никак не зависят от расстояния и времени... — Дядя Лева смял окурочку в пепельнице и тут же выбил из пачки новую сигарету. — Это, разумеется, противоречит привычным учениям о механизме восприятия. — Он щелкнул зажигалкой. — Но, представьте себе, современные ученые доказали, что лучи, которые воспринимаются «третьим глазом», не останавливаются никакими материальными преградами. Это указывает на их более тонкую материальную природу. Они не только не ограничиваются

пространством, но и не зависимы от него. — Дядя Лева снова затянулся. — Вообще, в науке существуют разные довольно любопытные мнения о «всевидающем оке». В первую очередь ученые любят напоминать о том, что у многих живых существ «третий глаз» — не такая уж редкость. У змей, например, у ящериц, способных чувствовать приближение природных катаклизмов: землетрясений, извержений вулканов, магнитных бурь. Но есть и другое мнение: эти существа могут предвидеть еще и благодаря особым свойствам «третьего глаза» — воспринимать «тонкую» информацию о будущем из информационного поля планеты. Помните легенды о «змеиной мудрости»?

Он поднял на нас глаза из-под очков, ожидая ответа.

— Помним. Но это пресмыкающиеся, — резонно возразил Марк. — При чем здесь человек? Где доказательства, что он тоже способен обладать «третьим глазом»?

— Они есть! — поднял палец дядя Лева. — И весьма убедительные. Первыми в индийские легенды о «глазе воображения и мечты» поверили английские и немецкие ученые. В восьмидесятых годах девятнадцатого века они выдвинули гипотезу о наличии у людей такого же «третьего глаза», как и у примитивных пресмыкающихся. У человека, мол, он со временем опустился внутрь черепа. Идея эта не умерла, и сегодня высказывается мнение, что этот загадочный орган не что иное, как шишковидная железа — эпифиз — небольшое, величиной с горошину, грушевидное образование, находящееся перед мозжечком. Ученые полагают, что это та самая «антенна», которая придает человеку экстрасенсорные качества, орган, способный воспринимать и излучать «тонкую» энергию — «видеть» то, что происходит вне организма и внутри него. Он же отвечает за выработку эндорфинов — гормонов счастья.

Но это еще не все! Есть предположение, что «кристаллы» эпифиза образуют главный центр человеческого организма, задающий ритм его пространственно-временного существования. Синхронизация этого центра осуществляется не без участия внешних излучений неэлектромагнитной природы, мгновенно распространяющихся от ряда космических объектов — Солнца, Луны, планет Солнечной системы. Более того, ученые полагают, что основным, фундаментальным свойством эпифиза является способность «притягивать» из пространства в момент оплодотворения... так называемый полевой фантом.

— Полевой фантом? — нахмурился Марк.

В воздухе повисло напряженное молчание.

— Душу, что ли? — неуверенно предположила я.

— По сути — душу, — кивнул дядя Лева. — Притягивать и запускать процесс ее материализации на вещественном плане.

Мы сидели ошарашенные, пытались переварить услышанное.

— Итак, что мы имеем, — решил подвести итог дядя Лева. — Женщина, получившая в наследство «лунное письмо», прозревает, получая в дар «лунное всевидающее око». Теперь она наделена рядом весьма неординарных способностей и, следовательно, имеет широкий спектр исключительных возможностей, позволяющих без особого труда достигать любых целей. Все зависит лишь от того, какие именно цели она перед собой ставит. Предположим, она мечтает о власти, желая подчинить себе массы и управлять ими. В данном случае она становится политиком или выбирает военную профессию. Таких женщин немного. Чаще «лунооких» интересуют слава и успех. И они без труда добиваются того и другого, выбирая соответствующий род деятельности. Эти женщины очаровательны, с легкостью сводят с ума всех, кого поже-

лают. Кто-то из них вполне счастливым удачным замужеством, обеспечивающим беззаботную и приятную жизнь без внутренних терзаний, праздное времяпрепровождение. Другие более тщеславны и посвящают себя карьере в науке или бизнесе. Но что бы они ни делали, все у них получается, все дается легко и без особых усилий. Недаром, помните, я говорил о гормонах счастья, вырабатываемых «лунным оком»? Эти женщины рождены, чтобы быть счастливыми и дарить счастье. Их явление на землю принесло болющему миру исцеляющее лекарство — любовь, которое способно преобразить самые сокровенные уголки человеческого сердца...

Я ни на минуту не сомневалась, что свиток у нее, у *этой его...* «луноокой». Но знает ли она сама о реальной ценности и мистической силе «лунного письма» или ее интересует лишь его материальная ценность, выраженная в денежном эквиваленте? Ведь что получается: письмо было привезено Козловым из мертвого города Хара-Хото, а не передано от матери к дочери как полагается, вместе с легендой о «всевидающем оке». Откуда мог Козлов узнать легенду? Разве что от того Далай-ламы тринадцатого, что по неизвестно причине не пожелал принять «лунное письмо» в подарок? Хотя вовсе не факт, что лама поделился подобной информацией с русским путешественником. С какой, собственно, стати? Из большого уважения к молодому советскому правительству, только что пришедшему к власти? В нашей стране то были времена смуты и неразберихи... Скорее всего, ни сам Козлов, ни его жена, ни бабушка отцовской *этой его* даже не подозревали о том, что «лунное письмо» — не простой древнекитайский свиток... То, что его легенда стала известна нам, — исключительная заслуга нашего дотошного дяди Левы, привыкшего в силу своей профессии увлекать-



ся историческими «раскопками» и, сотрясая пыль веков, докапываться до истины, какой бы неправдоподобной она ни казалась. А что, если он прав и это все не выдумка? Похоже, во мне проснулась генетическая память, а вместе с ней наша русская готовность верить в чудо...

Я позвонила отцу. Он удивился — впервые после его ухода я звонила сама, запоздало испугался:

— С мамой все в порядке? — спрашивает.

— Пап, я соскучилась, — говорю.

Он опять:

— Как мама?

— При чем здесь мама? — я обиделась. — Это я по тебе соскучилась.

— Да, — говорит.

Чувствую, рад, но не очень верить. А я не вру. Правда соскучилась. Но простить его все равно не могу. Внутри все ноет, ноет... Постоянная такая боль, щемящая...

— Может, пообедаем вместе? — спрашивает. — Или поужинаем?

Как у тебя со временем?

— Со временем, — говорю, — как обычно. Но для тебя найду.

— Тогда заеду за тобой часов в семь. Где тебя забрать?

— В институте, — говорю. — Куда поедем?

— Куда захочешь.

— Может, к тебе?.. То есть, к вам?

Он помолчал, видимо, обдумывал неожиданное предложение.

— Ты действительно этого хочешь... или... опять что-то задумала?

— Нет, — говорю, — я, пап, мириться хочу.

— Что ж, похоже, ты взрослеешь, дочь. Буду в семь. — И отключился.

С этого момента я стала частенько появляться в новом доме отца. *Эта его* округлилась и вместо того, чтобы подурнеть, как это случается с большинством беременных, только похорошела. Даже кожа не испортилась, наоборот, приобрела персиковый оттенок и бархатистость. Глаза потеплели. Она вообще стала похожа на вальяжную ленивую кошку:

мягкость в каждом движении и вся такая... изысканно грациозная.

Иногда я даже оставалась у них на ночь. Правда, маме ничего не говорила, врала, что ночую у подружки.

Вскоре мне и вовсе ключ от дома дали, на всякий случай. Именно этого я и ждала.

С самого первого дня мысленно искала тайник, где мог бы храниться свиток. Таких мест в квартире было сколько угодно. Но однажды при мне прозвучало слово «сейф», и я поняла, что свиток спрятан именно там. Место нахождения сейфа вычислить не составило труда. Он был где-то в их спальне. Оставалось туда проникнуть и отыскать заветный предмет. Однако для этого нужно было остаться в квартире одной. Это оказалось самым сложным. Отец ежедневно пропадал на работе, как все нормальные мужики. Но *эта его* на последних неделях беременности почти совсем не выходила из дома. Да и мне торчать все время у них в ожидании, что все куда-нибудь смоются, было неудобно.

Однажды мне все-таки повезло. *Эта его* уехала к врачу на очередную консультацию. Я прикинула — в моем распоряжении минимум полтора часа. К делу.

Сейф нашла сразу. Он был спрятан в платяном шкафу за стопкой постельного белья и намертво прикручен к задней стенке. Предстояло его открыть. Если код вводила *эта его* — шансов у меня зего! Остается надеяться, что код забивал отец. Логика его мышления была мне более или менее понятна. У отца на все случаи жизни имелся один единственный пароль — «король». Мы так играли в детстве... В моем детстве. Он звонил в дверь, а я в домофон спрашивала: «Пароль?» «На горшке сидит король», — отвечал он басом, и мы оба хохотали, как ненормальные. С тех пор и повелось.

Я посмотрела на сейфовый код — цифры. Шесть знаков плюс решеточка. Правила пользования сейфом написаны прямо на двер-

це. «К-О-Р-О-Л-Ь» — шесть, но не цифр, а букв. Что же, попробуем перевести их в цифры. Это элементарно. Не зря же я в интернетовском IQ-тесте сто двадцать пять процентов с первого раза заработала. Итак: «К» — 12-я буква алфавита, «О» — 16-я, «Р» — 18-я, снова «О», «Л» — 13-я, «Ь» — 32-я. Ничего не перепутала? Пересчитала еще раз. Правильно. Все цифры двузначные. Многовато получается. Попробуем взять только первые: 1-1-1-1-1-3... Решеточка... Не открывается. Только вторые: 2-6-8-6-3-2... Снова промах. Неужели я на ложном пути? Что же делать? Так, без паники. Нука, попробуем взять сумму каждых двух цифр: «К» — это 12, складываем 1 и 2 получаем 3. «О» — это 1 + 6 = 7... Результат: 3-7-9-7-4-5... Что и требовалось доказать! Сейф пикнул, мигнул зеленой лампочкой и открылся.

Деньги, документы... Все это меня не интересовало.

В самой глубине лежала длинная металлическая коробочка из-под какого-то импортного алкогольного напитка. Внутри, завернутый в кусок черного бархата, покоился заветный свиток.

Я аккуратно откинула ткань, руки заметно дрожали.

Ничего особенного. Рулон какой-то твердой материи — не то пергамента, не то холста. Возможно, это и есть один из сортов древней бумаги — рисовой или конопляной, о которых мы читали в статье. Свиток выглядел таким древним и ветхим, что его не то что разворачивать, в руках держать было страшно, того и гляди рассыплется в прах. Перевязан лиловой шелковой лентой, хорошо сохранившей цвет. Понохала. Никаких благовоений, только пыль. Чихнула. Неужели вот за эту рухлядь кто-то готов платить бешеные деньги? Верится с трудом. Я, конечно, понимаю, что свитку несколько сотен лет. Но ведь за время не платят... Или, может, именно за время и платят? Время — деньги,

понятно. Куча времени — куча денег! Представляете, если бы каждый год стоил всего один доллар... Несколько столетий... Несколько сотен долларов. Нет, пожалуй, маловато будет. А если по доллару за день? Мама милая, это сколько же получается? На эти деньги можно не только какую-нибудь престижную коммерческую школу окончить в Лондоне, например, а сам Оксфорд или Йель! А уж потом поселиться в Лондоне. Прикупить домик в крутом квартале. Небольшой, уютный... Мне много не надо. Машинку какую-нибудь. «Бентли» или «мазерати» на худой конец. Ездить отдыхать куда-нибудь на Сейшелы-Мальдивы. Путешествовать по миру, чтобы не засиживаться в дождливом Лондоне. Да! И родичей поселить рядышком, на соседней улице. В гости друг к другу по воскресеньям ходить. Пусть внуков воспитывают...

Мысли о внуках-детях-новорожденных вывели меня из праздных мечтаний.

Нужно было торопиться. Я все-таки слишком долго провозилась с кодовым замком...

Телефонный звонок, как часто пишут в романах, разорвал ночную тишину. Я вскочила, будто ошпаренная, кинулась к трубке.

— У меня родилась дочь, — сказала трубка голосом отца.

— Поздравляю! — заорала я, запоздало удивляясь собственной радости. — Во сколько?

— Позавчера, — ответила трубка глухо.

— Почему ты звонишь только сейчас? — опешила я. — Почему не сообщил сразу?!

— Она... — отец замолчал, будто прервал себя на полуслове. Мне показалось, трубка всхлинула. Из спальни вышла мама, бледная, лохматая, в мятой ночной рубашке, встала рядом, подперев косяк.

— Она... — отец снова помолчал и, наконец, решившись, выдохнул: — Она глухонемая.

Тишина сдавила барабанные перепонки, мир качнулся, поплыл, переворачиваясь с ног на голову, словно в замедленном кино.

— Врачи... — отец говорил тихо, словно с того света. — ...пока не могут дать гарантий, что ребенок будет нормальным. У нее серьезные отклонения. Возможно, генетические.

Нет, он не плакал. Он просто рассказывал. Он жил с этой болью уже вторые сутки и больше не мог выносить ее в одиночестве...

— Как... роженица? — спросила я, и мир вернулся на прежнее место. — Она в порядке?

— Моя дочь не закричала, появившись на свет. — Отец, кажется, меня не слышал. — Стало быть, ей нечего сказать этому миру. Она не реагирует на звуки. Совсем...

— Как Жанна, папа? — я впервые назвала ее по имени.

Трубка снова помолчала, потом заговорила уже совсем другим, жестким металлическим голосом:

— У Жанны все хорошо. Уезжает в Швейцарию. Навсегда.

— Как уезжает? — не поняла я. — Почему навсегда? Она надеется там вылечить девочку?

— Нет. Вылечить ее невозможно. Ребенок остается в доме малютки.

— Что? Здесь, в России? — я совсем растерялась. — Жанна отказывается от своего ребенка? Папа, да она сумасшедшая, папа!

Трубка молчала.

— Папа, ты меня слышишь? Папочка, только не молчи, ты слышишь меня?

Он не отвечал, но я знала, чувствовала, он здесь.

— Олег, — мама взяла трубку.

— Да, Люся, — отозвался он.

— Что ты собираешься делать? — Лицо исказилось болезненной гримасой. Это было первое проявление чувств за последние месяцы. Пусть негативное, но живое, человеческое...

— Жить, — ответил отец. — Жить, не выбирая из двух охапок. Свой выбор уже сделал. Моя охапка пахнет... молоком... — Он задумался,

добавил: — А еще ванилью и земляничкой... Весной...

По широкой лестнице дома малютки спускался мой отец. Одной рукой он крепко сжимал длинные неудобные ручки люльки-трансформера, другой — объемную сумку с веселеньким детским рисунком. Под мышкой он тащил розового плюшевого медведя размером с настоящего. Следом шла нянечка с белоснежным кулком в руках. Отец неловко перехватил сумку, оступился, чуть не упал, удержался, вскинул голову и вдруг остановился, будто напоролся на невидимую преграду. Внизу у дверей стояла мама и смотрела на него, слегка откинув голову назад. Я пристроилась за ее спиной. От неожиданности отец не удержал медведя, и тот неуклюже покатился по ступенькам, кувыркаясь и ударяясь то пухлым боком, то головой. Я бросилась спасать это глупо-розовое, ни в чем не повинное животное. Схватила, прижала, будто жалея, будто он мог почувствовать боль. Родители все стояли, молча глядя друг на друга, долго-долго, целую вечность. Нянечка, не выдержав, засеменила по ступенькам вниз:

— Вот ведь папаша, встал столбом. Не видишь — ждут тебя! — и, привычно перехватив сверток, вручила его маме.

— Держите свое сокровище.

Мама неуверенно приняла кулек. Если бы я была писателем, наверное, я сумела бы описать всю гамму чувств, промелькнувшую на ее лице за какие-то доли секунды. Еще недавно так сильно, до физической боли ненавидевшая этого не рожденного младенца, теперь она смотрела на него так, будто Господь явил ей восьмое чудо света. Морщины, углубившиеся за последние месяцы, неожиданным образом разгладились, уголки губ приподнялись. Мама улыбалась новой жизни, за которую теперь была ответственна. Улыбалась маленькой девочке, которой нечего было сказать этому миру. И она уже любила ее — кро-



щечную и беззащитную — с первого взгляда, с первого мгновения, с самого первого прикосновения.

Я стояла в двух шагах, обнимая глупого медведя, уткнувшись в мохнатую розовую морду, чтобы никто не увидел моих мокрых глаз.

Папа наконец спустился, поставил люльку на широкую ступеньку и осторожно, словно боясь спугнуть кого-то невидимого, обнял маму за плечи. Потом они вместе уложили кулек в люльку, укрыли крошечным одеяльцем.

— Ну что, Буридановы, пора домой, — сказала мама и сама подхватила люльку, словно не доверяла наше сокровище больше никому, даже отцу. — Будем живы — не помрем! Шиковать, может, и не придется, но уж справимся как-нибудь. — Она подмигнула малышке, тяжело вздохнула...

Посадив медведя на ступеньку, я вытащила из сумки кусок черного бархата и, не обращая внимания на удивленные и настороженные взгляды родителей, аккуратно развернула древний свиток, перевязанный лиловой тесемкой. Очень-очень осторожно положила его малышке в люльку, прикрыв кружевным уголком белоснежного одеяльца.

В этот момент гулко хлопнула входная дверь.

Крошечная девочка, не издавая до сих пор ни единого звука, неожиданно вздрогнула, сморщила красное личико, активно задвигала носиком-пипкой, тревожно завозилась и вдруг закричала изо всех своих новорожденных сил пронзительно и громко, звонко и радостно. Жизнеутверждающе...

Где-то в далеком Тибете, словно услышав через тысячи километров младенческий крик, поднял голову к бездонному небу старый Далай-лама. Его обветренное, иссушенное солнцем лицо озарилось улыбкой.

В петербургской квартире оторвалась от книги Елена Карповна Четыркина. Прислушалась, улыбнулась, вздохнула глубоко и покойно.

За письменным столом в своем кабинете закурил очередную сигарету дядя Лева. Не отвлекаясь от работы, лишь вскинул глаза из-под очков, тоже улыбнулся...

Розовый медведь смотрел черными глазами-бусинами. Его глупая пушистая морда растянулась от уха до уха в счастливой ласковой улыбке.

Люксембург

Владимир КОРКУНОВ



Чириков Е. *Отчий дом* / Вступительная статья,
комментарии М. В. Михайловой,
А. В. Назаровой. — М.: Эллис Лак, 2010.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАСЫНОК

Когда первые книги пятитомной хроники-эпопеи Евгения Чирикова «Отчий дом» увидели свет, оказалось, что позиция автора не принималась ни одним из лагерей — ни большевиками (которые у Чирикова предстали в виде порождений ада), ни, казалось бы, своими — эмигрантами, «благородными» белыми.

Как же так? Разве не должны люди, покинувшие родину, сплотиться, объединиться, сохранить то эфемерное, что оставалось в них от родной земли? Оказалось, нет. С грустью писал Евгений Чириков, что в эмигрантской среде процветает «партийное кумовство». С удивлением и болью отмечал (в письме Александру Дехтяреву), что оказался не нужен никому: «Эмигрантская литература пребывает в исключительном положении: партийность и личные отношения, кружковщина, конкуренция в заработках (мы как зайцы на заливаемом разливом островке!), кумовство в критике и в редакциях журналов и газет. Тесно и душно. Я, как человек вольного образа мыслей и чувств, не желающий принимать никакого «пострижения», нигде не ко двору. Для одних я неприемлем политически, для других, вероятно, устарел, для третьих — личные счёты по прошлому».

Как же такое могло случиться, если Чириков, подобно большинству эмигрантов-писателей, сурово осуждал социалистическую революцию: «Великого провокатора пустили в Россию и дали ему возможность повести за собой слепой народ и предать его, как Иуда Христа, на пропятие (распятие. — В. К.) во славу III Интернационала»? Дело в том, что Чириков не принимал до конца ни одну из сторон (особенно в радикальных ее проявлениях), считая, что в последствиях революции, в том, что миллионы русских

«были объявлены врагами своей родины и изгнаны за ее пределы», виновны не только революционеры, но и сами эмигранты. И это делало его персоной нон грата во всех политических лагерях.

Что побудило Чирикова к такому самоотречению, самоустранению, добровольному «творческому мученичеству»?

Судьба близко сталкивала его с представителями противоборствующих лагерей. С Лениным (тогда еще Ульяновым) Чириков участвовал в студенческих волнениях 1887 года, и, вполне ожидаемо, был отчислен из Казанского университета. Ссылки, преследования, инакомыслие — Чириков боролся не за истину (которую и с расстояния-то не углядишь), а за правду. Правдивым был и поступок «однокашника» — когда Чириков после Октября начал выступать против политики большевиков, Ленин отправил ему записку: «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если вы не уедете».

И он уехал. И писал, обосновавшись в Праге, романы и повести, рассказы и воспоминания... Он не посвящал жизнь борьбе; психологизм его произведений, прекрасные детские произведения создавали Чирикову славу большого художника слова.

А в это время в советской России он удалялся с общих фотографий — врага народа не следовало знать в лицо, о нем вообще не следовало знать.

Как мы говорили, в «Отчем доме» Чириков не принял однозначной позиции — осудить одних, «выбелить» других, было против *его* правды. Чириков, по меткому выражению авторов вступления к новому изданию «Отчего дома» Марии Михайловой и Анастасии Назаровой, «выпорол всех». В самом



деле, семья, которая рисуется в эпопее, «семейной хронике», представляет собой разнородное «общество», преисполненное самых различных взглядов. Патриархального уклада вкупе с семейным уютом в ней явно недостает — время было такое... Или люди такие?

Люди действительно были *такими*. Семейная хроника Чирикова рассказывает об одном поколении Кудышевых, и в доме Анны Михайловны — матери героев повествования — не все спокойно. Во-первых, в семье нет мира. Нет уважения к памяти, чести, благородства... Хотя постойте. Тот ли это Петр, что, вырезав портреты предков из рам и вознамерившись их продать (а как же — кушать хочется!), становится героем русско-японской войны?! Как сочетаются смелость и подвиг — с подлостью и эгоизмом? Может быть, не все спокойно не только в семье Анны Михайловны, но и в Никудышевке — имении Кудышевых? Может быть, беспокойно в стране?

Они, Кудышевы, приверженцы самых разных политических течений — от дворянства до экстремизма — и любят домочадцев порой весьма стран-

ной любовью. Один из внуков величает бабушку крокодилком, а она сама не признает другого, прижитого... «Отчий дом становится проходным домом», — замечают авторы вступления. Улей, одним словом.

Удивительно ли, что, склеенные духовным разобщением, герои ощущают себя одинокими, вернее, не чувствуют единства? Одиноким себя чувствовал и Евгений Чириков. Глубоко переживавший сложившуюся вокруг него атмосферу отчуждения, он никак не мог взять в толк, отчего «в библиотеках на них (книги. — В. К.) очереди месяца на три, вообще читатель меня любит, но... напишешь повесть и не знаешь, как с ней быть», — его если и печатали, то изредка. Обмануть можно кого угодно, даже себя, но читателя?

Чириков понимал это, но смириться не мог, как не может смириться с несправедливостью ни один настоящий художник: «Меня переводят на немецкий, датский, шведский, испанский... но в эмигрантской литературе я — пасынок». Он и был пасынком для всех *борющихся* лагерей, но был и писателем — для тех, кто отстаивал по три месяца, чтобы взять в руки заветную книжку.



Алый парус: Литературно-художественный альманах (поэзия, проза, драматургия, публицистика).

— М.: Центр образования № 654 им. А. Д. Фридмана, 2009.

АЛЫЙ ПАРУС, ПАРНАС И ПЕГАС

Издание литературно-художественного альманаха «Алый парус», выпущенного в честь 70-летия центра образования № 654 им. А. Д. Фридмана, — определенно замечательная инициатива, позволяющая ребенку не только развиваться творчески и реализовать замыслы на бумаге, но и поделиться ими с читателем. Можно, конечно, корить юных поэтов

и прозаиков за первые ляпы и неумелые рифмы — но к чему? Когда-то первые строчки рождались и у признанных мастеров слова, и никто не скажет, что они стали бриллиантами их творчества.

Важно другое — путь человека, с чего-то начавшего и к чему-то пришедшего. С этой точки зрения альманах «Алые паруса» интересен, он от-

крывает перед читателем палитру равнодушных к окружающей действительности ребят. Удручает, правда, факт, что не совсем понятно, кто перед нами — ученик, выпускник или преподаватель. Указание школьных классов есть лишь у десятка фамилий, остальные же...

Поэтический раздел альманаха — самый объемный. Он вместил в себя работы двадцати трех авторов разных эстетических вкусов и направлений. Большинство, конечно, отдают дань традиционному силлабо-тоническому стихосложению, но есть и те, кто экспериментирует. Талантливые строки встречаются, однако, не только у набивших руку в сложении стихов, но и у совсем юных. Дарина Гончарова из 3 «Г» класса поделилась картинкой: «Осенняя пора. / Чугунная скамейка. / Зажженная свеча / В туманном фонаре». Правда, недурно? Мило и трогательно, вызывая произвольную улыбку, звучат стихи Вари Носовой из того же класса: «Ранним осенним утром / Веселый шалун ветерок / Резвился в кленовой аллее, / Срывал за листочком листок, / Кружил их в волшебном танце, / Подбрасывал, вновь ловил, / Троллейбус догнав, аккуратно / К окошечку их прилепил. / И улыбался счастливо / Утренний пассажир: / Чудесную аппликацию / Осенний денек подарил». А уж какой на одной странице со стихотворением нарисован щеночек — не захочешь, а умилишься. Вот она, сила искусства. И отодвигаются, смущаясь и шелестя страницами, томики Ахматовой и Есенина — не их сегодня день! Действительно, детское слово подчас настолько наивно-трогательно, что ловишь себя на мысли: а ведь это действительно чудесная аппликация, именно такая, из третьего класса. И переносишься туда, только в свой третий класс, к вырезанию своей аппликации, хранящейся в застывших папках памяти.

Тех, кто постарше, волнует уже не аппликация, а та самая, которую поэты всех мастей рифмуют со словом «кровь». Дженни Смирнова начинает стихотворение так: «Весна... наивная улыбка... / Любовь... прекрасная страна...» Вторит ей, пускай и в несколько иной манере, Агриппина Корзинкина: «Я птица, ты клетка моя: / О прутья ломаю крылья». Михаил Каненгисер, правда, не разделяет прелестей любви и обречения себя на добровольные страдания: «Зачем придумали любовь, / Когда душа все время плачет...» — вопрошает он.

Пробуют себя творческие представители школы-юбилея и в хокку («Столб света / Среди дождя. Вы / Тоже видели Бога» — Русина Лекух), и в жанре сказа (Анастасия Фундобная), распisanного

аж на восемь действующих лиц и по манере исполнения неуловимо напоминающего «Сказ про Федота-стрельца» Леонида Филатова.

Лавры самого оригинального автора стяжала Алиса. Посмотрите, как вам такое: «я совсем не люблю в кадках пальмы / я ценю черный цвет, но глубоко в душе / я люблю канары / сейшелы / багамы / еолёвки / а приходится перчатки_сапожки_шарфик_на_шею». По мне так очень недурно. Самое-то главное — что? Развивается творческое мышление. И примененный графический эффект — однозначно в плюс. Как-то он со времен основателя русской книжной поэзии Семиона Полоцкого, который был признанным экспертом в графической поэзии, позабылся.

Представлена Алиса и в разделе прозы. Ее небольшой, но символично названный рассказ «Лиса» — полумистическая зарисовка о даме — любительнице путешествий, прикупившей в Индии каменную фигурку оборотня-лисы. В самом конце рассказа читаем: «А глаза как живые блестя! И хвостик — волосок к волоску, того и гляди зашевелится». Даже жалко стало, что на этой ноте рассказ оборвался. Что-то будет дальше...

Авторов-прозаиков меньше, чем поэтов, что легко объяснимо. Все-таки проза — для людей более усидчивых и методичных. Но отрадно, что восемь прозаиков все же представлены на страницах книжки. Рассказы в основном как у Алисы — миниатюры.

Ну а завершает «Алые паруса» раздел публицистики, собранный, что называется, со вкусом. Одно описание посещения венгерского зоопарка (Ольга Федотова) чего стоит! Легко и непринужденно, но в то же время весьма занимательно автор описывает зверюшек, словами-детальками оживляя их. Словно и мы побывали в этом зоопарке.

А ведь есть еще материалы о японских иероглифах (вы знали, что на японских компьютерных шрифтах есть русский алфавит?), Ван Гоге и Ирвинге Стоуне... А статья выпускающего редактора школьной газеты Ирины Елизаровой, примеряющей яркую ленту со словом «Выпускник», трогательна и пронзительна.

Нет, в самом деле, повезло детям учиться в этом центре образования. И знания, судя по статусу, получают на уровне, и на Парнас поглядывать не забывают. А добираются туда вместе с Пегасом, примерившим, ради разнообразия, «Алый парус». Он, расположившись на обложке, приглашает в это путешествие и читателя.

Юлия ГИАЦИНТОВА



*Тахо-Годи Е. Неподвижное солнце:
Стихотворения. — М.: Водолей, 2012. — 192 с.*

СОЛНЦЕ ЛЮБВИ

Женская натура — загадочна. Еще более загадочно и парадоксально женское поэтическое начало. Вышедшая совсем недавно книга известного современного филолога и поэта Елены Тахо-Годи притягивает к себе чем-то неуловимо-таинственным. Далеко позади остались смуты, потрясения и невероятный поэтический порыв Серебряного века, но осколки его и сейчас блестят драгоценной россыпью, и, если поднять один такой осколочек, понимаешь, что было тогда — есть и сейчас, «все течет, все меняется», но остается то главное и вечное, ради которого, в общем-то, и существует Поэзия. Об этом и великие слова классика Серебряного века, поэта и философа Владимира Соловьева:

Смерть и Время царят на земле —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Этим смыслом наполнена и книга стихотворений Елены Тахо-Годи «Неподвижное солнце». Задумчивость и глубина, исходящая из тютчевского наследия, откуда соотношение человеческой жизни с природой, бренность всего земного, острое ощущение времени, и мандельштамовская тонкость характеризуют авторский голос.

С каждым мигом все тесней
Кроны сосен —
Так наступит и твоей
Жизни осень.

Традиционно чтение книги — это прикосновение к прекрасному, к чему-то обособленному от со-

временной суеты и навьюченности всяким скарбом нашего бытового существования... К сожалению, современная книга стихотворений в большинстве своем не оставляет ощущения такого прикосновения к прекрасному, а наоборот, зачастую еще больше навешивает на читателя груз из «тысячи тонн словесной руды». Здесь же все совсем наоборот — откровенность, немногословность и музыкальность выражают гораздо большее, оставляют возможность задуматься:

Почему мы вспоминаем Бога,
Если на душе опять тревога?
Для чего к Нему идем в печали?
Если в радости Его не замечали?

Всей книги задан тон уходящего, утекающего, как сквозь пальцы песок, времени, и мы ощущаем его непосильную для человеческого восприятия безжалостность ко всему («И нет различья никакого — бумаги лист или душа»), автор передает это с горечью и опытом собственных потерь, с невымысленными и ненадуманскими страданиями, отсюда и искреннее непонимание, неприятие настоящего:

Лампа горит на веранде.
Рисует меня художник.
Он думает, что рисует
Этим вечером мой портрет.

Белая бабочка бьется
В черные стекла окон.
Брось карандаш, художник! —
Здесь меня нет давно.

Я там, где живет любимый,
Любимый мой и далекий.
Я навсегда улетела
В тот город, где он живет.

Вечер. Горит на веранде
Лампа. Я вижу сквозь стекла:
Кого-то рисует художник.
Зачем он рисует ее?

В этих строках чисто женское неприятие времени, плач и неподвластная логике мольба о чем-то ирреальном, бесконечном. Желание разрушить земной мир и выдумать свой или переместиться в пространстве в далекое прошлое, в детство:

И только когда к полуночи
Забудусь, усталая, сном,
Я вижу в виденьях непрочных
Знакомый с младенчества дом,

И девочку в черных кудряшках
В горячей траве цветника,
И в потной ладошке букашку,
Похожую на светляка.

Такой выдуманный мир и есть поэзия, которая вне времени, вне какой-либо логики. Все стирается временем, но остается память, как маленькая коробочка с огромным богатством радостей и горестей, память, которая неразделима с человеком до конца дней его, которая спасает и исцеляет от одиночества и страха.

Книга Елены Тахо-Годи «Неподвижное солнце» — это личное преодоление автором Времени, которым она от всей души делится с читателями, и будем верить, что Солнце, как символ жизни и созидания, поможет всем нам. Главное — хранить его в своем сердце.



Продолжение. Начало в № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за 2012 г.

АГЕНТУРНЫЙ РОМАН

Глава VIII. Цеховики

В ожидании расстрела Сивый с горечью думал о дорогом колье, зашитом им в цветастое платье подаренной сожительнице Ульяне куклы: «Так и не удалось воспользоваться богатой добычей, взятой при налете на квартиру Бодровых. Я, обнаружив колье среди ценностей в тайнике, сразу понял реальную стоимость женского украшения и заначил его от поделщиков. Отложив бриллиантовую цапку на черный день, решил спрятать ее понадежнее и посчитал таким местом квартиру Ульяны. Расчет был правилен: у дочки бывшего сотрудника милиции искать краденое имущество не станут. Если бы этот придурок Жора не взял для собственной потехи пепельницу с голой бабой, у Ульяны в доме и обыска не стали бы проводить. Интересно, откуда красноперые об этой срамной вещице пронюхали. Небось сам Жорка язык распустил и хвастался перед дружками удачным приобретением. Ну и навел, сволочь, мусоров на дом родной сестры. Хорошо еще, что тщательно дом Ульяны не шмонали. К тому же я надежно припрятал украшение, зашив его в оборки широкого цветастого платья розовощекой куклы. Жаль, если Ульянка так и не узнает о существовании дорогого колье и ненароком выбросит обветшавшую со временем куклу на помойку. Хотелось бы осчастливить девку неожиданной находкой хотя бы после моей смерти. Только Ульянка девка простодушная и вряд ли поймет истинную цену находки. Впрочем, это уже не мои заботы».

Когда Сивому объявили об отказе в помиловании и сразу повели к выходу из камеры, он ощутил, как дрожь прошла по телу. Но бывалый уголовник усилием воли взял себя в руки и, отключив поток мыслей о предстоящей кончине, уставился вниз, тупо разглядывая щербинны на шероховатой поверх-

ности пола. Звуча выстрела, разможившего ему затылок, он даже не успел услышать.

...Прошло двенадцать лет. Наводя порядок в квартире, Ульяна решила избавиться от ненужного барахла. Одной из первой наметила к выбросу на помойку куклу с выцветшими глазами и поблекшим от времени платьем, когда-то подаренную ей любовником. Небрежно бросив на пол давно отслужившую вещь, Ульяна услышала, как что-то твердое глухо стукнуло о половицу. Заинтересовавшись, нащупала в оборках платья какой-то длинный и гибкий предмет. Поспешно вспорола материю, и на ее ладонь выпало извивающееся змеевидное тельце поблескивающего камнями колье. «Не иначе как Сивый с какой-то кражи вещицу дорогую припрятал да мне на сохранение втайне подкинул. Вот сволочь, ведь мог всерьез подставить под уголовное дело как соучастницу. Интересно, сколько такое украшение может стоить? И спросить некого: Сивый расстрелян, брата убили уголовники в лагере, а отец умер от горя, когда еще суд над Жоркой не закончился. Мужем не обзавелась. Придется самой решать, как это украшение продать, не сдавать же его добровольно в милицию. Легко сказать “продать”, а кому и за сколько? Не пойдешь же на базар и не выставишь такой товар на прилавок рядом с петрушкой и луком. В ломбард или комиссионку тоже не потащишь. Сообщить в милицию? Те могут спросить, откуда вещица. Сказке о подарке доброго барина бабушке, служившей в юности у богатых господ, вряд ли поверят. Но и привлечь к ответственности не смогут. Не те нынче времена. Но неприятности в любом случае мне ни к чему. А что если обратиться за помощью к мастеру из ювелирной мастерской? У него наверняка есть богатые клиенты, желающие приобрести красивое

колье. Пообещаю ему магарыч. Пусть найдет покупателя».

Ульяна вспомнила, как годом ранее обращалась в ювелирную мастерскую в центре Москвы с просьбой закрепить бирюзовый камушек в серебряном кольце. Решившись, с утра поехала в Москву. Зайдя в мастерскую, дождалась, когда наконец уйдет кавказец, получивший после растяжки золотой перстень. И сразу, словно в жару бухнулась в ледяную воду, протянула мастеру найденное в кукле сокровище:

— Хочу продать это украшение. Деньги нужны.

Увидев дорогое бриллиантовое кольцо в руках у бедно одетой женщины, ювелир с трудом взял себя в руки. «Похоже, это не подстава ОБХСС или КГБ. Те так топорно не работают. Можно, конечно, для подстраховки сообщить в компетентные органы. Да что от этого толку? Ну, раскроют они очередную квартирную кражу, улучшат свою отчетность. Да мне какой прок? Зато, рискнув, могу мигом обогатиться. У меня как раз имеется заказчик на подобную вещицу. Подпольный миллионер Семен Григорьевич даст цену высокую, да еще подкинет процент за услугу. До сих пор цеховик никогда не обманывал. Уважит и сейчас. Об отказе от такого выгодного гешефта буду жалеть всю жизнь».

Приняв нелегкое решение, ювелир не стал юлить:

— Слушайте, гражданка, я мог бы вызвать милицию, которая заинтересуется, откуда у вас такое ювелирное изделие. Но я не стану этого делать, понимая, что вы сюда пришли не от хорошей жизни. Видимо, нужда приперла. Сколько вы рассчитываете выручить за кольцо для ощущения полноты счастья в жизни?

— Ну, если дадите тысяч десять-пятнадцать, благодарна буду до конца дней своих.

«Она явно не знает истинной стоимости принесенного украшения. Значит, это не милицейская подстава. Можно смело продолжать игру».

— Ну что же, цена разумная. Вам повезло: два дня назад ко мне обратился не очень бедный человек, желающий приобрести подобную красивую вещицу для подарка любимой жене на серебряную свадьбу. Даже деньги оставил: двадцать тысяч. Я вам дам, как вы и просили, пятнадцать, а себе оставлю за посредничество пять. Это справедливая цена: мой риск за посредничество в нелегальной сделке не ниже вашего. Так по рукам?

Возможность заполучить сразу огромную сумму за случайно доставшееся опасное для хранения украшение сдавила волнением горло, и Ульяна лишь смогла кивнуть в знак согласия с заманчивым предложением. Ювелир наклонился и вытащил из нижнего ящика стола пачки денег, ловко упаковал

их в коричневую плотную бумагу, туго перевязал крепким серым шпагатом, строго наказал:

— Бери и езжай домой. Да держи язык за зубами. Трать понемногу, не привлекая внимания досужих подруг и завистливых соседок. Не то подведешь и себя, и меня. Не забудь, я поступил с тобой честно, и ты мне не отплати черной неблагодарностью: выйдя за порог, забудь о моем существовании.

Когда женщина, опасливо прижимая к груди хозяйственную сумку с деньгами, торопливо вышла на улицу, ювелир набрал номер телефона богатого заказчика:

— Слушайте, Семен Григорьевич, ко мне сегодня случайно приплыла интересная для вас штучка. Думаю, тысяч на сто потянет. Да вы не станете торговаться, когда ее увидите. Сами понимаете, я ее долго держать не могу. Слишком рискованно. Бросьте все и подъезжайте ко мне прямо сейчас. Поверьте, старинное кольцо этого стоит.

Произнеся последнюю фразу, ювелир был уверен в скором появлении заинтересованного в приобретении дорогих побрякушек клиента. «Этот ловкач, зарабатывающий кучу денег на бесплатном труде психически больных, изготавливающих модные рубашки в мастерских для трудотерапии, жаждет вложить свои тайные накопления в вечные антикварные ценности. Ну и я хочу поиметь свою долю в перераспределении прибавочной стоимости».

И с юмором вспомнив полученные в молодости знания по политэкономии, золотых дел мастер довольно рассмеялся собственной шутке.

Уже через полчаса Семен Григорьевич Меламед появился в ювелирной мастерской. Увидев кольцо, покрутил его перед глазами, наслаждаясь переливающимся блеском драгоценных камней. Но тут же, сумев скрыть свой алчный интерес, с деланой иронией спросил:

— И ты, Илья, искренне считаешь, что за набор мелких бриллиантов можешь требовать целое состояние, которое лично я собирал по крохам годами, рискуя свободой и недосыпая от страха по ночам?

— Я сказал реальную цену. Ну, могу сбавить с десятка тысяч. Учти, я выложил за кольцо огромную сумму. Надо же и мне иметь свой небольшой гешефт.

— Илюша, мы знаем друг друга много лет. Не надо портить наши отношения из-за пары десятков тысяч родных советских рублей. Тем более что мы не собираемся уже завтра на погост, и эта наша сделка не последняя. Даю тебе семьдесят тысяч и уношу старинное изделие прямо сейчас. И мы тут же забываем о существовании друг друга, пока не появится весомый повод вновь встретиться. Советую согласиться. Ты же знаешь — со мной так же надежно, выгодно, удобно иметь дело, как хранить деньги в сберега-



тельной кассе. Сам понимаешь, доверие между деловыми людьми ценится дороже любых денег. Тем более, как я понимаю, свой хороший навар ты уже успел поиметь.

— Хорошо, я согласен. Деньги у тебя с собой?

— Обижаешь, Илюша. Сейчас я выйду на улицу, махну рукой, и небезызвестный тебе Мишка-боксер занесет деньги в мастерскую. Давай вывешивай табличку «Закрывается по техническим причинам».

Производя расчет, довольные провернутой сделкой дельцы расстались. Сопровождаемый коренастым мастером спорта, Семен Григорьевич благополучно добрался до своей дачи и, отпустив боксера, поместил сокровище в один из трех оборудованных в разных местах тайников. Его расчет был прост: «В случае провала и шмона легавые, обнаружив один из тайников, могут посчитать обыск законченным и прекратить дальнейшие поиски».

Во всяком случае, подобная мысль о вероятном спасении от конфискации значительной части накопленных путем махинаций сокровищ внушала ему надежду и смягчала ужас перед неминуемостью отбытия наказания в колонии строгого режима.

Вернувшись домой с дачи, Семен Григорьевич Меламед велел жене его не беспокоить и закрылся в рабочем кабинете. Ему надо было собраться с мыслями и решить, продолжать выгодное дело или уже пора сворачиваться и затевать что-нибудь новенькое. «Конечно, налаженное мной производство по пошиву мужских рубашек на предприятиях, где работают душевнобольные люди, дает стабильный, непомерно большой по советским меркам доход. Меня счастливо осенило, когда я узнал, что в процесс излечения психбольных в диспансерах входит трудотерапия. Задействовал все свои связи среди высоких чиновников, получил санкцию на благородное дело — организацию цехов по пошиву ширпотреба. И удачно восполнил дефицит модных мужских рубашек из неучтенного трикотажа. Шизофреники оказались идеальными рабочими. Их можно эксплуатировать без оглядки на трудовой кодекс, да и в свидетели по уголовным делам они не годятся из-за своей психической ущербности. С реализацией проблем не было. Торгаши берут товар вагонами. Им в новые времена, после оттепели, бояться нечего: только отчисляй наверх, в горторг, часть доходов и регулярно подкармливай сотрудников ОБХСС. Я сам одну пятую своих доходов на содержание влиятельных людей выделяю и не жалею: безопасность прежде всего. Переродились ныне коммунисты. Под лозунгом борьбы со сталинскими репрессиями сумели поставить правоохранителей под контроль инструкторов райкомов и горкомов партии, дорвавшихся до сытой кормушки. Инте-

ресно, среди партийных бонз осталась хоть парочка честных, верящих в построение коммунизма людей? Впрочем, это не мое дело. Главное, чтобы отмазали меня в случае провала. Хотя это вряд ли. Если запахнет жареным, то вмиг все отвернутся, да еще поторопятся расстрелять, как директора Елисеевского магазина Соколова. Им так спокойнее: мертвые надежно держат язык за зубами».

Семен Григорьевич подошел к бару, достал бутылку с дорогим заморским напитком и, налив полстакана, медленно, с удовольствием выпил. Закусив кусочком шоколада, прислушался к своему внутреннему состоянию. И убедившись, что неясное чувство тревоги не ушло, а лишь притупилось, затаившись на дне души, вновь ясно осознал наличие бродящей поблизости опасности. «Вроде бы все идет нормально. Торгаши от меня имеют огромную прибыль, и им выдавать меня не резон. Директора, мухлюющие на предприятиях с неучтенным трикотажем, за поставку мне материала на рубашки свою немалую долю получают. И с их стороны предательства не должно быть. А вот на самих организованных мной предприятиях утечка информации в аппараты БХСС может быть. И притом не от шизанутых рабочих. Налаженное мной дело процветает только потому, что знает о незаконной деятельности лишь ограниченный круг лиц, а рядовые работяги, сбывающие трикотаж продавцы магазинов и нанятые мною инженеры — выпускники институтов легкой промышленности — даже не подозревают о подпольных миллионах. И все же тревожно на душе. Но дело прикрывать пока не буду: слишком уж все отлажено, и деньги текут рекой и здесь, в Москве, и в многочисленных филиалах по всей стране. Стоп! Здесь, в Москве, я все держу под контролем, а вот в каком-нибудь Урюпинске местные мусора вполне могут подгадить. Надо будет лично съездить и проконтролировать, как идут дела на местах».

Но Семен Григорьевич опоздал. Уже на следующий день в его конторе появился прилетевший в Москву директор одного из филиалов по пошиву левых рубашек:

— Семен Григорьевич, прозвенел нехороший звоночек. Местные сотрудники районного отдела БХСС пронюхали о нашем бизнесе. Наметили на понедельник проведение обыска в мастерских психдиспансера, изъятие изготовленной продукции и всей документации по приему сырья и вывозу готовой продукции. Но один прикормленный мной человек из местного ОБХСС успел в пятницу меня предупредить.

— И что ты сделал?

— Все обошлось тип-топ. Успел до конца дня через знакомого из исполкома оформить разрешение

о сносе обветшалого здания дореволюционной постройки, где помещались мастерские. Нанял строительную технику за наличные деньги, вывез станки и разрушил до основания старый дом. Даже мусор успел вывезти. Приходят утром ребята из ОБХСС, а на месте цеха зияет пустырь и жалкая высаженная за ночь клумба с анютиными глазками. Вот была потеха. Мои наблюдатели говорят, что у оперов морды вытянулись от изумления, и пошли они восвояси с умытыми лицами. Следов никаких.

— Подожди радоваться. Если они получили информацию лишь по вашему району, то беда небольшая. Местные сыщики утрутся от нашего плевка в лицо и займутся другими делами. А если не известный нам информатор располагает сведениями о наших цехах в других городах? К тому же мы, наступив операм из ОБХСС на большую мозоль, разозлили их до неимоверности. И любой из сыщиков, если у него есть самолюбие, захочет взять реванш. Так что расслабляться нам рано. Я немедленно свяжусь с нашими высокими покровителями. Попробуем как можно скорее выявить и нейтрализовать появившегося в наших рядах осведомителя и принять меры к пресечению пыток ОБХСС схватить нас с поличным за руку. Это потребует значительных расходов. Но игра стоит свеч.

Несмотря на сигнал о возникшей опасности, Семен Григорьевич никак не хотел расставаться с высокими доходами от модных рубашек, производимых в клиниках и диспансерах для психически больных людей.

Начальник отдела БХСС краевого управления Минин в задумчивости ходил по кабинету. Несколько месяцев назад к нему приехал из районного отдела местный опер и показал полученную им информацию о незаконном изготовлении модных мужских рубашек из неучтенного сырья в цехах для трудотерапии психически больных людей. Рассказывая о провале операции, сыщик чуть не плакал от обиды. Минин сразу понял, что речь идет не о мелком нелегальном бизнесе местных жуликов. Настораживала быстрота и наглость, с которой были уничтожены все следы нелегальной деятельности. Без участия местных властей тут явно не обошлось, и, скорее всего, ниточки преступных доходов вели наверх, к высоким должностным лицам. Опера из районного центра такое крупное дело поднять не могли. И Минин принял имеющиеся материалы в свое производство. Понимая опасность затеянной разборки, Минин решил пока не докладывать начальству о проводимой им работе по сбору весомых доказательств вины расхитителей. Но одному ему такая задача была не под силу, и он после долгого раздумья

привлек к тайному расследованию троих сотрудников, на честность которых мог положиться.

Прежде всего, Минину надо было найти в преступном сообществе человека, способного раскрыть все противоправные связи и роль каждого из виновных лиц. Для такой работы больше других подходил некто Дуров, служивший связующим между всеми тремя звеньями преступной цепочки: являясь экспедитором, он доставлял украденные рулоны трикотажа в цеха, где работали психи, а затем готовую продукцию развозил по торговым точкам. И Минин принял решение о вербовке Дурова. Это оказалось нетрудным делом. Сопровождаемая Дуровым машина с краденым трикотажем была задержана ночью на пустынной дороге в соседней области. И Дуров был поставлен перед суровым выбором: либо строгое тюремное наказание, либо активное оказание помощи милиции по разоблачению соучастников.

В своем горячем стремлении изобличить поскорее крупную группу расхитителей Минин даже пошел на заведомую ложь, пообещав по возможности освободить якобы не подозреваемого о своей незаконности деятельности Дурова от наказания. К удивлению сыщика, Дуров легко поверил в эту ложь, предпочитая если не избежать, то по крайней мере отдалить на неопределенное время неизбежность судебной расплаты.

Через несколько месяцев интенсивной работы сыщики уже располагали весомыми доказательствами вины расхитителей. Этому способствовала активная помощь Дурова, тайно передававшего операм копии фальшивых накладных на груз и товарные чеки на рубашки, поступающие в торговую сеть. Минину было немного жаль лезущего из шкуры агента, стремящегося заслужить снисхождение. «Неужели Дуров не понимает, что, представляя нам все новые доказательства, окончательно топит себя вместе с подельниками? Не могу же я пойти в суд и, ссылаясь на тайное сотрудничество с этим человеком, попросить о снижении ему наказания? Меня никто не послушает. Да и подельники сразу поймут, кто их предал. Дурову тогда в СИЗО и дня не прожить. Конечно, расхитители не отпетые уголовники, но нанять исполнителей убийства у них денег хватит. И хотя Дурова жаль, но придется им пожертвовать. Правда, есть в собранных с его помощью материалах существенный недостаток: собраны доказательства вины лишь низшего звена расхитителей. А вот кому шли деньги в райкомы, горкомы партии и исполнительные комитеты местной власти, Дуров просто не знает. Не его это уровень. Но ничего, после ареста у многих из этих трикотажников язык развяжется. Так что пора переходить к основному



этапу — реализации. А для этого я должен заручиться помощью хотя бы одного из руководителей нашего краевого управления МВД. Пожалуй, для этого подходит лишь заместитель начальника Князев. Он у нас сравнительно недавно. Переведен с Дальнего Востока, и, по имеющимся сведениям, пострадал из-за принципиальности, посадив в тюрьму сына председателя областной потребкооперации. А это фигура для провинции значительная. Все, решено, пойду для доклада к нему».

Выслушав Минина, полковник тяжело вздохнул:

— Меня, Минин, давно уже самого воротит от происходящего вокруг. Иногда даже кажется, что советской власти в стране уже нет. Отшатнувшись в страхе от массовых сталинских репрессий, народ бросился в другую крайность — бесконтрольное воровство. А наш обвешанный орденами руководитель искренне считает, что все его любят за предоставленную вольность. Я вот тоже верил в идеалы, но вместо повышения до генерала оказался здесь, в краевом управлении. Мне до пенсии осталось всего два года, и я вновь рисковать не стану. Если хочешь геройствовать, то продолжай. Я препятствовать не буду, но и помощи от меня не жди. Могу только дать тебе полезный совет: найди возможность доложить о собранных материалах о хищениях напрямую в Москву, минуя местное начальство. Если начать реализацию с самого верха, то, может быть, что-нибудь и получится. И еще хочу тебя предупредить: кое-кого из нашего милицейского начальства уже мобилизовали на твою нейтрализацию влиятельные люди, пронюхав о твоих посягательствах на их благополучие. Так что будь осторожен. Ты хочешь их посадить, а они под тебя копают. Все, иди. Я и так сказал лишнее. Но если поднимется шум, то я буду в стороне. Не обижайся! Сам знаешь: обжегшись на горячем молоке, дуют на холодную воду.

И Минин с горечью понял, что в случае неудачи отвечать придется ему одному.

Глава IX . Расплата

Завершая сбор доказательств, Минин начал замечать за собой слежку, и в его кабинет зачастили сотрудники, пытающиеся в приватном доверительном разговоре выяснить, какие оперативные дела он ведет. И Минин, следуя совету отстранившегося от дела полковника, принялся разрабатывать план по реализации собранных материалов через Москву. Наконец все было готово, и через однокурсника по Академии МВД СССР ему удалось записаться в конце рабочей недели на прием в Комитет партийного контроля. С этого момента Минин вместе с верными ему операми приступил к проведению намеченных

мер по завершению операции. Начиная со среды, Минин с соратниками стали распускать по управлению слухи о предстоящей поездке веселой компанией на рыбную ловлю, обещая угостить сотрудников свежей рыбой. Для подтверждения легенды демонстративно закупили спиртное, мясо для шашлыка, обсуждали наиболее прикормленные места на далеком лесном озере.

Наконец наступила пятница. Загрузив в машину рыболовные снасти, сопровождаемые завистливыми восклицаниями коллег сыщики на хорошей скорости помчались к выезду из города. Почти не скрываясь, за ними последовала машина с сотрудниками оперативного отдела, ведущими за Мининым наблюдение. Пока все шло нормально.

Начался редкий лесок, постепенно переходящий в довольно густой ельник. Сидящий рядом с водителем Минин приготовился незаметно покинуть машину. Через километр лесная дорога делала резкий изгиб, и лучшего места для осуществления их плана было трудно найти.

Минин, сжав челюсти, приготовился. Он имел разряд по вольной борьбе и был хорошо подготовлен физически, но выпрыгивать на быстром ходу из машины ему не приходилось. На крутом повороте машина на несколько мгновений затормозила, и он, выбросив свое тело вперед по ходу движения, перекатился через плечо и плашмя упал за густой куст. С волнением наблюдал, как сначала машина с его товарищами, а затем и преследующий их транспорт скрылись вдаль за деревьями. Его маневр оказался незамеченным для преследователей. Минин лежал, напряженно прислушиваясь. Минут через десять раздался приближающийся треск мотора, и к месту, где он скрывался, подкатил на мотоцикле один из его сотрудников. Минин надел шлем, полностью закрывающий лицо, вскочил в коляску, и мотоцикл, резко развернувшись, помчался в сторону шоссе, ведущего к воинскому аэродрому. Согласно предварительной договоренности Минина принял на борт боевой самолет, на котором должен был лететь в Москву для доклада в Министерстве обороны начштаба полка. Летчики часто выручали сыщиков, один из которых являлся зятем замполита части. Истинной цели полета Минина в Москву они не знали, полагая, что уважаемый начальник ОБХСС края отправляется в Москву по личным делам.

Ровно в назначенное время Минин вошел в просторный кабинет известного партийного функционера. В течение отведенного ему времени успел кратко доложить суть дела. Высокий руководитель Комитета партийного контроля, никак не комментируя услышанное, сухо предложил:

— Хорошо, я все понял. Оставьте материалы. Ответ получите в течение трех суток.

В воскресенье вечером Минин прилетел в свой родной город. О его отсутствии на рыбалке уже было известно заинтересованным людям. И расхитители начали срочно сворачивать дело и заметать следы. Но было уже поздно. Во вторник из Москвы поступило разрешение на реализацию собранных материалов. Последовали громкие аресты. Но вопреки ожиданиям Минина обвинение было предъявлено лишь нижнему звену. Подключенные к делу следователи из Москвы словно не слышали признательных показаний задержанных о подкупе партийных чиновников и представителей власти. И те очень скоро поняли, что надо держать язык за зубами, и это увеличит их шанс на досрочное освобождение.

Одним из первых осознал свое положение Дуров, обвиненный как важная фигура всей преступной организации. Посетивший своего тайного осведомителя в СИЗО Минин делано каялся, ссылаясь на невозможность помочь в смягчении наказания:

— Поверь, Дуров, мое вмешательство лишь испортит дело: тебя не выручу, а только запалю перед поделщиками. Ты уж отсиди часть срока, а потом я постараюсь тебя выволить, с учетом примерного поведения. Единственное, чем могу помочь: я и мои люди не станем усердствовать в поисках твоих тайников и забудем о существовании двухэтажной дачи, записанной на имя любимой тещи, и ты, счастливо избежав конфискации, после освобождения будешь как сыр в масле кататься.

И хотя Дуров понял, что его при вербовке просто кинули, пообещав полное освобождение, он после некоторых размышлений успокоился: «Ничего особенного не произошло. Меня могли отдать под суд и после первого задержания с левым товаром ночью на дороге. А так я вне подозрений у цеховиков и к тому же успел подготовиться и запрятать накопленное богатство в тайные закрома. Конечно, легавые часть имущества конфискуют, но и мне на белый хлеб с черной икрой останется. Даже к Минину у меня нет претензий. Возможно, и вправду хотел помочь, да обстоятельства сложились неудачно. Но ссориться с ним не резон. Отсиджу свое и к нему обращусь. Со своими связями он поможет мне устроиться в торговую сеть. Так что, заглядывая в далекое будущее, не стану плевать в колодец: пригодится воды напиться».

И Дуров терпеливо стал ожидать суда в душной полутемной камере окружного следственного изолятора.

Следствие затянулось почти на год. На высоких покровителей подследственные обвинительных по-

казаний так и не дали. И хотя по уголовному делу прошли не все участники разветвленной преступной группы, Минин остался доволен суровым приговором суда.

Вместо ожидаемой награды ему позвонили из Комитета партийного контроля, и начальник отдела сухо произнес:

— Спасибо вам, товарищ Минин. Вы поступили как настоящий коммунист.

И даже не выслушав ответа опера, чиновник положил трубку. Вслушиваясь в настойчивые гудки отбоя, Минин с горечью осознал: «Высокое начальство явно недоволено моим усердием: слишком уж много членов партии было осуждено за махинации с рубашками из краденого трикотажа. Да и солидных доходов лишились многие прикрывающие хищения своими высокими должностями. Похоже, моя честность и геройство никому не нужны. Прав полковник Князев в сомнениях, существует ли еще в стране советская власть? Ну и наплевать мне на награды. Главное, я посадил преступников на скамью подсудимых и остался цел несмотря на все усилия их высоких покровителей».

Но оказалось, что Минин рано поверил в свою неуязвимость. Прошел год после суда. Занимаясь текущими делами, Минин все реже вспоминал о разоблачении им крупной группировки махинаторов, считая столь громкое дело окончательно ушедшим в прошлое. Но он сильно ошибался. Ясным летним днем, когда Минин, находясь в своем кабинете, приводил в порядок оперативные дела, дверь внезапно распахнулась, и в помещение вошло несколько человек в штатском. Их сопровождал явно смущенный своей невольной карательной миссией полковник Князев:

— Вот, Минин, по твою душу приехали сотрудники прокуратуры и наши коллеги-оперативники из Москвы. У них к тебе несколько вопросов имеется по делу...

Ему не дал договорить руководитель оперативной группы Седов. Ему, рядовому сотруднику МУРа, поручили возглавить группу по изобличению зарвавшегося провинциального сыщика, пообещав в случае успеха повышение и перевод в центральный аппарат МВД. Молодой амбициозный сотрудник гордился, что является потомственным сыщиком. Его отец прославился еще в конце пятидесятых годов участием в изобличении подмосковных спортсменов в серии разбойных нападений. По протекции уходящего на пенсию отца Павла Седова сразу после окончания школы милиции взяли на работу в МУР. Поучаствовав совместно с сотрудниками центрального аппарата МВД в раскрытии серии краж из квартир, он завязал полезные связи, меч-



тая о карьерном повышении. Когда потребовалось создать следственно-оперативную группу для ареста чересчур активного провинциального опера, вспомнили о нем: никто не хотел влезать в грязное дело и гнобить своего же брата-опера, честно выполнившего долг. Но тщеславный, жаждущий повышения Павел Седов вполне подходил для предназначенной ему роли. В карьерном рвении ему было наплевать, виноват провинциальный сыщик или нет. Седов жаждал успешно выполнить неприятное поручение и заслужить поощрение. И он поспешил начать психологическое давление на сыщика, задевшего интеллерсы высокого начальства:

— Мы и сами можем объявить, по какому поводу майора потревожили на боевом посту. Покажи свое табельное оружие, Минин!

— Оно у меня в сейфе лежит. Могу предъявить.

— Ты лучше нам выдай ключ от сейфа, мы сами ствол возьмем: вдруг от безысходности откроешь пальбу и нас порешишь, и с собой покончишь.

— Это с какой стати мне на такое отчаяться?

— Хочешь сказать, что вины за собой не помнишь? Так мы твою забывчивость сейчас вылечим. Нам не привыкать.

Открыв сейф, сотрудники прокуратуры отложили в сторону пистолет и начали вытаскивать и внимательно просматривать хранящиеся в ячейке документы. Затем тщательно обыскали ящики стола.

«Интересно, по чьему навету они по мою душу пожаловали и что надеются найти? Гадать бесполезно: слишком много за последние годы я разной мрази в зону направил. Любой из них мог затеять мутилово мне в отместку. Странно, но отсутствие результатов поиска их, похоже, даже радует. Вон как у их лидера лицо посветлело, словно уже награду за меня отхватил».

Руководитель группы по-хозяйски присел на край стола.

— Ну а теперь давай, майор, поговорим по делу. Расскажи, как год назад разоблачил так называемую организованную группу Меламеда.

— Как обычно, получил оперативные данные и реализовал, посадив на скамью подсудимых пеструю компанию из двадцати человек. В результате внешне благополучные коммерсанты вместе с расписанными татуировками рецидивистами под следствием оказались. Кстати, они быстро после ареста затянули хором признательные показания.

— Вот в этом-то вся и штука: в начале этого месяца из разных исправительно-трудовых учреждений страны в прокуратуру и к нам жалобы поступили. В них расписывается, как ты лично фальсифицировал материалы, а признания у подсудимых выбивал с помощью резиновой дубинки и противогаса.

— А вас не насторожило, что из разных регионов страны в одно и то же время жалобы в Москву пришли? Тут явный сговор.

— Ну и что в этом криминального? Адвокаты, узнав о твоих противозаконных методах, посоветовали их обжаловать. Вот мы и получили заслуживающие внимания сигналы. И в условиях построения правового государства оперативно реагируем на нарушения законности. Нам стыдно за таких, как ты, «правоохранителей».

— Постойте, а почему вы так сразу объявили меня преступником, встав на сторону расхитителей? Ведь состоялся судебный процесс, были исследованы собранные доказательства, и приговор вынесли вполне обоснованно. Возьмите в архиве уголовное дело и убедитесь в отсутствии моей вины.

— А вот тут ты, земляк, ошибаешься: нет уголовного дела в архиве! Два месяца назад случился ночью пожар из-за неполадок в электропроводке. Небольшой, правда, локального масштаба. Но огонь успел уничтожить несколько хранящихся на стеллажах архива материалов, в том числе и уголовное дело на Меламеда и его товарищей по несчастью.

— Ну вот видите, все сходится. Налицо тщательно спланированная провокация по дискредитации следствия и освобождению провиноров связанных с мафией чиновников.

— Это как посмотреть. По нашей версии, все обстоит по-иному: тщеславные опера в погоне за дутыми показателями и по заказу недобросовестных конкурентов отправили честных трудящихся в зону. И, заметая следы, подожгли архив суда. Попробуй оправдайся!

«Значит, они искали материалы по обвинению группировки Меламеда, чтобы уничтожить. Не обнаружив, перешли в наступление. И ладно бы прокурорские лютовали, но особенно обидно, что свои же сыскари из центра стремятся утопить коллегу».

Князев счел необходимым вмешаться:

— Учти, Минин, уже поехали за санкцией на твой арест. Так что постарайся оправдаться: мне грязное пятно на репутации управления ни к чему.

Близость опасности заставила Минина собраться. План по спасению созрел мгновенно:

— Значит, я пока не задержан? Тогда позвольте выйти в туалет.

— Почему же нет? Только пойдешь в сопровождении двух наших сотрудников. Приучайся с этого мгновения справлять нужду в чужом присутствии.

Минин вышел и нарочито медленно направился к туалету, расположенному в конце коридора, мучительно размышляя: «Вся моя надежда на прочность внутреннего запора наружной двери туалета, которым постоянно пользуется тетя Аня, закрывающая

помещение от назойливых посетителей на время уборки».

Когда до туалета осталось несколько шагов, Минин внезапно сделал рывок, юркнул за дверь и поспешно щелкнул металлической задвижкой. Сзади раздались тяжелые удары в дверь. Ему повезло: окно на третьем этаже из-за жары было открыто. Вскочив на подоконник, Минин шагнул на карниз. Ловко зацепившись за водосточную трубу, быстро спустился вниз. Почувствовав под ногами твердый асфальт, бегом пересек сквер и выскочил на соседнюю улицу. Поймав попутную машину, попросил отвезти его на другой конец города. Обрадованный перспективой подзаработать, водитель резко тронул с места, влившись в плотный поток автомашин.

К зданию отдела Минин вернулся через сорок минут. В дипломате, снятом с антресолей в тещиной квартире, он нес ксерокопии наиболее важных документов из уголовного дела, полностью изобличающих Меламеда в крупных хищениях.

«Наибольший интерес представляют акты экспертиз и аудиозаписи добровольных показаний подследственных. Намеревающиеся меня арестовать ребята не учли мой многолетний профессиональный опыт. Я еще тогда год назад предполагал подобное развитие событий, начиная разработку людей, причастных к власти. И на всякий случай подстраховался. На этот раз им меня не взять».

Набрав номер телефона сочувствующего ему полковника Князева, Минин попросил:

— Иван Николаевич, соберите через десять минут у себя в кабинете весь личный состав якобы для инструктажа по моему розыску. Я хочу представить оправдывающие меня материалы в присутствии как можно большего числа наших сотрудников, чтобы у проверяющих не возник соблазн их уничтожить.

Получив согласие, Минин немного выждал и, войдя в здание управления, появился в кабинете заместителя начальника. В присутствии более тридцати офицеров достал из дипломата документы и с издевкой доложил:

— Это копии всех собранных по делу группировки Меламеда документов, неопровержимо доказывающих их вину. Если эти материалы волшебным образом исчезнут, то я представлю еще вторую и третью копии.

С торжеством заметил, как разочарованно потускнело лицо возглавляющего проверку молодого опера. Но он рано праздновал победу. Через неделю его вызвал полковник Князев и предупредил:

— Неприятные новости, Минин. Влиятельные люди не хотят видеть излишне принципиального сотрудника в нашем управлении. Они вновь поставят тебя убраться. Только еще подготовятся. Так

что тебе лучше будет отсюда поскорее исчезнуть вместе с семьей. Я позвонил в управление кадров МВД. Они предлагают должность опера на БАМе. Вариант неплохой: и себя убережешь, и денег на автомашину заработаешь. Так поедешь в Тынду? Ну вот и хорошо. Сутки тебе на сборы. Иди и заказывай билеты на поезд.

Начальник управления, глядя вслед сыщику, тяжело вздохнул. Ему было жаль лишаться высококлассного профессионала. Но он лучше других понимал, что спасает Минина от прямой физической ликвидации: представители власти не оставят в живых человека, реально угрожающего их безопасности и материальному благополучию.

Прибыв к новому месту службы, Минин отправился для представления руководству. Пожилой седовласый генерал внимательно выслушал его рассказ о мытарствах после изобличения дельцов. Затем после некоторого раздумья решил и сказал:

— Я все понял. Комментировать твой частный случай не буду. Ни к чему, да ты и сам все хорошо понимаешь. А вот для твоего понимания общих вещей в стране поведаю тебе одну историю. Год назад обратился штаб нашего министерства к умным людям — экономистам за помощью. Те, выполняя заказ, с помощью математического моделирования вывели формулы для точного определения мест, где проходят массовые хищения. Начали с отдельных крупных предприятий, и оказалось, что для выявления каналов и размеров воровства агентура не нужна: оперативно-экономический анализ точно диагноз ставит. Например, берем количество поставленного сырья и результат выхода продукции в отдельных цехах и на предприятии в целом. И точно определяем, что украдено, в каком количестве и в каких звеньях производства. Осталось только собрать доказательства и арестовать виновных. Эффективность потрясающая. Решили распространить новую методику на целые районы, области и края. В результате стало возбуждаться много уголовных дел на крупных расхитителей. Мы в центральном министерстве нарадоваться не могли, получив такой мощный инструмент борьбы с всесоюзным воровством. Только вдруг в ЦК КПСС умные головы всполошились, и сверху пришло суровое указание: «Прекратить использование антинаучного, до конца не апробированного метода оперативно-экономического анализа». А в устной беседе партийные чиновники предупредили: «На основе ваших новых методик получается, что массовое воровство идет по всем советским республикам. А по возбужденным уголовным делам привлекается много членов партии, да еще занимающих высокое должностное положение. Это нетерпимо. Мы пропагандируем во



всем мире преимущества развитого социализма, а тут полный конфуз, компрометирующий высокое звание коммуниста. Мы такого допустить не можем. Так что сворачивайте ваш оперативно-экономический анализ. Он нам ни к чему. Разоблачайте нечестных дельцов старыми проверенными способами». Ты, Минин, все понял?

— Да, конечно. Я по наивности проявил излишнюю инициативу, замахнувшись на высокое начальство. Теперь буду умнее.

— Ну вот и хорошо, что умеешь делать выводы из собственных ошибок. Иди работай. Тем более что здесь у нас, на БАМе, своя специфика: так много и масштабно не воруют. Пока, по крайней мере.

И сделавший правильные выводы Минин начал выполнять служебный долг, понимая, до какого должностного уровня ему разрешат изобличить расхитителей. Но вспоминая дело о нелегальном пошиве мужских рубашек из неучтенного трикотажа, с гордостью думал, что ему все-таки удалось хоть раз в жизни посадить на долгий срок несколько высокопоставленных чиновников, губящих идеалы советской власти.

И было невдомек честному сыщику, вздумавшему в одиночку победить массовые хищения, что большинство изобличенных им преступников вскоре вновь оказались на свободе. С помощью высоких покровителей их выпускали из колоний якобы по неизлечимой болезни, выделяли противоправные эпизоды в отдельное производство, пересматривали приговоры, снижая сроки наказания.

Дольше всех задержался в местах лишения свободы Семен Григорьевич Меламед. Его загнали под самый Магадан, но и в колонии он жил неплохо, сумев с помощью больших денег устроиться на работу в клубе. Уже заканчивались вседозволенные брежневские семидесятые, но Меламед все еще числился заключенным под номером 3422. Он без особой обиды понимал: «Мною пожертвовали как козлом отпущения ради видимости активной борьбы с расхитителями социалистической собственности. Никто не хочет подставляться, способствуя сокращению срока моего наказания. Конечно, когда я окажусь на свободе, да еще с сохраненными в необнаруженных тайниках валютой и драгоценностями, то наше сообщество примет меня в свои ряды, тем более с выгодными идеями и предложениями, накопившимися у меня за годы отсидки. Да и связи среди людей, реально управляющих экономикой, остались немалые. Уж я сумею развернуться. Жаль только, что этот желанный миг наступит еще не скоро».

Но обстоятельства повернулись иначе. В один из июньских дней начальнику ИТК строгого режима

Кожухову позвонили из областного управления исправительно-трудовых учреждений:

— Олег Викторович, беда. Опять повысили нормы добычи золота. Стране нужна валюта с учетом обострения международной обстановки. Выкручивайся как знаешь, но непомерно завышенный план выполни любой ценой. Скоро аттестация служебных кадров. Если не хочешь лишиться своей должности, сделай все возможное и невозможное.

Отключившись от связи, Кожухов смачно выругался. «Мало кто знает, что главная задача сотрудников исправительно-трудовых учреждений — не перевоспитание осужденных в условиях строгой дисциплины, а выполнение производственного плана. Ныне показатели по добыче золота подняли на заоблачную высоту. Я уже и так все резервы в ход пустил. Но теперь уже ясно, что без современной техники мы новое задание не выполним, и выхода я не вижу. Вот только разве с Семеном Меламедом посоветоваться. Умный мужик: у него, как говорят в Одессе, не голова, а синагога. Может быть, подскажет что-нибудь дельное».

Вызванный в кабинет начальника ИТК Меламед, узнав о поднятии норм выработки золота, переспросил:

— Значит, без применения современной техники не обойтись? А у нас в Союзе есть такая усовершенствованная драга?

— Я узнавал: всего пять штук закупили за границей на валюту. Их пока не распределяли по приискам. Но нам, затерявшимся в дремучей тайге вдали от жилья, нечего бесплодно мечтать о новой технике.

— Слушайте, Олег Викторович. Хочу сделать взаимовыгодное предложение: супердрага будет на вашем прииске еще до конца месяца в обмен на мое условно-досрочное освобождение. Это вполне в вашей компетенции.

— Семен Григорьевич, мы люди серьезные. Будет драга — пойдешь на УДО уже в конце месяца. Только я не верю в твое обещание.

— Можно я выдам один звонок в столицу?

Все еще недоверчиво взирая на осужденного, Кожухов заказал связь с Москвой. Меламед был кратко деловит, беседуя с невидимым собеседником:

— Мне обещано досрочное освобождение в обмен на выделение нашему прииску одной из современных усовершенствованных драг, закупленных за границей. Запишите адрес, куда надо ее срочно доставить. Все, спасибо, рассчитаюсь при встрече в Москве.

У Кожухова затеплилась надежда, хотя в глубине души он сомневался. Но увидев через две недели доставленную новейшую драгу, был поражен жуткой

догадкой: «Если осужденный из далекой таежной колонии может в течение нескольких минут решить вопрос о доставке сюда новейшей техники, то непонятно, кто на самом деле управляет нашей страной. А впрочем, не мне влезать слабым умишком в дела высокой политики. Главное, что теперь я выполняю этот чертов план по добыче золота. Остальное меня не касается».

Свое слово начальник ИТК выполнил: приехавший на выездную сессию в колонию суд досрочно

освободил Меламеда. Лежа на нижней полке поезда, везущего его в Москву, вновь обретший свободу предприимчивый делец уже обдумывал в деталях, как сможет вновь войти в крупное нелегальное дело: «Если наличных денег не хватит, продам кое-что из припрятанного золотишка. Но драгоценное кольцо, уцелевшее от конфискации, трогать не буду. Очень уж красивая, греющая душу вещица».

До начала в стране перестройки оставалось чуть более десяти лет.

Продолжение следует.

Илья КРИШТУЛ



О себе.

Родился в Москве, где и живу.

Учился в МГПИ, работал в кино,

преподавал в средней школе. Сейчас

домохозяин. Сочиняю юмористические рассказы, изредка публикуюсь.



РАССКАЗИКИ

СОПЕРНИЦЫ

В таком огромном «Детском мире» Олечка Бунеева еще не бывала. Да и мама, которая ее сюда привела, тоже, поэтому отдел детских платьев они искали долго. Первым его издали увидела Олечка, и такой восторг заплясал в ее глазенках, что мама перестала жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не измерить детскую радость...» — так думала мама и не заметила, что восторг вдруг сменился слезами, а радостный смех — жалобным подвыванием. Объяснилось все просто — навстречу им шла Ирочка Канделябрис, подруга Олечки по детскому садику, тоже с мамой, а в руках... А в руках счастливая Ирочка держала вешалку с прекрасным розовым платьем, тем самым, ради которого Олечка с мамой сюда и приехали. И, что самое ужасное, это платье было последним, о чем Ирочка, конечно, Олечке сразу и сказала. Надо отдать Олечке должное — истерика у нее началась не сразу. Сначала кассирша упаковала платье в блестящий, тоже розовый, пакет, потом с улыбкой отдала его Ирочке, та обернулась и... Вот этого взгляда Олечка уже не выдержала. Пять испуганных продавщиц в течение часа пели и танцевали для нее, старший менеджер магазина подарил три мягкие игрушки, платье обещали привезти прямо домой и — это уже для мамы — с огромной скидкой, но все было бесполезно. Успокоило Олечку только вкусное бесплатное мороженое и данное самой себе обещание никогда — НИКОГДА! — не дружить с Ирочкой Канделябрис.

В этом огромном автосалоне в центре Токио Ольга Бунеева, ныне Пересыпкина, еще не бывала. Да и муж, который ее сюда привез, тоже, поэтому нашумевший разрекламированный и обещанный ей мужем розовый «бугатти» они искали долго. Первым его издали увидела Ольга, и такой восторг заплясал в ее цветных контактных линзах, что муж перестал жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не измерить...» — начал думать муж, как вдруг Ольга резко остановилась. Объяснилось все просто — в розовом «бугатти», в уже почти ее, Ольги, розовом «бугатти» сидела Ира Канделябрис, а рядом в окружении услужливых менеджеров автосалона стоял Ирин муж и подписывал какие-то бумаги, роняя кредитные карточки. Ольга поняла — розовый «бугатти» уплывал к другим берегам. Надо отдать ей должное — в автосалоне истерики не было. Она случилась позже, в гостинице, и только самое дорогое мороженое города Токио в самом дорогом ресторане этого же города сумело слегка ее успокоить. Там же, в ресторане, Ольга дала себе слово никогда не жить с Ирой Канделябрис в одном городе и даже заставила мужа оставить какую-то мелочь симпатичному официанту.

В нью-йоркском торговом зале аукционного дома «Сотбис» Ольга Пересыпкина еще не бывала, да и шофер, который ее вез, тоже, поэтому зал этот они искали долго. Первым его издали увидела Ольга, и подвески из розового золота, принадлежащие пятьсот лет назад какой-то французской королеве, уже начали плавно перемещаться из каталога

«Сотбис» в Ольгину коллекцию драгоценностей, как вдруг она заметила ненавистный розовый «бугатти», стоящий у самого входа в зал. Сама Ира Канделябрис, видимо, была внутри и уже держала в своих мерзких неухоженных руках королевские подвески из розового золота. Ольга даже не стала туда заходить. Позже, в ресторане, поедая эксклюзивное мороженое, Ольга Пересыпкина поклялась никогда больше не жить с Ирой Канделябрис в одной стране.

В ритуальном агентстве, расположенном на окраине Подольска, пенсионерка Ольга Борисовна Пересыпкина еще не бывала, а какой-то нерусский подольчанин так хорошо объяснил дорогу от остановки, что бедная Ольга Борисовна еще два часа искала этот неприметный подвал. Найдя его и попав наконец внутрь, Ольга Борисовна сразу увидела то, за чем она ехала сюда из своего Гольянова. «Гроб розовый уцененный» — было написано на ценнике. Соседка не обманула — гроб был очень дешевый, и Ольга Борисовна подозвала продавца. «А этот товар

продан, — скорбно сказал продавец, — соболезную». «Я даже знаю, кто его купил», — ответила Ольга Борисовна и вышла на улицу. Ожидая обратный автобус, она смотрела на ларек с мороженым и молилась об одном — умереть на день позже Иры Канделябрис.

На похоронах Ольга Борисовна не плакала. Во-первых, больше проститься с Ирой Канделябрис никто не пришел, так что Ольга Борисовна была вся в похоронных хлопотах и ей было не до слез, а во-вторых... Во-вторых, не хотелось ей плакать. Ей хотелось вернуться в тот огромный «Детский мир», в котором Ирочка Канделябрис купила розовое платье, то самое, ради которого туда приехала маленькая Олечка Бунеева. И чтоб Ирочка была счастливая и держала в руках розовый пакет с платьем, а Олечку продавщицы бесплатно угощали мороженым — самым вкусным мороженым в ее жизни... А рядом бы стояла Олечкина мама... И чтобы все еще было впереди и это все было хоть немного другим... Но все равно розовым.

КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО

ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ

Лето я провела у бабушки в деревне. Мне там было очень интересно и весело. Вечерами мы с бабушкой сначала смотрели «Две судьбы», потом «Танго втроем», потом шел «Татьянин день», и до начала «Дома-2» у нас был ужин. Мы кушали, смотрели «Дом-2», затем сидели и ждали его ночной выпуск, который еще интереснее. Иногда мы не просто сидели, а смотрели «Кодекс чести — 3», но он нам не очень нравился, потому что четвертая программа у бабушки не показывала. Утром мы сначала просыпались и смотрели повторы «Двух судеб» и «Татьянинного дня», а повтор «Танго втроем» я не смотрела, что я, дура, что ли. Я шла к подружке и смотрела повтор «Агента национальной безопасности». Потом мы смотрели «Лолиту без комплексов» и бежали ко мне на «Мою прекрасную няню», потому что дедушка подружки в это время смотрел «Улицы разбитых фонарей», а мы их смотрели два раза еще весной. После «Няни» и до «Двух судеб» мы смотрели «Любовь мою» и «Авантюристку». Однажды к нам приехала моя мама и разбила телевизор. Мы с бабушкой плакали, но к началу «Танго втроем» успели уйти жить к бабе Нюре на другой

конец деревни. Правда, баба Нюра вместо «Дома-2» хотела смотреть «Бальзаковский возраст», и они с бабушкой подрались. Бабушка ее победила, но посуды совсем не осталось, и мы кушали из ведра. А один раз во время «Возвращения Мухтара» баба Нюра умерла, но ее все никак не могли похоронить, только успели между «Солдаты-9» и «Бандитским Петербургом» отнести к калитке. Потом нас все-таки нашла моя мама, долго ругалась и прямо во время «Пусть говорят» увезла меня домой, куда мы приехали к «Сексу в большом городе», но мне посмотреть не дали, а заперли в комнате, где не было телевизора и я скучала. Теперь я не знаю, что случилось с Олесей и нашла ли она своего отца, который ожил еще в 134-й серии. Я боюсь, что это помешает мне хорошо учиться и стать звездой в «Доме-3», куда я сегодня ночью послала 23 500 SMS'ок с папиного мобильного телефона. Вот и все, что я делала летом, до свидания, оставайтесь с нами, не переключайтесь, реклама пролетит незаметно.

Полина, а фамилию я за лето забыла



ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ

Президент России подписал указ «О недопущении повышения розничных цен на маргарин и сливочное масло».

У Рамиза, хозяина магазина «Русское масло», арестовали брата. Зарезал кого-то брат случайно, выкупать надо. Рамиз получил в отделении полиции прайс-лист, удивился ценам и стал продавать маргарин по цене сливочного масла, а само масло еще дороже. Через месяц брата выпустили, праздник был, гостей много, даже дядя Махмуд из Америки прилетал.

Президент России подписал указ «О правовых последствиях за неисполнение указа “О недопущении повышения розничных цен на маргарин и сливочное масло”».

Сын Рамиза машину разбил, только купили. Девочек катал, выпили-покурили, в маршрутное такси врезались, бывает, парень молодой, ездить не умеет. Там, в такси, даже умер кто-то. В ГИБДД такой прайс-лист дали, что пришлось цены в два раза повышать и с директором соседнего магазина серьезно разговаривать, чтоб он маслом не торговал. Отпустили сына, маршрутное такси виновато оказалось, совсем ездить не умеет.

Президент России подписал распоряжение «О безусловном исполнении указа “О недопущении повышения розничных цен на маргарин и сливочное масло”».

Рамиз решил сына в институт устроить, чтоб без дела не шатался. Аттестат купили, экзамены купили, к ректору ходили, прайс-лист брали. Там такой прайс оказался, дешевле каждый месяц по машине разбивать, но институт хороший, «университет» называется. Юристом сын будет, все помощь за прилавком. Рамиз цены на маргарин и масло еще немного повысил, сын поступил. Праздника не было, народ масло плохо брать стал, надо рынок соседний закрывать, только цены сбивают.

Президент России дал поручение местным органам власти и своим полпредам в федеральных округах отслеживать, каким образом происходит исполнение его указа «О недопущении повышения розничных цен на маргарин и сливочное масло».

Рамиз дочь замуж выдавал, стол богатый был, на пятьсот человек, но без масла — дорого. Дядя Махмуд позже из Америки масло привез, вологодское.

Президент России публично выразил свое возмущение тем, как исполняется его указ «О недопущении повышения розничных цен на маргарин и сливочное масло».

Рамиз дом за городом построил, для дочери. Издалека дом пачку масла напоминает.

Президент России приказал познакомить его с Рамизом, попросил у него 300 граммов масла и подарил свой указ «О недопущении повышения розничных цен на маргарин и сливочное масло». Рамиз удивился, что в России есть президент, который к тому же пишет какие-то указы, но подарок взял, завернул в него килограмм масла и обратно президенту подарил. На прощание Рамиз пообещал президенту научиться читать по-русски, чтобы прочитать в подлиннике все его указы и распоряжения по поводу масла. Президент России Рамизу ничего обещать не стал — он боялся, что масло растает и его жена ругать будет, поэтому сразу уехал. Но масло не растаяло, потому что Рамиз, конечно, вместо масла президенту маргарин подсунул. Да и президент России, если честно, Рамизу не свой указ о масле подарил, а атлас звездного неба. Потому что президент России знает — что бы он ни делал, какие бы указы и распоряжения бы ни подписывал, все равно человек к звездам стремится. Подальше от цен, указов, распоряжений и президентов. Ведь там, среди звезд, ему ничего не нужно. Там, среди звезд, можно даже без масла жить. На Земле же жили...



Галка ГАЛКИНА



Где сегодня в России в гражданском обществе находится ум? Одни сидят на кухне, другие забавляют публику в различных телепередачах, ток-шоу («К барьеру») и прочих «гладиаторских состязаниях».

Время жизни, здоровье, энергия людей идет, как в стоячем паровозе, — на свисток.

Но так далее быть не может! Недостойно за известность и деньги быть клоунами на цирковой арене. Есть достойное вас дело! Есть возможность сформировать ядро гражданского общества!

Михаил Веллер, Дмитрий Медведев, Сергей Доренко, Владимир Соловьев, Михаил и Ирина Прохоровы, Сергей Миронов, Олег Шеин, Григорий Явлинский, Леонид Парфенов, Гарри Каспаров, Владимир Познер, Анатолий Карпов, Борис Немцов, Евгений Ясин, Виктор Геращенко и многие, многие другие (не счесть числа совести и умов в России, простите, что не назвал ваших имен). Я публично обращаюсь к вам! Умерьте самолюбие ради народа и России, свяжитесь между собой (у вас есть такая возможность, вы хорошо знаете друг друга). Соберитесь (двести-триста человек) в выходной день на пару часов в любом московском зале (наконец, в любом кинотеатре) и приведите каждый с собой как минимум по одному журналисту (!), покажите встречу в online-режиме в Интернете, осветите ее в СМИ. (В широкой гласности и публичности заключена гражданская сила народа.) Поставьте важнейшие для России вопросы и начните предлагать решения.

*Владимир Гарматюк,
Россия, г. Вологда*

Галка ГАЛКИНА:

Где ум? Вопрос прямо-таки ребром.

Попробуем разобраться, где тут и что.

Вот говорят: русские крепки задним умом. Стало быть, ум надо искать где-то в области копчика или еще ниже.

С другой стороны, горе от ума. Разумеется, не от того, который по соседству с почечуем.

Хотя вышеприведенный список как раз свидетельствует вроде бы об обратном. Потому как если собрать воедино весь этот горячий «коктейль Молотова» в кинотеатре в выходной день, то никому мало не покажется.

Владимир Познер, к примеру, довольно-таки нетрадиционным способом любит Россию. Ее, любовь,

не победит ничей, кроме самого Познера, рассудок. Веллер — вообще гражданин Эстонии. Ему легко давать советы, а расхлебывать будете Вы — Владимир из Вологды.

Владимир Соловьев — бизнесмен, Прохоров — дежурный олигарх. Думать — не их царское дело, и т. д.

Так что, Владимир, советую Вам не ставить «важнейшие для России вопросы», чтобы и себя понапрасну не мучить, и нас не вводить в соблазн.

Живите, не думая, и, как сказал великий и ужасный Карнеги, перестанете беспокоиться.

Навсегда!



Тик-так

- ✿ *Ходят, бродят часики-ушастики!*
- ✿ *Полетела Стрелка к Белке на летающей тарелке!*
- ✿ *Починили ходики в нашем пароходике!*
- ✿ *Закупаю я пеньку и кричу всю ночь «ку-ку!».*
- ✿ *Я кукушка хоть куда, голос, гребень, борода!*
- ✿ *Поломался циферблат — не поеду в Ленинград!*
- ✿ *Я песочные часы положил себе в трусы!*
- ✿ *Я побрился наголо — превратился в НЛО!*
- ✿ *Размотал себе усы в стиль неведомой красоты!*
- ✿ *Я пришел на хлеб-завод — съел с часами бутерброд!*

**SMS'КА, ОТПРАВЛЕННАЯ
ФАБИО КАПЕЛЛЕ:**

За бей!



ФАЗА МЕСЯЦА:

Про бой!

Не думай о секундах свысока

- ☺ *Перевел вперед я стрелку и успел на опохмелку!*
- ☺ *Бой курантов над Кремлем — бейте доллара рублем!*
- ☺ *Бой курантов над столицей освежает наши лица!*
- ☺ *Он достал секундомер — пионерам всем премьер!*
- ☺ *Вот и кончился завод — шестеренок полон рот!*
- ☺ *Поломал я свой будильник и забрался в холодильник!*
- ☺ *У часов отвисли гири: раз, два, три, шесть, пять, четыре!*
- ☺ *У часов качнулся анкер — Петька двинулся вдоль Анки!*
- ☺ *На Ордынке, на Полянке я часы нашел в буханке!*
- ☺ *У Антонова Кирилла ремешок торчал уныло!*



© Фото Игоря МИХАЙЛОВА